



Ханох Бартов

ВОЗМУЖАНИЕ

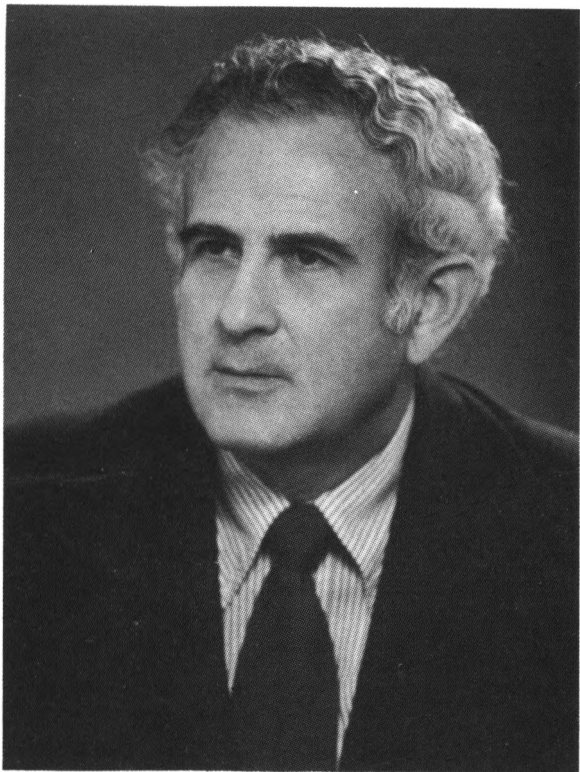
Ханох Бартов • ВОЗМУЖАНИЕ



Ханох Бартов

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

ВОЗМУЖАНИЕ



ХАНОХ БАРТОВ

Хаюх Бартов

ВОЗМУЖАНИЕ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1977

חנוך ברטוב

פצעי בגרות

Hanoch Bartov

THE BRIGADE

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

419

Перевел с иврита *Владимир Глозман*

Художник *Лев Ларский*

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספריית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

דפוס "גרפ־פרס" בע"מ, ירושלים

OCR Давид Титиевский. май 2021 г., Хайфа

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Автор публикуемого романа Ханох Бартов родился в 1926 году в Петах-Тикве. Посещал религиозную начальную школу, а затем гимназию имени Ахад-Гаама. Будучи подростком, два года проработал шлифовщиком алмазов и сварщиком. В 1943 году семнадцатилетним юношей ушел в Еврейскую бригаду, действовавшую в рамках британских вооруженных сил, и прослужил три года, сначала на родине, а затем – в Италии и Нидерландах. Демобилизовавшись, закончил исторический факультет Иерусалимского университета.

Ханох Бартов – активный участник Войны за Независимость и обороны Иерусалима. По окончании Университета – член киббуца Эй-н-ха-Хореш (1951–1955), где преподавал, а также участвовал в обработке земель киббуца.

С 1966 по 1968 гг. он советник по вопросам культуры при израильском посольстве в Лондоне. В течение последних лет – член редколлегии самой распространенной израильской газеты "Маарив". В настоящее время – председатель израильского отделения при Международном центре театрального искусства.

Роман "Возмужание" относится к числу популярных произведений талантливого писателя. В нем звучат нотки жестокого разочарования воинов, добровольно мобилизовавшихся на борьбу с нацизмом: их священная жажда мести немцам за неимоверные страдания

еврейского народа не получила удовлетворения. В ходе увлекательного и напряженного повествования убедительно рассказано о нравственном возмужании молодого воина, его любовных переживаниях и о том потрясении, которое он испытал, встретив чудом уцелевших еврейских беженцев, бывших узников гетто и фашистских лагерей.

Роман, впервые опубликованный в 1965 году, выдержал пять изданий, удостоен литературной премии имени А.Шлионского и вышел в английском переводе в США и Великобритании. Изданию романа на иврите предпослано следующее замечание автора:

"Все, о чем здесь рассказывается, — плод писательской выдумки. Но и подлинные события описаны лишь с той степенью достоверности, которая диктовалась рамками художественного повествования. Поэтому автор несет ответственность лишь перед персонажами, созданными его фантазией, и только перед ними готов отчитаться в будущем".

Перу Ханоха Бартова принадлежат: "Расчет и душа" (1953), "Все мы — шестикрылые" (1954; за эту повесть, вышедшую также в Аргентине на испанском языке, писатель награжден премией имени Усышкина), сборник рассказов "Маленький базар" (1957), "Четверо израильтян и вся Америка" (1961), сборник рассказов "Сердце мудрецов" (1962), "Мальчик, ты чей?" (1970) и другие. Повесть "Все мы — шестикрылые" (о жизни олим, прибывших в Израиль после Второй мировой войны) была инсценирована и с большим успехом шла в театре "Хабима", а также в английском переводе в Лос-Анджелесе и во французском — в Париже. Пьеса Х.Бартова "Поезжай домой, Ионатан!" была показана в театре малых форм "Зута". Последний роман Бартова "Выдумщик" (1975) вызвал оживленную дискуссию в литературной и общественной критике.

Иехудит посвящаю

СОДЕРЖАНИЕ

Капитуляция	1
Сломанный меч	65
Суд	121
Возмужание	171

КАПИТУЛЯЦИЯ

1

О капитуляции мы слышали в мертвой зоне, расположенной за склоном холма, между железной дорогой и Ламоне. Каждое утро мы валялись в шелестящей тени оливковых деревьев, убивая в укрытии опасное послеобеденное время. Мы стояли здесь лагерем, в то время как фронт был уже далеко на севере, топя во всеоружии по перевалу к озеру Комаччо, переходя По, направляясь к Венеции, — с минуты на минуту ожидался конец войны. С запада и с востока рвутся к сердцу Германии танковые колонны, и только мы лежим и греемся на солнышке — боевой резерв своей дивизии, корпуса, а то и всей восьмой армии. Видно, рассуждаем мы, хоть бегом беги — а войны не догнать. Раскатов орудий не слышно уже даже в ночной тишине; за склонами Апеннин не видать больше вспышек — ни пожаров, ни фейерверков. Днем жара и тишина, а по ночам только звездочки поблескивают. Война если и продолжается, то где-то далеко, добираясь до наших ушей через рацию, как из другого мира, — смылась она от нас, как комета. В самый разгар наступления сняли нас с позиций, и не воевать нам больше в этой войне; однако армейская рутина берет свое — и каждое утро командиры терзают солдат, как киприоты своих му-

лов, гоняют вверх—вниз по известковым горкам, по роняющим плоды садам, по полям, через сорняки и колосья; каждое утро отправляются ударные отряды во главе маршевых рот, звенья пулеметчиков прикрывают слева отряды пехотинцев, атакующих с правого фланга, все передвигаются осторожно, ползут, пускаются перебежками, бросаются в атаку, закрепляются на новой позиции — и возвращаются с тем же, с чем ушли: измотанные, запыленные, в поту, словно держали последний экзамен перед настоящим боем, который нам вскоре предстоит. С ума сойти можно, ворчат ребята, дохлое же дело, бывали мы и на передовой, видали: ну кто это атакует двадцать раз на день какую-то за...ную горку? Да еще у англичан. Сначала ее самолеты с землей сровняют, потом еще артиллерия пройдет, затем подходят танки и захватывают то, что осталось. В конце концов добирается пехота. Так считают ребята, но командиров логикой не проймешь: мы являемся боевым резервом и находимся здесь в стадии формирования. В любую минуту нас могут послать в сражение. И раз война еще не кончена — значит, она продолжается, и вообще, — вставляют командиры, — вообще, все наши войны еще впереди. Бегом — арш!

Это, конечно, те, кому приходится. А мы — командный состав, санитары, связисты, дежурные и те, кто направлен на медосмотр — мы свободны. Если, понятно, не нарвемся на старшего сержанта Мак-Грегора или на кого другого с нашивками. До обеда человеку запрещено болтаться без дела, иначе говоря, запрещено показываться без дела на глаза начальству. Поэтому сразу после завтрака мы сматываемся в оливковую рощицу, в мертвую зону, и убиваем там потихонечку опасные дообеденные часы. Затекает все, обычно,

Покер, а остальные присоединяются к нему. Едва только продрав глаза и закатав край палатки, он уже сбивает себе теплую компанию для покера. Из санитаров ему, как правило, обеспечен Бродский, играющий по причине невыносимой скуки. Может он рассчитывать и на Мушика-повара, даже если тот работает с утра: если он проиграл вчера — он хочет отыграться, выиграл — Покер заставляет его. Утром — этим утром — ему удалось привлечь Гилеади из второй роты. На учениях он повредил себе ногу — и доктор подарил ему три свободных дня.

А я — я валяюсь в сторонке, не играю, вообще ничего не делаю: не то слушаю струящуюся из гершлеровской рации песню Бинга Кросби, которая пробирается сквозь жестяной котелок, заменяющий громкоговоритель, и доходит до меня грохотом пустых жестянок, — не то остаюсь один на один с нудными мыслями о себе самом, о том, о сем. Я прекрасно знаю — о чем мне не хотелось бы думать, и когда эта мысль вливается в меня, я уничтожаю ее одним ударом и переключаюсь на что-нибудь другое. Гилеади — что общего между этим серьезным человеком и покером с раннего утра? На нем толстые очки, дряблая и бледная кожа свисает мешками из-под стекол. Рассказывают, что он один из главных бунтарей, из тех, которых отправили под арест за то, что они отказались прикрепить к своим фуражкам палестинские значки, похожие на монету в два шиллинга. Его тихий голос и аккуратные выражения тоже не вполне соответствуют этому сидению с картами. А может, это мне только кажется, что, мол, то — красиво, а то — некрасиво? Гилеади представляется мне в образе банковского кассира. Нет, учителя математики. Однако рассказывают, будто это он возглавлял тех ребят, которые бунтовали из-за

значка; говорят, будто все они из Эцеля. Как же он сидит здесь — быстро оценивая каждую карту, не выдавая ни черточкой лица — идет у него игра или нет, да не то — как это вообще он сидит с Покером и с Мушиком-поваром, с этой свекольной рожей, чьи глаза ушли глубоко в глазницы, пальцы быстрые и вороватые... Что я знаю о Гилеади, если это его друзья? А скорее наоборот, может быть этот вонючий Покер, спящий в комбинезоне, может быть и Мушик, который уже попадался раз с рюкзаком, набитым консервами, может быть все они — совсем не то, что мне кажется, если уж Гилеади — их товарищ, если они вместе сидели в гарнизонной тюрьме...

Да ну их, ладно, говорю я себе, задумываясь над тем, когда же вернется снабженческая машина из Форли, и когда я узнаю — есть ли мне письмо. Нет, не надо думать о письмах, ни о тех, которые ждали меня по возвращении из госпиталя, ни о тех, которые, может быть, еще придут и отменяют то, что писалось прежде. Ах, брось. Не у всех дела в таком немецком порядке, как у Боби Майнца и его подружки, которые нумеруют письма друг к другу, тем самым избавляя себя от подозрений, грызущих сейчас меня. Взгляд мой падает на Боби, который подписывает ствол оливы, и рация отделяет его от Гершлера. Какой красавец мужчина, всем на зависть. Если бы я был таким, — проклятая мысль снова возвращается ко мне — у меня было бы гораздо меньше забот. Вытянутый череп, мужественный подбородок, а когда он открывает глаза — все лицо как бы озаряется ярким светом. Должно быть не зря говорят о нем, что он наполовину немец. Даже эти сомкнутые губы, эта упрямая замкнутость, которую не прошибает ничто, кроме писания ежедневного письма девчонке. Растительность, пляшущая по спо-

койным ручищам, какая мужественность, ко всем чертам.

Боби... ладно, оставим его. Вчерашние письма не такие уж страшные, если только не нервничать, если я избавлюсь от всех этих подозрений и перестану — как тысячу раз меня просила Нога — видеть в этих строчках больше, чем в них есть. Разве мы не скитались с места на место, а меня еще и таскали (больного этой дурацкой краснухой) из госпиталя в госпиталь, а оттуда в санаторий, в Пезаро. Очень ведь возможно, что мои письма вообще не добрались до нее; не исключено также, что именно она — из-за всех этих тревог — переполнилась подозрениями и сомнениями и дошла до того, что написала такое странное письмо, что я, мол, молод, у меня еще вся жизнь впереди, зачем связывать себя, лучше брать от жизни все, что она дает, и чтобы я считал себя свободным от всех тех клятв и обязательств, и все такое.

Что-то вроде резинового комка подступило к горлу, и я преисполнился жалостью к самому себе. И в самом деле, кто верит этим приторным речам, эдакой любви к ближнему. Как будто мне не знакома подлинная рожа нашего мира, не знаю я, как все мужчины и женщины прячутся за красивые слова, лишь бы не показать себя такими, каковы они на деле. Все ведь очень просто, дорогая: надоело тебе, надоело ждать, а может быть, скажем так, ждала бы, да было бы кого, было бы чего; если бы все наши отношения не были с самого начала ошибкой, одним из миллионов романов войны, начало которых — в клубе для солдат, сестер милосердия и целомудренных семинаристок, выглаженная форма и бесконечная любовь к родине, а конец — в таком вот письме, что ты, мол, еще молод, а я недостаточно хороша для тебя, и всего хорошего,

и слезки, и помнить тебя буду вечно, и если сможешь, то, пожалуйста, приезжай ко мне на свадьбу.

Хватит о ней, о Ноге, силой возвратил я себя в это успокаивающее утро, в шелестящую тень оливковых деревьев, под эту пыльную твердь — которая пахнет, как наш двор в день стирки — и прислушался к песенке Глена Миллера. Каждый из нас замыкается в самом себе, словно не в одной и той же войне мы участвуем. Гершлер притащил с собой рацию, но это только для нас. У него нет времени для пустых развлечений. Обхватив голову ладонями, локти подпирая коленями, он — как всегда — готовится к вступительным экзаменам. Мы были призваны в один и тот же день, и его личный номер на единицу меньше моего. С тех пор много мы всего повидали, стерегли склады со взрывчаткой в Вади-Серар, стерегли мастерские в Курдани, огромные лагеря в Тель-эль-Кабире, отправились в Италию, я стал санитаром, он — связистом; ходят слухи, что неизвестно сколько нам еще служить, в Европе ли, или на Дальнем Востоке, а он до сих пор таскает полный рюкзак книжек и готовится в университет. Он даже точно знает, что он будет учить. Геология — он на минуту отрывается от книги и снова опускает глаза. Время торопит его. Он был отличником в классической гимназии в Будапеште (а может быть, в Праге) до того, как приехал в Израиль с молодежной алией. Воспитывался в каком-то религиозном заведении, как мне кажется. Или сам он немножко религиозен. Не ест ветчины. А о порядке и чистоте заботится так, что всех выводит из терпения. И готовится к вступительным экзаменам. Знает наизусть правила латинской грамматики, изложенные в рифму, знает Бялика. И при всем том — опасно выказывать ему хорошее отношение. Ты, например, предлагаешь ему провести вечер в Риме, а он бросает свои книжки и сразу же изливает на тебя

столько благодарности, что ты просто не знаешь — куда от него смыться. К тому же несчастливая звезда призвала его как раз в нашу роту, где большинство — семнадцатилетние мальчишки, чьи заботы — только бы не упустить войну, лишь бы схватить ее за хвост; пальмахики, которым осточертел Пальмах, гимназисты, которым обрыдла учеба, киббуцники, преуспевшие в баскетболе, и ребята из мошавов, у которых лапы, как оглобли. Такой вот Гершлер; вот он и сейчас сидит с нами, принес нам рацию, хотя его занятия как раз требуют тишины. Он пришел ко мне, а я знаю, что он примазывается к Боби, который подпирает ту же оливу — Боби, который тоже из молодежной алии, но какие же они разные.

Я почувствовал приятную легкость, предоставив себя сухому утреннему теплу и той сладкой грусти без начала и без конца, сутью которой был я, упрятанный в самого себя и все-таки живущий в окружающем мире. И тогда, в ту самую секунду, когда Бинг Кросби барабанил нам в уши: "Ай вонт ту гоу энд ту си — вер де скай коменсиз..."¹ — песня прервалась и взволнованный баритон произнес по-английски, что сию минуту прибыла телеграмма: через столько-то лет и столько-то дней после начала Второй мировой войны — все окончено. "Ит-з ол овер хиэ!" — *Здесь*, подчеркнул он. Не забывайте, что есть еще западный фронт, есть еще в мире японцы. Дополнительные подробности, — сказал он, — будут транслироваться по мере поступления.

А сейчас мы просим у Бинга прощения и возвращаемся вместе с ним к тому месту, на котором остановились:

¹ Я хочу пойти и посмотреть — где начинаются небеса... (англ.)

”Та-ра-ра-ра, антил ай луз май сенсиз, донт фенс ми ин...”¹

Да. Так — я еще очень хорошо помню эту странную минуту — подошла к концу Вторая мировая война. В том, что меня касалось. Война должна заканчиваться на поле боя, среди растерзанных тел, дымящихся танков, ржущих коней, под жуткий стон, взрезающий весь мир. Начинался май. Мы лежали на тихой полянке на северо-восточном склоне Апеннин, и не нашлось бы сейчас никого, кто смог бы заставить нас ликовать, смог бы внушить нам, что это не просто мгновение в потоке времени, — сколько готовились к нему, сколько ждали его; до и после него бегут тысячи иных, в принципе похожих одно на другое, но это мгновение неповторимо, оно безвозвратно уйдет от нас, из нашей юности. Все смолкли. Гершлер оторвал голову от книги, словно собираясь вскочить на ноги.

— Кончилась, братцы! Война кончилась!

— Кончилась, кончилась, — Покер даже не выпустил изо рта сигарету, — мать их...

Гершлер снова уселся и глянул на Боби. Боби молчал. Молчал и я. Испытывая те же чувства, что и Гершлер, я тоже боялся выглядеть дураком. Чего это мы так стесняемся, прямо не знаем, что нам делать в эту минуту, которая, в конце концов, никогда больше не повторится, пусть даже это — самое обыкновенное утро.

Из-за палаток слышались голоса, громче всех орал Тамари, который тоже, оказывается, сачковал. Он внезапно возник на другом конце мертвой зоны, неся фанерку, с которой он не расставался, потому что она служила подкладкой для его вонючего ”Дневника

¹ Пока я не сошел с ума — не запирай меня... (англ.).

еврейского солдата”, которым он все время занимается. Забрался он на насыпь, наверное, просто так, чтоб было откуда кричать, но когда заметил нас — бросился к нам со всех ног, размахивая фанеркой и тетрадкой, тяжело, задыхаясь, сам седой, разве что крича по-детски:

— Война кончилась, братцы!... Уррра... Эй, вы, вставайте... Победа! Победа!...

— Наконец-то можно поиграть со спокойной душой. Бродский, сдавай!...

С места никто не двинулся, факт. Все произошло в мгновение ока, и Тамари застыл с той же внезапностью, с какой бросился к нам. Глаза его — молодые глаза, в которых пылал черным пламенем вечный огонь, огонь чувства важности, необходимости и значительности происходящего — помрачнели и погасли, между спутанных бровей его образовались две глубокие морщины. Изменился в лице и, не сказав ни слова, бросился назад, в лагерь, исчезнув в конце мертвой зоны. Признаюсь, что хотелось мне вскочить и бежать за ним, а с другой стороны, с чего вдруг? Я, что ли, выиграл войну? Уже сейчас ясно, что у нас еще все впереди. А я опечален, подавлен, словно горько мне, что произошло уже все, но я еще ничего не успел. Да не то: одним махом промчались все эти мгновения, начало войны, как раз когда мне справляли Бар-Мицву, потом та ночь на крыше, когда меня напоили, и я произнес длинную речь об уклоняющихся, и потом, не так давно, сам я помчался за военной формой, за караулами, за скукой, и вот, наконец, фронт, половину которого я провалялся в госпитале, терзаемый немецкой краснухой. Не так, как раз наоборот: мы в самом деле должны кричать, как сумасшедшие, накричаться за все эти шесть лет, которые застали меня еще ребенком, — и как мне отделить себя от них, по правде сказать?

Чего это мы все торчим здесь, не шевелясь?

— Обалдел ты, Бродский, или что? Сдавай.

Все это продолжалось, конечно, считанные секунды, но что верно, то верно: радио играло, а оливы не плясали; нас не раздирали никакие чувства, даже думать еще могли о чем-то.

— Я больше не играю.

Гилеади швырнул карты, уперся ладонями в землю и вскочил.

— Как это — не играешь? — заорал Покер своим ужасным прокуренным голосом. Если уж он так взбешен, верный признак, что у него отличные карты, или уж решил врать до конца. — Не срываются так, посреди игры.

— Не будь ребенком. Кончилась война.

— Все мне будут рассказывать, что война кончилась. Можно подумать, что до сих пор ты палил из пушек. Садись, кончай игру.

— Тысяча извинений. Не сейчас, — и собрался идти.

— Что ты за человек такой, Гилеади. В этих палатках за...ных уже мирное время, а здесь еще нет? Играть, так играть.

— Может, в самом деле пойдем вниз, — едва слышно пробормотал Мушик.

— Мушик, дубина, чего тебе надо внизу? — обрушился на него Покер. — Ты думаешь, там сейчас раздадут медали? Пошлют нас новый толчок копать... Человек должен уметь и проиграть с честью, слышь, Гилеади.

Но Гилеади уже не слышал. Он спустился к лагерю и скрылся из виду. Теперь уже все мы стояли на ногах — Боби, Гершлер, Бродский и я. Покер продолжал крыть на все лады то, что сорвало ему игру, и как раз тогда, когда пришла потрясающая карта, но и он кричал только для того, чтобы укрыться от той страшной тишины, с которой уже невозможно было справиться.

Внизу, среди убогих полевых палаток, около усадьбы, в которой размещался штаб полка, напротив кухни, в транспортном отделе, — всюду толпились солдаты, но и здесь слышались не восклицания о мире, те, которые накапливаются в сердце, закручиваясь год за годом, словно гигантская пружина. Стояли, перекидываясь мнениями, как все последние недели, и у каждого свое: будем оккупационными войсками в Германии — пять, десять, двадцать лет. Нет, конечно, нет. Пошлют нас в Бирму. Этого бы англичане очень хотели — сгноить всех нас в джунглях. Одно ясно, мир-не-мир, а домой нас отослать не поторопятся, несладко нам придется. И не это важно, а только какая-то тревога, мало того, что никто не в восторге, страх из-за какой-то хорошей вести, страх, в котором никто не признавался, но который все-таки был. Не нам веселиться, не для нас конец войны, не для нас.

Я смылся к своей палатке. Бродский отправился с Мушиком на кухню, чтобы сообразить что-нибудь пожрать, а мне захотелось побыть одному, просмотреть еще раз свою корреспонденцию. Я соскользнул вглубь палатки, где были выкопаны две лежанки и углубление для ног посредине. Я уселся и вытащил письма из кармана куртки, сложенной в изголовье, но красивый и уверенный почерк ее вернул мои чувства в прежнее состояние. Не только быстрый росчерк ее иврита и послушные ей слова — во всем письме чувствовалась какая-то новая отдаленность. Даже в английских буквах моего армейского адреса отражался ее характер, в почерке — круглом и остром, мягком и решительном в одно и то же время. Ну что еще можно отсюда вычитать? Что я надеюсь вдруг открыть, если и так все ясно, строка за строкой, и действительность, как и эти стро-

ки, издалека все время кажется вывернутой наизнанку. Очень на то похоже. Общие места: мы по вас скучаем; все здесь гордятся вами; газеты только и пишут, что о вашем героизме. Есть и другое: почему в этих двух письмах она пишет просто "твоя", а не "любящая тебя", или там "целую"? В таких делах просто так ничего не бывает. Значит, случилось что-то. Не могло не случиться. И не важно, что там она сама пишет.

Я растянулся на постели и закрыл глаза. Именно на фронте должен был я заболеть, мало того, что меня сделали санитаром-носильщиком, охраняемым Женевской конвенцией. Краснуху подхватил. Я говорил им, что здоров, что жар сейчас пройдет. Но полковой врач санитарной машиной отправил меня в полевой госпиталь в Фазнце. Там снова измерили температуру — и послали меня в Форли. Оттуда в Равенну. "Что вы гоняете человека из-за пустяковой температуры", — сказал я медсестре-англичанке, но она не удостоила меня ответом, а только велела раздеться. Было уже очень поздно, единственная лампочка освещала мрачный зал, заставленный американскими койками. Мне показалось, что это все еще приемный покой. Люди входят и выходят. Таскают на носилках раненых и больных. Перевязанные головы. Изодранные одежды. Мерзкие больничные запахи — лекарства, да и сами раненые, и только я один здесь с детской болезнью. Сидел я на кровати, пока снова не пришла сестра и не закричала на меня. Все тело пылало, и мои глаза закрывались сами по себе. Не глядя, я разделся, влез в пижаму и завернулся в жесткие шерстяные одеяла, без простыни, без подушки. В самом деле, наверное, был болен, потому что тут же провалился в какую-то черную пещеру, в сухой и раскаленный колодец. Я исходил потом, и кошмары терзали меня один за другим, и во всех — запахи тех книжек о войне, которых я

наглотался в детстве. Ремарк. Армия за колючей проволокой. В глубинах ада. Катрин становится солдатом. Карболка и лизол, гангрена и экскременты. Экскременты. Сквозь этот кошмарный сон я чувствовал, как обступает меня зловоние, наполняет меня собой, топит меня в себе. Вдруг, посреди ночи, я проснулся. Все спали, было темно, только из коридора пробивался слабый свет электрической лампочки. Рассудок мой был ясен и холоден, но в воздухе все еще стоял тот чужой запах, обступавший меня, исходящий от кровати, от одеял, от пижамы. Моя грязная пижама вызывала во мне отвращение. Я сбросил одеяла и, сгорая от стыда, слез с кровати. Не стал звать сестру, чтобы не обращать на себя внимание. Пошатываясь, добрался до коридора, где свет терялся в мрачных трещинах стен, не видя ничего, кроме нескольких носилок и плакатов, призывающих воздерживаться от разговоров и венерических болезней. Я осмотрел свою пижаму — и сразу почувствовал отвращение и облегчение в одно и то же время. Только теперь, по правде сказать, до меня дошло, что я надел пижаму, снятую, по-видимому, за несколько часов до моего прибытия в госпиталь с другого солдата и по ошибке брошенную на мою кровать. Рубаха была совершенно запачканная, покрытая темными пятнами, вьевшимися в ткань. Это не я, это тот, другой, успокаивал я себя, но образ этого другого солдата тут же возник в моем воображении, сотрясая мое тело отвращением, как электрическим током. Я позвал сестру. Крик мой растворился в коридорном безмолвии. Я побоялся кричать снова, чувствуя себя, как всеми забытый и брошенный младенец, наделавший в штаны. Стеснялся даже поискать умывальник, а остаться стоять так на всю ночь тоже не мог. Что за позорное воспоминание, от которого теперь всю жизнь не отделаться. Вернулся в палату, разделся тихонько и

нагишом залез в чужие одеяла — кто уж знает, что там водилось в волосках этих одеял — не засыпая, ожидая утра, не имея представления о том, скоро ли оно, наконец, настанет, потому что окна были заложены кирпичами и мешками с песком, заклеены черной бумагой.

Даже сейчас, во рву, выкопанном нами под палаткой, чувство неловкости бурлило под кожей. Тогда, с приходом утра, заикаясь, я рассказал сестре, что со мной произошло, и даже холодные английские глаза не сумели скрыть ее мыслей. Я вызывал в ней отвращение, но все же она принесла мне халат и другую пижаму, с профессиональным сочувствием отправив меня в ванную. Сам я снова переполнился сомнениями и захотел во что бы ни стало удрать от обливающих презрением глаз сестры, от всех настоящих раненых, окружавших меня, и всем сердцем обрадовался, когда меня после обеда подняли и отправили в другой госпиталь. В Римини я пролежал еще несколько дней и прочел "Ариэля" Андре Моруа. Книга была послана давно, еще тогда, когда письма Ноги приходили каждый день, но, будучи отправлена обычной почтой, прибыла только сейчас, как ложное эхо голосов, которых уже нет и в помине. Я знал, зачем она прислала мне именно биографию молодого поэта, так же как и причину, побудившую ее перед тем прислать мне "Мадам Кюри". Нелепая ситуация, в которую я влип, уводила меня теперь в мечты. Какую жизнь, полную любви и поэзии, бурных чувств и духовной близости, можно прожить. Как я завидую той жизни, которой живет Нога, жизни, уходящей от меня; а ведь мы могли бы вместе перенестись в этот совершенно иной мир, мир избранных людей, стремящихся сгореть без остатка в пламени подвигов, в пламени неизвестного.

Низкие края палатки мотались над моей головой, и я терзался из-за всех упущенных возможностей, погибших надежд, из-за этих двух писем, ожидавших меня по возвращении в часть, с печатями всех почтовых отделений, которые только попадались на моем долгом пути из бригады и обратно. Сгорая от нетерпения, я убежал из санатория, на тремпах летел, спешил успеть хоть что-нибудь, хотя бы под самый конец войны. Лицом к лицу, зубами к глотке — пусть и не на передовой — ожидало меня там совершенно иное испытание: поездка на военное кладбище, участие в похоронах двух товарищей, застреленных снайперами германского арьергарда в той последней атаке, к которой я опоздал всего на один день. Полки расположились на захваченных высотах, позади текла река, а впереди лежали равнины, простираясь до По, однако фронта уже не существовало. Было только два письма, из которых ясно следовало, что Нога тоже потеряна и больше не существует. Но я все еще еду и возвращаюсь в комнату Ноги, под сень иерусалимских сосен; возвратился Бродский, под курткой у него банка мясных консервов, угрозами добытая у Мушика. С учений возвращались батальоны, внося в наш лагерь суматоху, вызванную отменой занятий в честь такого события. В первый момент этот шум казался настоящей радостью. Мы отвернули края палатки и собрались-было перекусить консервами с хлебом.

Только тогда, когда все солдаты вернулись в лагерь, Фридберга нашли в палатке — мертвым. Он лежал, откинувшись на спину, упершись пальцем босой ноги в курок собственного ружья; расколотый череп был залит кровью.

Спустя некоторое время все мы сходились на том, что смысл этого совпадения был вовсе не так уж страшен, как это показалось нам в первую минуту. Как

мог Фридберг знать в тот полночный час, когда он выстрелил в себя, что в десять часов утра будет сообщено о конце войны? И еще: после его смерти все мы согласились с тем, что Фридбергу был предназначен такой конец. Станный человек, — вспоминали мы. Хотя бы тем, что пошел в армию добровольцем и был одним из наших. Он был высок, широкоплеч, и все-таки в нем не было ничего от солдата. Высокий рост вынуждал его гнуться, широта плеч была закругленной, а лицо сохраняло бледность домоседа. Даже его серые глаза казались слишком тяжелыми для него, все норовящими спрятаться в глубине орбит. В строю сержанты все время кричали на него: чтобы держал голову прямо, чтобы подстраивался в ногу, потому что такой уж он был человек, что во всем он запаздывал на полтакта — на марше ли, в развороте, в поднятии ружья наизготовку. Все это было наговорено уже после того, что произошло, потому что Фридберг был настоящим добровольцем, очень старался стать образцовым солдатом, и перед отправкой на позиции напечатал в бригадной стенгазете большое стихотворение — "Армия освободителей" — очень нас тогда рассмешившее, потому что мы знали, что он сам за солдат. Только после его самоубийства — и так вот, ни с того, ни с сего, в такое утро — мы начали расспрашивать друг друга о Фридберге, а до того — как будто и не было его вовсе. Сама его смерть придавала значение биографии, подробности которой стали нам известны только теперь. Выяснилось, что он пошел в добровольцы с самого начала войны, и был одним из тех стариков, что успели послужить во Франции и смыться через Дюнкерк. Спустя некоторое время он был переведен в Египет со смешанной группой командос, воевавшей в Эфиопии и расформированной после вступления негуса в Аддис-Абебу. Как бы там ни было, на четвер-

том году службы он снова оказался в Црифине¹ в роте новобранцев, вышагивал по плацу, отставая на полтакта от молодых рекрутов, очень стараясь выполнить все приказы. Сам я слышал его по-настоящему разговарившимся только один раз. Это было в Риме, в Ватиканском дворце, в одну из суббот. Мы — новички — расхаживали с раскрытыми ртами и распахнутыми глазами, обалдев от мрамора, золота, фресок и старинных книг, пораженные земным могуществом, собранным в нескончаемых залах и галереях. Но Фридбергу (как это он вообще затесался в нашу компанию?) все это было знакомо, и он с удивительной скоростью расписывал нам экспонаты, которые и сам видел впервые в жизни. Все это он узнал из книжек. Он рассказал нам, что изучал историю средних веков, специализируясь по римской церкви. В ту субботу, в Ватикане, это удивительное признание не послужило ничему иному, как укреплению нашего определенного мнения о нем. Но теперь, когда он был обнаружен мертвым, все эти очевидные вещи стали весьма странными, потому что должен же был за всеми этими пустяками скрываться какой-то смысл: чего вдруг? Неужели только потому, что его сосед ночевал тогда в сторожевой будке, набросился он на первую возможность и, оставшись в темной палатке, охваченный чувством одиночества, покончил с собой? Почему именно ночью?

Спустя некоторое время мы пришли в себя, и история с Фридбергом позабылась, как забывается всякий несчастный случай. Но совершенно иное виделось нам в этом тогда, когда новость распространилась по всему полку. Случай, судьба или предзнаменование — мы не могли отделаться от мысли, что это произошло в пер-

¹ Военный лагерь между Рамле и Тель-Авивом.

вое утро после войны. И как это никто не слышал одиночного выстрела — вот что нас тогда занимало.

3

Всеобщее движение к магистрали и дальше, за Форли, началось сразу же после обеда. Без разрешений, без увольнительных. Я даже не знал, что делать. Тащиться в город со всем стадом мне не хотелось — сколько можно шататься по этому захолустному городишку, наливаясь пивом в военных киосках, глазеть на всякие представления, опять пить пиво, толкаться по притихшей площади? — но и оставаться в пустой палатке я тоже не хотел. Боялся даже, можно сказать. Если бы пришли и потащили меня за собой, я бы поплелся, да откуда им взяться, таким друзьям. За два года, проведенные в армии, я сдружился с тем, с другим, но настоящего друга не нашел. Даже больше, чем два года, с тех пор, как я потерял связь с теми ребятами, вместе с которыми проходило мое детство, у меня не было друзей. Пятнадцати лет я пошел в рабочие. В мозгу вертелись мысли, воспринятые от товарищей по молодежному движению: не всем же быть интеллигентами. Рабочие — вот соль земли. Я буду работать сознательно и учиться сознательно. Так начались мои скитания по военным заводам. Работал я здесь и там, среди рабочих, почувствовавших вдруг веяния постоянства и "процветания" после долгих лет кризиса, царившего в Палестине, после каждодневной муки в надежде "устроиться", сезонных безработиц, среди парней, которые не были такими, какими я их себе представлял, бросив учебу в гимназии, — но и старые мои друзья, уже готовившиеся к экзаменам на аттестат зрелости, порастерялись и позабыли меня. Жизнь — это бушующее море, —

писали мы друг другу в тетрадки, — и только тот, кто справится с веслами, доберется до верного берега. Я одиноко гребу, преисполненный решимости, дерзок мой взгляд, лодка наполняется водой и кружится на одном месте. В отчаянной страсти возвратить то, от чего я так легкомысленно отказался, запер я себя в нашей маленькой квартире, за притемненными окнами, и зубрил, зубрил, зубрил, используя всякий час, свободный от работы на заводе, и только тогда почувствовал, насколько я оторван от своих друзей. Все они закончили учебу, а я смылся в армию, еще раз начав все сначала. Я шел наощупь по бараку, переполненному чужими людьми, многие из которых запутались, как я, тридцатилетние идеалисты, дезертиры из армии Андерса, бывшие пограничники, киббуцники, которым выпал такой вот жребий, израильские отщепенцы, о существовании которых я раньше и понятия не имел. Разумеется, вина моя состоит в том, что снова я ни с кем не сумел завязать настоящей дружбы. Только лишь завязалось что-то вроде дружбы между мною и несколькими ребятами, возраст, время и настроения которых сближали со мной, как наши части переформировались. Во мне росло чувство, будто мне предназначено скитаться с места на место. Если я сам не смоюсь из того места, где пустил корни, обязательно придет кто-нибудь и вытащит меня. Вот и сейчас все идет в Форли, суется и гогоча, как и полагается в день победы, и только я никак не могу подавить собственное смятение, хотя я тоже обязан сделать что-нибудь и провести такой день в каком-то другом месте.

— Мать их! — выпалил Бродский единым духом и уже возник перед палаткой, сбрасывая спецовку с такой скоростью, словно она была охвачена огнем. — Что мы будем здесь сидеть-вонять? Поехали, а?

Я сразу понял, что поеду сейчас с Бродским. Мы

были настолько далеки друг от друга, что сблизились, взяли себе общую палатку, помогаем друг другу, не слишком надоедая.

— Только не в Форли, — сказал я.

— А куда?

— Ездили мы как-то в Чезену. Есть там опера. Слушали "Мадам Баттерфляй", дневное представление.

— Опера?! Не слыхал ли ты об узбеках, которые ходят в Ташкенте на "Мадам Баттерфляй"? Опера!...

— Ну так куда же?

— Можно в Болонью, — Бродский сказал это просто так, лишь бы сказать, однако новая возможность наполнила его энтузиазмом, обычно ему не свойственным. — Вставай, поедem в Болонью. Наверно, она уже открыта. В Болонью, Элиша! Мать их...

— О'кей.

О'кей — чему угодно, пусть и не из-за меня пляшут чертики в глазах у Бродского. Болонья, во всяком случае, это что-то новое, город, который еще вчера был по ту сторону фронта, на девятом шоссе. Теперь война в Италии окончена, и можно выйти на девятое шоссе и поймать тремп. Куда угодно. В этом что-то есть.

Мы шли по железнодорожной насыпи, по гравию, по шпалам. Мосты пока не восстановлены, и поезда еще не ходят. По сторонам насыпи — развалины домов и заброшенные сады. Но сегодня похоже, будто слышны голоса возвращающихся хозяев, потому что деревья уже отряхивают пыль и развалины выглядят иначе, чем вчера.

Около шоссе, на скудном участке стоял крестьянин и разрыхлял клочок серой земли. Темные штаны, полосатый промасленный пиджак, черная шляпа. Он постукивал черным заступом между своими босыми ногами, и лицо, и руки его тоже были черными, изжеванными временем, как и его одежда. Где он был все

это время — прятался ли где-нибудь поблизости или вернулся сегодня издалека? Черная его одежда, несмотря на всю ее поношенность, выглядела празднично. Мы стояли на развилке и не сводили с крестьянина глаз. Он сразу же заметил нас, но только спустя некоторое время сделал вид, будто впервые нас обнаружил — выпрямился, снял шляпу, приветствуя нас низким поклоном и улыбаясь. Почувствовав, что мы не кусаемся, приблизился к нам и попросил сигарету. Бродский отстранил его грубым жестом.

— Грацие, — крестьянин отскочил в сторону, словно готовый ко всему. — Грацие, сеньоре!¹

Я не знаю, что мне тогда стукнуло в голову. Вдруг закричал ему:

— Финита ля гуэрра!... Баста... Финита!²

Крестьянин был тощ, с несколько искривленным позвоночником. Он снова снял шляпу и уставился на меня, не сгоняя с лица улыбки, застрявшей в темных морщинах.

— Гуэрра, — повторил я. — Финита. Оджи. Тодески капут. Паче. Паче.³

Только тогда, чтобы доставить мне удовольствие, он поддакнул, и его улыбка сменилась непонятной печалью.

— Бене. Джусто!⁴ — словно по обязанности произнес он эти два слова, и вдруг разразился целым потоком слов, смысл которых до нас так и не дошел. Он снова приблизился к нам, и стало ясно, что теперь я обязан выдать ему сигарету. Может быть, даже целую пачку. Я не знал, что выкинет Бродский, а кроме того, боялся

¹ Спасибо, господа! (итал.).

² Кончена война!.. Все... Кончена! (итал.).

³ Война. Кончена. Сегодня. Немцам капут. Мир. Мир. (итал.).

⁴ Хорошо. Правильно. (итал.).

той благодарности, которой он осыпет меня, и, полон брезгливости, предоставил ему отказаться от тщетных надежд и вернуться к работе.

Мы стояли на развилке. Быстро летят послеобеденные часы, а редкие машины, не останавливаясь, проносятся мимо нас. Именно поэтому я ужасно захотел попасть в Болонью, во что бы то ни стало. Я вспомнил, что возвращаясь из госпиталя на прошлой неделе, я нашел здесь, неподалеку от шоссе, ведущего к какому-то городку, вишню, усыпанную созревшими ягодами. Двинулся вдоль шоссе, надеясь разыскать ее.

— Вот она, вот она! Киршенбойм! — заорал Бродский. Он был невысокого роста, обычно медлителен и скуп в движениях, но сейчас он подскочил, взобрался на каменную ограду, повис на дереве и начал наполнять свой берет. — Ты знаешь, почему я люблю "киршн"? Это моя фамилия — Киршенбойм!

— Как это из Киршенбойма получился Бродский?

— Был один лишний Бродский в Сохнуте, дали мне его бумаги. Когда я убежал от Андерса.

— Разве не все получили ивритские фамилии: Бен-Хаим, Амихай или еще там какие-то?...

— Сразу поняли, что ивритская фамилия не для меня — как ботинки не по размеру. Какая разница — Киршенбойм ничего не значит, а Бродский — еще меньше. Главное — это нажраться "киршн", Элиша... а ты-то всегда был Элишей Круком, а?

Вопросики эти чертовы. Как будто я виноват. Кивнул ему головой.

— Моя семья и так пропала до того, как из меня сделали Бродского. Какая же теперь разница?

Я обрадовался тому, что подоспела штабная машина и положила конец этому разговору. Привыкаешь к чужому человеку, к его имени, и кажется тебе, что знаешь его, как облупленного, и вдруг — другая фамилия,

другие люди. Бродский снова надвинул на лицо свою обычную гримасу, шлепнул меня по колену, и я уже знал, что он сейчас скажет:

— Сегодня ты пойдешь со мной, мальчик. Будет тебе праздник. День победы.

— Мы же договорились, Бродский.

— Никаких договоров. Теперь совершенно другая ситуация, и у нас, б...дь, будет праздник!

— Ты зайдешь, а я подожду тебя в кабачке. Пока не кончишь.

— Я потащу тебя за штанишки, Элиша. Теперь — мир во всем мире! — И тут же, охваченный той же странной радостью, затынул во весь голос, к удовольствию нашего шофера-индийца: "Може, наше може..."

Меня и тянет к Бродскому и отталкивает от него, хотя бы потому, что я знаю, что влечет меня к нему. В его обществе я могу быть не таким, какой я — будто бы — всегда, и вместе с тем могу возвышаться над ним и снимать с себя ответственность за его проделки. От всех этих андерсовских поляков веяло чем-то чужим, исковерканной жизнью, о существовании которой я не знал до приезда в Црифин. Все они жутко ругались и всякий город припоминали по публичным домам. Мало того, что были совершенно бесстыжи, все делали подчеркнуто напоказ. Вот Бродский, например, когда встретились мы в первый раз — в санитарной роте — казался мне каким-то мошенником, которого нужно беречься. Было ему — как узнал я впоследствии — двадцать три—двадцать четыре года, всего лишь. Но возраст человека — это не количество прожитых лет, не только пять-шесть лет нас разделяли. Он был не ниже меня и не слабее. Из-за высокого роста он горбился, голова была посажена слишком близко к плечам, лицо изъедено морщинами даже в уголках глаз, очень уж узких, даже по обеим сторонам его перебито-

го носа, свернутого немного налево, словно тупой угол. Лишь прожив вместе с ним месяцы на военной подготовке и считанные недели на фронте, я обнаружил, что он обладает крепкими мускулами, способностью быстро приспосабливаться к любому положению, спокойствием и смелостью, чувством солдатского товарищества, запятанным в нем до трудной минуты. Только тогда я понял, что он внушает мне странную жизнерадостность, источник которой скорее всего в том, что за плечами у него переделки, пострашнее самой смерти, что историй у него — тысячи, а рассказывает он обо всем вкратце, как бы между прочим; истории — одна убедительнее другой — с того дня, когда он убежал из родительского дома, и до побега из армии Андерса — в Рафияхе. То, что я тоже был ему нужен, несмотря на все различия между нами, льстило мне, так как свидетельствовало скорее всего о наличии чего-то скрытого, но тем не менее существенного, в его душе. Он привык дразнить меня и вызывать раздражение своей развращенностью, но несмотря на его уговоры присоединиться к нему, я чувствовал, что скажи я ему как-нибудь: "я пойду с тобой" — он удивится и, наверное, разочаруется.

4

Дорога к Болонье сопровождалась, как и всякая дорога, просторами выглаженных полей, рядами придорожных деревьев, пылающими маковыми коврами, временками "Бейли", натянутыми вместо разрушенных мостов, цепочками людей, тянувшимися к северу и к югу, на телегах, на машинах на дровяном ходу, пешком. Стерто с лица земли то таинственное "девятое шоссе", где-то там, за Самбатинном, то, за которое

на смерть бились дивизии, о котором говорилось во всех официальных сводках. Как-то разведчики из наших, по возвращении из операции в глубоком тылу врага, рассказывали, что видели его краешком глаза, а теперь нам приходится вглядываться, чтобы заметить на проволочных заграждениях по краям дороги желтые треугольники с надписью "минен". Германские мины. Да еще кучки кирпичей, оставшиеся от разрушенных домов и мостов, — только они и свидетельствуют сейчас о войне, вкопавшейся в эту землю на целую зиму. Согретые майским теплом, ехали мы, окунаясь во влажный воздух; с земли поднималась белая пыль, — и вот мы свернули к Болонье.

Штабная машина сбросила нас на тротуаре улочки, забирающейся вверх под острым углом, между двумя рядами домов, выкрашенных в цвет жженой глины, между рядами колонн на фасадах домов. Открытое шоссе дышало жаром, но Болонья вела нас затемненными арками. Послеобеденная тишина. Немноголюдно. Лавки заперты. Уже не пепельный запах наших дней, а древний аромат Ренессанса. Месту, по которому мы шагаем, незнакомо разрушение, здесь лишь затемненные входы и тяжелые колонны. Улочка кончается на срезанной вершине холма мощеной площадью, окруженной кирпичными стенами. Площадь кишит машинами — англичане, американцы и прочие обитатели восьмой армии. Здесь же, в нижней части стены — черные полосы, ряды фотографий, как в строю, вянувшие венки, красные лозунги. Но похоже, что только мы останавливаемся у стены погибших. Площадь переполнена солдатским гомоном; среди прочих — конечно же — палестинские. Эти больше всего любят приставать друг к другу, выпытывать и выбалтывать: ты вот из какой роты? Как тут развлекаются? Евреев вы уже видали? Да, да, в самом деле,

есть евреи... и немцы, есть здесь лагерь военнопленных, тысячами так и валят без перерыва с севера. Полками, дивизиями — пошлют их в Африку, говорят, в Австралию куда-нибудь, или в Канаду. Пойдем-ка, наплюем им полные глаза.

— Прежде всего ты пойдешь со мной, — выразительно глянул на меня Бродский. В глазах его шевелились раскаленные иглы.

— Я жду тебя здесь, в кабачке, — улыбнулся я. — Подожду, сколько надо.

— Пойдем. Ничего там не украдут у тебя...

— Отстань, Бродский.

— Да это же не оставляет никаких следов, шванц! Вернешься к своей возлюбленной таким же чистеньким, каким уходил.

— Не хочу — не нужно мне. Мал еще.

— Ты-то хочешь, да рассудок твой тебе мешает. Сходишь, мол, в бардак, так уже не сможешь быть праведником... Хочешь вернуться домой таким, чтоб от тебя духами пахло!

— Да что я обязан с тобой по бардакам таскаться, что ли? Ничего подобного...

— Расскажешь это девочке, которая тебе цветочки сушеные посылает. Можешь ты сходить или нет — никто же не узнает ни черта?

— Что тебе от меня надо, Киршенбойм?

Бродский удивленно заржал, однако тут же снова напустил на себя сердитую мину:

— Для своей милой ты всегда будешь Элишей Круком, но сегодня, скажем, побудешь Илюшей Каракулем, который ничего не боится. Если уж кто-нибудь очень боится совершить грешок — верный признак того, что в душе у него что-то грязненькое. Мужчине нужны женщины, вот что я тебе скажу. Это гораздо естественнее, чем все ваши стишки и цветочки... а она,

подумай головой, разве она одними духами живет?!...

И вдруг ухватил меня за локти и потащил куда-то:

— Пойдем, проводишь меня хотя бы, чтобы мне не было так скучно.

— Как это — проводишь? — Его последние слова попали в цель.

— А до двери, сионистское отродье, только до двери...

Бродский находился в приподнятом состоянии духа и по дороге, разжигая собственную страсть, занялся одним из субботних развлечений нашего полка: припомнил с полдюжины русских ругательств и переставлял их в различные сочетания, словно раскладывая из них пасьянс. Он сдвинул берет на затылок, засунул руки глубоко в карманы и шаркал каблуками по мостовой, проходя под колоннадами Болоньи, напевая, и уверенно шагал вперед, как человек, знающий толк в жизни. Я тащился за ним, сам не зная зачем. Вообще-то, не совсем так. Бродский оказался прав. Во мне словно чертики пляшут, и хоть я и давлю их, как комаров, этот зуд не прекращается. Я не знаю, что такое инстинкт. Не знаю, что такое страсть. Но забросить все эти размышления я не могу и чувствую, как стучит кровь у меня в висках, застывая взгляд. Не только Бродский — я тоже не замечаю уже прекрасной Болоньи — ратуши, княжеского дворца, высоких стен, двух башен, склонившихся одна к другой. Мы шагаем по безлюдной улице. Не видно ни солдат, ни горожан, словно они еще не вылезли из своих убежищ. Кажется, будто мы забрались в прошлое пятисотлетней давности. В голове кавардак. Я размышляю о письмах, которые получил вчера. Совсем скоро мне исполнится девятнадцать лет. Вот вернусь домой, все закрутится снова в узких рамках Палестины. Удирал, удирал, а от себя самого не убежал. Я хочу взглянуть и разочаро-

ваться. Протянуть руку и обжечься, как в тот раз, когда у меня остался шрам, в самом деле от ожога. Один только раз. Воздух теплый и влажный, и только стук наших каблуков отдается эхом. Снова стена погибших — черные ленты, снимки молодых итальянцев — круглые глаза, мягкие губы, жирные, зачесанные волосы. Почему нам все время кажется, что эти снимки с самого начала предупреждали о смерти этих ребят, или что они умирают прямо на наших глазах. Пустяковые, детские мысли. А вот и новые плакаты на стенах: "Да здравствует коммунизм", "Да здравствует мир", "Смерть фашизму".

— Куда ты меня тащишь? Почему именно сюда?

— Сам не знаю, почему. Но — будь спокоен, положишь на Бродского.

Улицы разом сузились, и мы оказались во вьющихся переулочках; то здесь, то там виднелись следы бомбежки. На углу, у входа в пиццерию толпились солдаты, пьяные, подпирающие друг друга плечами, образуя подобие кружка, ревущие песню:

— Рол ми овер, рол ми овер, рол ми овер, лей ми даун, энд ду ит эгейн.¹

Бродский призадумался, оглядываясь, а потом свернул в узкий переулок. Здания, ярко-красные оштукатуренные стены которых словно изъедены сыпью. Дома без балконов, опущенные жалюзи, заглотанные высоченными стенами. На черных воротах гвоздями нацарапаны слова. Снова те же лозунги, что и везде — Вива. Паче. Сталин. Еще один поворот — и вдруг мы увидели множество солдат, выстроенных в очередь по всей длине узенького переулка, словно за билетами на

¹ Крути меня, крути меня, бросай меня на землю, снова и снова... (англ.).

дневной сеанс. Бродский надвинул свой берет на лоб и довольно сощурил глаза:

— Ну, откуда я знаю, а? Сам посуди, откуда?

Да, в самом деле. Все стоят один за другим и терпеливо выжидают — шотландец из восьмой индийской дивизии, новозеландский маориец, бразилец из пятой армии. Поляки, черт бы их побрал. И, разумеется, сами итальянцы — из бригады Кримоне.

Только наших не хватает. Пусть хоть так, и на том спасибо. Бродский встал в хвост очереди, и я вместе с ним. Все стоят и молчат, вперившись глазами в широкие ворота, в которых проделана узенькая дверца. Дверца приоткрыта, за ней стоит жирная "мама", без которой, конечно, невозможно обойтись, рожа гладкая, как футбольный мяч, и все это покрыто черным чепцом. Какая же организованность! Никто не входит в эту дверцу, пока оттуда не выйдет очередной солдат. Тишина и спокойствие, все ждут окрика: "некст, плиз!" Тогда вся очередь вздрагивает и продвигается на полшага вперед, как маневрирующий у станции поезд. Нужно обладать богатым воображением, чтобы представить себе истинное назначение этой дисциплинированной очереди. Не волнуйтесь, господа... Без нервов. Не толкаться. Всем достанется.

В недоумении пытался я объяснить себе, чего это вдруг я здесь торчу, с этой вот человеческой массой, стремящейся туда, за ворота. Полшага — стоп. Полшага — стоп. Я не испытывал ни стыда, ни волнения, но и чертики, которые плясали в моей голове, тоже куда-то исчезли. Осталось только какое-то мистическое любопытство. Нет, это выражение не вполне подходит. Скорее, что-то вроде того субботнего утра, когда я ввалился в комнату к Пинеку и жрал бутерброд с маслом и сосиской. Или в первый раз зажег огонь в субботу. Что-то неизбежное, что совершаешь ты сам, но после

того, как совершил, это уже непоправимо. Завтрак из свиной ветчины с манной кашей. Я знаю, почему Бродскому именно сегодня удалось толкнуть меня на то, чтобы преступить последнее из строжайших "табу". Не требовалось многих усилий, потому что это искушение завелось во мне уже давно, являлось мне во сне, и когда я бродил в одиночестве по чужим, незнакомым улицам, оно разгоралось во мне и шепотом уговаривало попытаться, сделать еще один скачок за пределы растоптанного — нет, ненавистного — отцовского мира. А теперь еще Нога. Стой уж в этой очереди. И ничего не делай. Только двигайся со всеми по полшага, пока не окажешься по ту сторону "мамы". После этого уже некуда будет отступать. Один только раз преодолеть бессмысленный страх, мешающий мне, как и все эти запреты, вросшие в мою плоть, — только один раз, и все исчезнет навеки, будто и не было ничего. Нет тут никакой мудрости, поддразнивает меня Бродский, у всех у них это совершенно одно и то же — у узбеков, у полячек, у итальянок. Совершенно одно и то же.

Наш первый раз с Ногой встает со всей ясностью перед моими глазами — с той минуты, когда, стесняясь, мы вошли в эту странную хайфскую гостиницу. Я старался выглядеть бывалым, хоть до этого мне ни разу не приходилось снимать номер в гостинице, и казалось, что весь город на нас смотрит. Всего-то на всего две квартиры на втором этаже, над какими-то лавками. Коридор был пуст. Нижняя половина его стен была выкрашена зеленоватой масляной краской, вроде тех зеленоватых подтеков, которые образуются под протекающим краном, а плитки, частью уже вдавленные посетителями в глубину пола, были красно-коричневые: цвет, обожаемый в мясных лавках. Послеобеденный воздух был полон запахов — стирки, плесени, соседских кухонь. В конце коридора появилась пожи-

лая дама, запахивая на ходу свой старый халат, волоча по полу шлепанцы. Она устало поглядела на нас, словно мы затеяли что-то недоброе против нее, вынула изо рта заколку и собрала свои распущенные седые волосы в некое подобие прически. "Слушаю вас", — сказала она. "Есть ли у вас свободные комнаты?" — я надеялся, что она тут же прогонит нас, и мне не придется выслушивать тех вопросов, которые я уже прочел в ее уставших глазах, оглядывающих поочередно то меня, то Ногу. "Сколько вам надо комнат?" — спросила старуха и двинулась к столу, за которым висела доска с ключами. "Одну", — я повысил голос, поняв, что мне уже не спрятать от нее своих пылающих ушей. "Так чего же ты спрашиваешь о "комнатах"?" — не унималась старуха. Она продолжала заниматься своей прической, поглядывая то на нас, то на ключи. Что же с ней происходит, что она там думает о смуглом парне в военной форме и маленькой девчонке в юбке и сандалиях, девчонке, которая выглядит моложе своих, и без того немногих лет; что она нам сейчас скажет? Я попытался спрятать свое смущение нахальным заявлением: "Я спросил про "комнаты", потому что не хотел брать последнюю". — "А, вон оно что, — закивала старуха. — Ты толковый паренек, солдат. У тебя толковый парень", — обратилась она к Ноге, которой хотелось в это время стать совсем малюсенькой, чтоб никто ее не замечал. "Я ее брат, а не кто-нибудь там. Покажите нам лучше комнату". О таком выходе я думал с первой минуты нашей прогулки. У нас ведь могут потребовать брачное свидетельство. Однако теперь я выпалил эту фразу просто так, без всякой необходимости. Старуха сняла с доски ключ и двинулась по направлению к одной из комнат, открыла и вошла, не поворачиваясь к нам. Мы вошли за ней. Шторы были опущены, и этот сумрак показался нам спасительным. Высокая, про-

сторная комната, две узких кровати и стол между ними. Через несколько секунд дверь за нами закроется, и мы впервые останемся один на один в комнате, целиком принадлежащей нам, без риска нарваться на ногиных родителей или их иерусалимских знакомых, без нервотрепки укромных местечек на бульварах и лестничных клетках. "Прекрасно", — сказал я. Старуха повернулась и, не говоря ни слова, заковыляла по коридору к своему столу. Нога осталась в комнате, и я один отправился следом за старухой. Она сунула мне развернутый бланк и велела написать там наши имена. Никаких документов, только плата вперед. "Вы останетесь здесь на ночь?" — спросила она, и мне стало уже совершенно ясно, что мне ни за что не удастся ее одурачить, ясно и то, за кого она нас, на самом деле, принимает. Одному только Богу известно, что впервые в жизни я окажусь сейчас наедине с Ногой, и это до смерти пугает меня...

— Ну, я пошел, — сказал я Бродскому.

— Подь сюда, Элиша, — Бродский схватил меня за руку и попытался впихнуть меня обратно, в очередь, ставшую за это время короче. Мы стояли уже довольно близко к воротам, к толстухе, чей жирный двойной подбородок покоился на черном шарфе. Позади нас вытянулась длинная змейка из новичков. Бесконечная змея, вползающая в женщин, ждущих там, за воротами, принимающих всех в непрерывном механическом ритме.

— Я... не могу.

— Не будь ты болваном, Элиша. Тебе же будет лучше, я тебе говорю.

— Я подожду тебя в пиццерии, здесь, за углом, — во мне вдруг вспыхнуло победное чувство, как в сказке про заколдованный круг. Каким же надо быть героем, чтобы побороть свой инстинкт. Да нет. Весь тот пре-

красный день с Ногой, когда мы лежали в одной кровати, а потом перешли в другую, чтобы ввести в заблуждение эту старушку, себя самих, свою ужасную стыдливость, — все это встало сейчас перед моими глазами, и я не мог поставить это под угрозу. Я люблю Нogu, я хочу оставаться тем, чем я был, а не составной частью этой позорной очереди. Нет мне никакого дела до писем, не интересует меня — кто там что думает. Ох, Нога, Нога! Если б ты стояла здесь, за углом, и видела — как я верен тебе, как я в самом деле люблю тебя...

— Постой, слышишь ты, шванц!

5

Пищерия находилась в полуподвале. Вход в нее был украшен занавеской, кружевными полосками, спадающими до самого пола, а над ними — разноцветные стеклышки, позванивающие всем входящим и выходящим. Войдя, я вынужден был остановиться, чтобы мои глаза привыкли к темноте. Я спустился на три ступеньки в полутьму, издававшую запахи свежего хлеба и вина. Тускло поблескивали зеленовато-коричневые керамические плитки, которыми были покрыты стены и потолок. Небольшое пространство было наполнено мягковатым теплом, словно дом мирного обывателя. Это, конечно, на первый взгляд. В следующую минуту я обратил внимание на два столика в дальнем углу пиццерии, услышал шум, производимый компанией американских негров. Весело же! Дымящиеся хозяйские спагетти и армейское виски. Я еще стоял на нижней ступеньке, собираясь повернуться и уйти, как вдруг раздался голос одного из участников пьянки, обращенный ко мне:

— Кам-он, Джордж!

Кричавший был у них за главного. Он наклонился вместе со своим стулом в сторону входа. Я помахал ему рукой и двинулся назад на одну ступеньку. Нужно немедленно испариться, раньше, чем я впутаюсь в это пьянство победителей. Так я подумал, но исполнить задуманное — опоздал. Тот парень уже встал во весь рост, словно черное дерево, протянул мне свои лапы, скрючив пальцы, и даже сделал огромный шаг по направлению ко мне. Я стоял на средней ступеньке, за спиной у меня позванивали гирлянды стекляшек, но и в таком положении я казался себе карликом. Не только из-за роста, во всех других измерениях — тоже. Черная голова — блестящий чугунный шар. Глаза — комочки фосфора. Ноздри, растянутые вширь настолько, словно весь воздух мира не в состоянии обеспечить его легкие.

— Рад тебя видеть, браток, — прохрипел великан, трубя голосом, словно Луи Армстронг. — Да не возжелаешь ты оскорбить лучших чувств нашей солдатской братии, твоих же братьев во Христе, вкушающих хлеба в этой скудной обители! — Он взошел на одну ступеньку и возложил свою лапу мне на плечо. — Не преступи чрез раба Твоего, — сказал ангелам Авраам. Так повествует Священное Писание.

— Спасибо, я только заглянул поискать своего друга, — прошептал я. Вся эта компания пугала меня, но темнокожий незнакомец был просто ужасен.

— Мы станем друзьями. Все мы теряем друзей, находим друзей. С этой минуты — я твой друг.

— Большое спасибо, — смущенно промямлил я, спускаясь на одну ступеньку.

— Все мы здесь солдаты, все друзья, поедающие яства первой мирной трапезы. Сказал я братьям своим —

первый, кто войдет в эту обитель, принесет благую весть. Садись к нам, мой мальчик.

Невозможно в точности передать слова этого негра, высокий библейский стиль удивительным образом сочетался с негритянским акцентом, давая в результате восхитительную смесь возвышенных и иронических фраз, проникнутых духом виски и поэзии. Он был пьян, как и все его товарищи, приподнявшиеся поприветствовать меня, но атмосфера исполнения некоего обряда царила за этим столом, уставленным едой и питьем. Позже мне стало ясно, откуда это изобилие — жаркое, спагетти в томатном соусе, всевозможные компоты и шоколад, вина и виски; эти ребята уделили себе десятую часть тех посылок, которые их подразделение — транспортная рота — доставляла из порта на офицерские кухни. В первую минуту такой богатый стол показался мне сказочным: я-то знал, чего можно ждать от пищереи в такие времена — немножко кислого вина и черствые лепешки. Я тоже сел во главе стола, слева от главара; мне передали стакан и тарелку.

— Англичанин, — он ткнул бутылкой в мою форму.

— Нет, я...

— Превосходно! — радостно гогоча он наполнил мой стакан. Теперь я разглядел его седые кудри, его изъеденное прыщами лицо. Он обратился ко всем сопотрапезникам:

— Братья мои! Я знал, с самого начала знал, что Господь Бог наш не пошлет к нашему столу, который мы приготовили, чтобы восхвалить Его имя, англичанина. Господь умеет насыщать испытания на своих рабов. Спросите меня — как здорово он это делает — но только не э т о. В день победы он не пошлет к нашему столу англичанина... Эти хитро...тые сукины дети, шедшие на бой во гневе великом, готовы были воевать до последнего американца. Эт-точно, и до последнего поля-

ка... а, поляк? — теперь он обратился ко мне, чокнулся со мной и заставил выпить весь стакан до последней капли. — Братья, поднимем стаканы за героев-поляков... ходят слухи, что сам сатана, величайший из сукиных сынов, обходил их позиции стороной... у этих поляков отличные кулаки... За нашего молодого друга, смелого поляка!

Я еще допивал стакан, поднятый за здоровье поляков, как он снова оказался наполнен виски. Мне было все равно, что он там говорит, только бы позволил мне смыться побыстрее. Они говорят, как проповедники, но по части пьянства мне с ними тягаться нечего. Очень мне хотелось удрать.

— Скажи поляку, чтоб ляпнул чего-нибудь по-польски. Что-нибудь этакое, — послышался голос с другого конца стола.

— Верно, — сказал верзила. — Хорошо бы услышать несколько приятных польских слов.

— Но ведь я не поляк, — сознался я наконец.

— Так кто же ты? — спросил верзила. Он был разочарован, и крупная шишка между его бровей сосредоточила в себе это раздражение. — Ясно ведь, не китаец.

— Я из Палестины, — ответил я и показал им бригадный значок на рукаве. — Палестайн.

Он в недоумении уставился на меня.

— Что еще за Палестайн?

Я попытался объяснить, но до них не доходило. Им казалось, что мой ломаный английский язык вводит их в заблуждение, что эта страна находится только в Священном Писании, а не среди армий, воюющих в Италии. Конечно же, есть какая-то страна с похожим названием.

— Иерусалим! — ударил я себя кулаком в грудь. — Я пришел из Иерусалима. Назарет. Вифлеем. Все эти

города находятся в моей стране. Эта страна — Палестина.

Я отцепил от моего берета бронзовый значок и показал их главарю слово "Палестайн", выдвинутое на значке. Тот прочел и передал значок своим товарищам. Все щупали его и читали надпись, словно на их глазах происходило чудо.

— Вифлеем... — шишка на переносице великана покрылась каплями пота. Еле слышно он прошептал: В самом деле, говоришь... Кто бы мог подумать? Вифлеем...

— Так точно. То есть Вифлеем находится в моей стране. Вы спросили меня — откуда я. Так я оттуда...

Весь энтузиазм вырвался из него, как избыток пара из паровозного котла. Он вскочил на ноги и ударил ладонью по столу так, что вся посуда заплясала.

— Братья! Слышали вы, откуда пришел к нам — среди бела дня — этот юноша, сидящий за нашим столом? Слышали ли вы: из плоти и крови, доступный нашим глазам — он пришел из города, в котором родился Господь наш, Иисус Христос?

— О, Иисус Христос, — зашептали со всех сторон чернокожие солдаты. — Он пришел из Вифлеема.

— Чудо, — прогремел великан, воздев руки к небу.

— Или я пьян, как свинья, или это в самом деле чудо, — шепнул солдат, сидевший около меня, действительно здорово поддавший.

— Чудо! — орал великан, возложив руки на мою голову, так же, как это делал папа, благословляя меня в Судный День. — Слава Господу нашему, Иисусу Христу, да благословит он нашего брата из Вифлеема.

— Аллилуйя! — гремели сидевшие напротив нас.

— Это не просто так, братцы. Кто-то, рабы Господни, кто-то послал к нам сегодня этого юношу, любезного Даниэля — принять участие в нашей священной трапезе,

в день, когда проломили череп сатане, антихристу, сказавшему, будто негры происходят от обезьяны, хитро...пому вы...ядку — Гитлеру... Кто-то послал к нам этого парня из Вифлеема с особой миссией, чтобы объявить нам что-то очень важное... Что же ты собираешься объявить нам? Не-ет! — он поднял стакан и подмигнул своим друзьям, чтобы сделали то же самое. — Прежде всего поднимем стаканы за Господа нашего Иисуса Христа, и за посланца из Вифлеема, который оказал великую честь нам, несчастным угнетенным неграм, в этот славный день победы!

Они были пьяны таким чудным опьянением, что глаза мои наполнились слезами. Я не хотел лишать их радости, которой они так страстно желали, но принимать участие в этом пьянстве я тоже не мог. Выпив, я замолчал.

— Расскажи нам, — попросил великан, — видел ли ты собственными глазами те ясли, в которых божий агнец узрел свет вечности?

— Как он может говорить, он же еще ничего не выпил! — заорал один из пирующих, и мой покровитель снова наполнил стакан, который я только что поставил на стол.

— Видел собственными глазами! — закачал великан головой, и как я мог сейчас обмануть его надежды.

— Видел.

— Аллилуйя, — затрепетал он.

— Аллилуйя, — прорычали ему в ответ. Чернокожий поэт, изо всех прыщей которого показались капельки пота, провозгласил над стаканом:

— Красное солнце вышло сегодня из утробы ночи, и мирные огни окутали землю. И вот, прибыл к нам милый юноша из Вифлеема. Поднимем же, братья, стаканы — за мир. За любовь ко всему далекому и близкому... Господь мне пастырь, и нужды не узнаю...

Сейчас мне не хотелось ничего другого, кроме как оправдать тот мессианский пыл, который разгорался в этой пиццерии черным огнем. Я пил много и быстро и чувствовал себя так же, как в ту тель-авивскую ночь на крыше, когда родственники напоили меня вином, и я сам не знал, что говорю.

— Расскажи нам о Рождестве в Вифлееме.

— Благословенно имя Спасителя, Господа нашего!

— Расскажи, что хочешь, Даниэль... ты говоришь, тебя зовут Даниэль? — положил мне великан руку на плечо.

— Даниэль молился Богу в Вифлееме, — сказал один из солдат. — Расскажи нам об этом, Даниэль.

Да, я был на Рождество в Вифлееме, полтора года тому назад. Церковь Рождества разделена надвое, потому что там расположены — какие же секты там, в самом-то деле, расположены?... Для меня Бет-Лехем — это поездка в прохладный иерусалимский день, когда мы с Ногой отправлялись от Яффских ворот. Если попросят, я расскажу им о Киннерете. О поездке в трудовой лагерь с классом в то лето, когда я уже не учился. Расскажу им о Кфар-Нахуме, о том, как мы купались вдвоем, после ночи в хайфской гостинице. Брат и сестра, сказал я той гадкой коридорной, как будто есть ей дело до того, кто мы.

— Рассказывай, Даниэль!

— Вифлеем, — начал я свой рассказ, — это маленький город в Иудейских горах, он виден из Иерусалима. Дома в этом городе расположены на горных склонах, а на холмах растет все, что душе угодно. Красные сливы. Зеленые маслины. Хлопок, пшеница, ячмень. Нет такого растения на земле, которого не было бы в Вифлееме.

— Благословение Господне лежит на Вифлееме, —

заметил негритянский заправила. — А ясли-то ты видел?

— Все видал, — и рассказал им все, что видел, все, что пришло мне в голову. Я слышал, как из моих уст вырываются, налезая одна на другую, фразы; рассудок говорил мне, что лучше бы помолчать, но слова текли из глубины души. Я должен говорить, как тогда на крыше в день свадьбы, на площади Дизенгоф. Глаза сидевших за столом горели, и чем дольше я говорил, тем сильнее разгорался огонь в их глазах.

— Ясное дело, — говорил я. — Там внизу, в глубине мощеного двора можно видеть ясли, в которых родился Иисус. Чудесным образом они сохранились такими же, какими были тогда. Они застелены ароматной травой, а еще там стоит деревянная колыбелька. Вокруг яслей — церковь Рождества, вся из белого мрамора и камня ценной породы. Ворота церкви — из чистого золота, а купол такой высокий, пожалуй, выше, чем у собора Святого Петра. Перед отправкой на фронт я был там, как раз на Рождество. Снег усыпал все горы, тяжелый снег, — но облака раздались, и в небесах засияли миллионы звезд. Полная луна стояла в вышине и светилась голубоватым светом, словно в ней отражались все снега, покрывшие землю от вершин Иудейских гор до пустыни Мертвого моря. Молча стоял я на вифлеемской площади, а все это сияние преломлялось золотыми воротами и куполами. Только один раз крик осла нарушил эту тишину, словно трубный глас. И тогда — в ту же секунду — все пространство сотрясилось звоном и шумом. Звезды, луна, море — все звенело, словно серебряные колокольчики, и перезвон этот шел со всех концов страны — из Иерусалима, из Назарета, с горы Табор, с Киннерета.

Я громоздил слова, вонзая новые в уже сказанные. Неплохо бы, думал я, поглядеть на себя в таком пья-

ном виде со стороны, я-то знаю, что я просто разошелся; но с чего это я говорю совсем о другом, о том, что сдавливают мне изнутри глотку и рвется наружу. Разве не был тот декабрь совершенно особым? Наше подразделение охраняло тогда склады тола в Вади-Серар, и я убегал домой раза два—три в неделю, сползал по склону холма к станции и мчался к Иерусалиму. Я говорю об этом, и мне в нос ударяют острые запахи мочи с Яффской улицы, лужицы на гладких плитах, блестящие, как язвы проказы. Шелест сосновых иголок, который всегда у меня связывался с поездкой в чужие края. Наша с Ногой пьянящая ночь в ее иерусалимской квартире, в комнате, какой я не видал никогда в жизни, в проходных переулках с завывающим ветром, на лестничной площадке, курткой к куртке, свитер к свитеру; лунные ночи, которые не кончались, а обрывались за неимением другого выхода, когда приходилось вставать и идти обратно, в холод второго или третьего часа ночи, к поезду, отходящему в четыре тридцать, чтобы успеть в лагерь к шестичасовой проверке. Обо всем этом я говорю, хотя речь идет о несуществующем Вифлееме. Глаза моих слушателей слипаются, взгляды гаснут, и только мой рассказ шевелит в них последние искры. То, что усыпляет их, меня самого только разжигает. Я не пьян, говорю я себе, я должен все рассказать и причем именно этим людям. Когда распутаю весь этот клубок, застрявший в моем горле, когда он превратится в длинную нить высказанного, тогда я встану и пойду. И, конечно же, перестану думать о том, что там делает Нога в праздничном Иерусалиме.

— Звезды, — сказал я, — тот, кто не слушал, как звенят они рождественской ночью в Вифлееме, тот не может понять, что принес Иисус из Назарета на белый свет.

— Аллилуйя, — хрипнул великан. Голова его лежала

на столе, правым ухом книзу; он пытался сосредоточить свой взгляд на мне. Шишка на его переносице стала теперь огромной слезой. Из всех его прыщей текли слезы. Голос его покрывал мои речи, словно овечья шуба. — Славится имя Господа нашего, младенца из Вифлеема.

— Аллилуйя! — отвечали пьяные голоса со всех концов стола.

Как я могу отнять это видение — у них и у самого себя?

— Звезды, — произнес я. — Только в Вифлееме есть звезды, которые поют о любви. Зимние звезды.

— Звезды, которые явились волхвам, — шептал великан.

— Звезда, которую они увидели на востоке, которая взошла над Вифлеемом. Там стояла Его колыбель. — Почему, — спрашиваю я себя, — почему иерусалимские звезды прекраснее равнинных? В последний вечер перед нашим возвращением в Египет мы сидели с ней на окраине квартала, какие-то клочки туч тянулись из оврага к звездам, Старый Город выпятил все свои башни. Моя рука двигалась под ее курткой, под платьем, желая сохранить выпуклость ее узких плеч, ее маленькой груди. Мы поклялись друг другу в вечной верности. Навеки. В вечном городе. Под звездами. Под шелестом сосен. — Эта звезда называется Вифлеемской, и ее невозможно увидеть ни в каком другом месте мира. Только там...

— Мишигенер, что ты здесь негритосам речи толкаешь!

Этот голос рубанул меня, как мечом, разорвав всю паутину. Я обернулся. В дверях, у занавески с гирляндами стекляшек стоял Бродский. Берет сбит на затылок, лицо нахмурено. Около него, на нижней ступеньке примостился хозяин пиццерии — руки скрещены на

животе, лицо сияет от удовольствия — всегда, по любой причине. Бродский вернулся из публичного дома, а я сижу здесь и жду его. Я вижу его, и меня тошнит.

— Это не тот друг, которого я ищу, — сказал я своему негру, но его голова валялась на столе, словно чугунный шар.

— Элиша, вставай и немедленно выходи отсюда. Ты пьян.

— Я не пьян. — Я разом вскочил, чтобы не давать Бродскому повод для разглагольствований. Я выйду на улицу и пойду прямо-прямо, чтобы не пришлось рассказывать ему, о чем мы здесь беседовали.

В эту минуту великан почувствовал, что я поднялся.

— Даниэль, друг, не оставляй нас. Расскажи еще немножко о Вифлееме, — он протянул руку, чтобы схватить меня, но я увернулся, и его обессиленная рука соскользнула на землю.

— Где твоя шапка? — спросил Бродский. Я потрогал голову. Она была непокрыта. Осторожными шагами я подкрался к столу. Это было потрясающее зрелище. Я видел участников пьянки с запрокинутыми глазами, не слышащих ничего, словно заколдованные великаны. Надо смываться, пока не дошло до беды. Но берет! Солдату нельзя расхаживать по улицам без головного убора. Вдруг среди этого ошеломляющего беспорядка я увидел свой берет. На полу. Я схвати его и бросился к выходу.

— Вифлеем, а? — заговорил Бродский. — На полчаса нельзя тебя одного оставить...

— Иди ты к черту! — я выскочил из пищерии, на тротуар, и быстро зашагал по мостовой, в сторону колоннад, стен времен Ренессанса — на свежий воздух. Только одного мне хотелось — чтоб не стошнило меня, чтобы не опозориться мне перед Бродским.

Мы шли порознь, два совершенно чужих человека, которых может свести вместе только армия. Выпитое мной виски — может немного, может слишком быстро — действовало на меня сейчас совсем не так, как обычно. Я чувствовал себя, как выброшенный из самолета без парашюта. Я падаю, а грусть парит мне навстречу — плотная, как дым, печаль. Я протрезвел и остыл, только горький привкус еще стоял во рту, и тело было слишком тяжелым. Найти бы сейчас темный уголок, запереться там и растянуться на спине, лежать без движения, пока не придут в порядок все мои чувства, пока не успокоятся — или сам я не растворюсь в темноте и небытии.

Но рядом со мной шагал Бродский — руки в карманах, тихо посвистывая, спокойный и умиротворенный. Бродский не из тех, которые возвращаются за полночь из увольнительной и бубнят на уши всей роте о том, чем они занимались со своими шлюхами, как ласкали их и как те себя вели, и почему — во всех подробностях, потоком бесстыжих слов, самокопательства, гадостей, как будто только это делает половой акт свершившимся.

Бродский не таков, но он и не чистюля. Вдруг как ляпнет: "Вери сори.¹ Пойду потрахаюсь. Обязательно. Есть острая необходимость". Он делал такие заявления, шаловливо поводя плечом, свободный от страхов и запретов, безо всякого движения чувств. Есть острая необходимость. Вот и все. А после этого он идет себе, руки в карманах, тихо посвистывая. Жрет пирожные. Пьет кофе. Женщины, к которой он только что входил, уже не существует. А может, ее никогда и не было.

¹ Сожалею (англ.).

Бродский снова одинок, разве что теперь он спокоен и умиротворен. Я хотел бы представить, как выглядит Бродский изнутри, подросток военных лет, потерявший семью, бежавший на восток, вглубь России. Но почему это, ко всем чертям, прятаться какому-то другому Бродскому в этом вот, идущем со мной, который и есть то, что он из себя изображает. Человек с острой необходимостью. Вроде того, как Мушик, весь на поверхности — мелкая сволочь и подлятина, крадущая жратву у своих товарищей. Чего это я ищу особых критериев и скрытого аристократизма, когда все и так вполне ясно, просто и по-скотски. Может быть, я только спасаюсь от своих страстей, укрываясь за фразами о чем-то духовном, что на самом-то деле является лишь дикими страхами, волочащимися за мной с тех пор, как я ушел из родительского дома. Всю жизнь я пытаюсь смыться и оторваться, упростить форму, сменить место, но только эти за...нные запреты преследуют меня, как ангелы. А я все боюсь выдрать их из себя, чтобы не оказалось вдруг, что и сам я что-то вроде Мушика, вроде Бродского, а не... а не кто, в самом-то деле?

— Пошли, пожрем что-нибудь, — сказал Бродский. — Тебе станет лучше.

— Не могу я жрать.

— Так проводи меня. Я-то голоден. — И ни звука больше. Весь этот роман закончился двумя словами: я голоден.

Мы вернулись на ту же площадь времен Ренессанса. Брожение военных около торговой палаты и княжеского дворца продолжалось, как и раньше.

В том же беспорядке. Нам навстречу вышла шумная компания ребят и девчонок, повязанных красными галстуками. Они приветствовали нас криками: "Салюд, амиго!" Все теперь красные. Обновленный мир. Чао, рагацца! Какое теперь имеет значение, грудастая

девочка, кем ты была дней десять назад. Все теперь партизаны, умудренные в боях, которых и в помине не было, всякий готов войти в легенду о народном восстании. Баннера росса! Баннера росса!¹

Мы снова проходили мимо наклонных башен и колоннад, по дороге к армейской лавке. Вместо того, чтобы пороть всякую чушь о Ноге, которая уже не твоя, которая никогда не будет твоей, почему не зайти было вместе с Бродским? Испугался что ли своих утонченных слабостей? И каковы мои впечатления от этого дня, который, как бы там ни было, никогда уже не повторится? Чем я занимался в этот день? Помчался в Болонью. Ну, как Болонья? — спросят ребята. — А, Болонья — что вы знаете! Есть там такая площадь. И есть там такой публичный дом. Да, и пиццерия. Так вот, я сидел в пиццерии и ждал, пока Бродский кончит. А потом...

— Поехали назад, Бродский.

— Уже?... Я жрать хочу.

— Темнеет, — нашелся я. — Вечером трудно поймать тремп.

Его узкие глаза в недоумении уставились на меня, но вместе с тем, в них можно было прочесть, что и Бродскому этот город порядком надоел.

— Если хочешь, поедем через Форли. Поужинаем там, а потом поймаем какую-нибудь полковую машину.

— Пусть будет Форли! — его глазки вспыхнули. Теплый майский закат золотил жженные кирпичи далеких столетий. Где-то там, за Апенниннами, заходит сейчас солнце. Утром оно поднимается из-за моря, как в санатории в Пезаро. Бродский уже готов к новым приклю-

¹ Красное знамя! (итал.).

чениям, свой парень в любом уголке мира. "Кутить, так кутить, Элиша! Болонья — это не город".

Мне было все равно куда, только бы не задерживаться здесь, и в лагерь не возвращаться. Едем. Едем куда-нибудь.

— Пусть будет Форли!

На широкой площади, по эту сторону стены погибших, стоят военные машины, около них толпятся солдаты. Мы наудачу повертелись между машинами. Палестинские, которых мы встретили по приезде сюда, уже куда-то делись, а другие машины, если не собирались ехать на север, не собирались ехать вообще. Неожиданно мы заметили шестиконечную звезду на дверце одного из "доджей". Всякий магендавид, попадающийся нам по пути, задевает в нас особую струну. Наши машины, наши дороги, липовое могущество слабых, демонстративное самовыпячивание меньшинства. Обычно это так, но сейчас я обрадовался, увидев номер подразделения — девять-ноль-пять. Отряд Пинека. Внезапное чувство охватило меня, как будто замкнулся круг событий дня, и начинают происходить события, о которых я никогда не прекращал размышлять. Со дня нашего прибытия в Италию я видел Пинека только один раз, когда он пришел навестить меня в Фьоджи, а до того мы не виделись с самого призыва, спустя немного времени после той несчастной свадьбы.

Около грузовика никого не было видно, но мы решили, что не двинемся с места. Лучше попытаться наше счастье, чем тащиться сейчас на шоссе и ждать чуда там. Бродскому я ничего не сказал, но в сердце затаил надежду на то, что это вот и есть машина Пинека. Если бы он сейчас пришел, герой моего далекого детства, я бы ему всю душу выложил. С ним можно поговорить, похохотать, можно даже — это я понимаю только теперь, когда я уже не ребенок — поплакать.

Мы с Бродским сидели друг против друга, он на подножке одного грузовика, я на подножке другого. Тени высоких зданий заслоняли всю площадь, и только в небе еще краснели облака, словно стыдясь чего-то. По светлому небу парили голуби, исчезая в темноте площади, отдыхая на цветочных венках, поклевывая их и перелетая с места на место. К нам подошли двое детей, воровато пробравшихся между стеной и грузовиком; теперь они стояли около нас тихие и терпеливые.

Бродский поманил их пальцем.

— Не трогай ты их, — сказал я ему. Я знал, что он собирается сделать, и мне стало жалко его. Однажды мы вышли из столовой, держа в руках котелки с остатками еды. Около мусорных баков вертелись дети с жестянками в руках. Они попросили, чтобы мы отдали картошку и суп им, чтобы не пришлось копаться в помоях. Бродский, однако, грубо отстранил их и вылил все содержимое своего котелка в помойный бак. Я помнил его рассказы о зиме тридцать девятого—сорокового, и не мог понять его жестокости.

— Хотите сигарету? — с мягкостью в голосе обратился Бродский к малышам. Но дети были из того же теста, что и он сам: на мякине не проведешь. Они не двинулись с места.

Бродский извлек из кармана нераспечатанную пачку "Лаки стрэйк". Он надорвал обертку и шелкнул по низу коробки средним пальцем. Показались две сигареты.

— О, ч-черт! — возмутился я. Мне захотелось предотвратить эту забаву. — Андаре виа! Престо!¹

Опытные ребяташки не шелохнулись. Бродский вытащил сигареты и издалека протянул им.

¹ Убирайтесь отсюда! Быстро! (итал.).

— Андаре виа! — я вскочил, чтобы прогнать их, но они только отскочили к стене и оставались там, выжидая, пока кто-нибудь из нас возьмет верх. — Что тебе надо от этих детей, дерьмо такое!

— Хочу сделать им подарочек. — Он швырнул обе сигареты — одну за другой. Ребятишки прыгнули вслед за ними. Сигареты упали на землю, те ловко подхватили их и бросились бежать.

Бродский достал третью сигарету и смял ее пальцами, пока весь табак из нее не выкрошился на каменную мостовую. Искалеченные души, подумал я. Я не хочу иметь с ним никаких дел, с такой дрянью.

— Когда началась война, я был таким вот. Немного постарше, но таким же. Куском дерьма.

— Киршенбойм, — сказал я, ничего не подразумевая.

— М-да, Киршенбойм. — Он криво улыбнулся и вдруг заржал во весь голос, скрипя, как тяжелая сосна. — Ты говоришь Киршенбойм, а я вот смотрю и думаю: кто это здесь?

— Как ты попал к Андерсу?

— Жрать хотелось. Надоело голодать. Вообще-то я человек мирный. — Улыбка его выпрямилась, и я уже знал, что он сейчас расскажет все по-другому. — Как-то зимой — земля была, будто железная, а ветром, как ножом резало. Пробуем копать, а лопаты ломаются. Я в ту зиму был у партизан. Немцы там были — это мы их прикончили. Сложили мы их в ряды и выстроили из них стены, поливая водой и скрепляя снегом. Там и жили. Недели две.

— Жили?!

— Жили.

— За такими стенками?

— За такими стенками. А я, лапочка, человек мирный. Эт-точно.

Он бы тогда еще что-нибудь рассказал, в этот сумасшедший вечер, если б я только слушал. Но я замкнулся в себе, страшась заглянуть в эту узкую щель, приоткрытую мне Бродским. Мирный человек...

Трое солдат шагали через площадь, глядя в сторону грузовика. В таких не ошибешься, даже в темноте, даже со ста метров. Особенно тот, слева, в другой армии такого не сыщешь. Форма подобрана и нацеплена, будто на ходу — надел, что было. Брюки узкие, лезут кверху вслед за животом: штанины уже выбились из обмоток, но и обмотки не прилегают к ботинкам, а болтаются на ногах, как брезентовые браслеты. Фуражка — то же самое, если б не уши, свалилась бы до самого подбородка. Когда он приблизился, мы увидели, что он сержант; а вид у него такой, будто только что со стройки.

Сержант заметил нас первым, успел оценить нас взглядом и поднял брови, из которых над его глазами образовалось по шалашу:

— Тремписты тут ждут, а, тремписты?... Сделали небольшой крюк в Болонью, а, авантюристы...

А вот и не со стройки. Когда он поднимает брови, глаза его становятся меньше, зорче, а от них отделяется и тянется книзу в виде вогнутой дуги нос, узкое основание которого сплющено и тянется к ноздрям в форме плуга, а подо всем этим узкие губы, как трещины в сухой земле. Настоящий ревнитель веры; при таких начинаешь анализировать свои поступки. Голову даю на отсечение, сейчас он спросит про нашего Тамари.

И верно, только мы назвали номер своего отряда, сразу же имели счастье услышать столь неизбежный вопрос:

— Ну, и как там Тамари, а? Как он там, старый дружище?

Как все. Даже пальцы у этого сержанта такие же,

как у Тамари, жирные и короткие. Они наверняка из одной компании.

— Очень повезло вам, братцы, что мы сейчас как раз к вам. Хотя и нет у вас увольнительных — полезайте к нам. Оп-ля.

— Не-а... Мы в Форли, — не сдавался Бродский.

— Что еще за Форли? — сержант нахмурил брови. — Вы едете с нами. Раз—два. Евреев вы здесь встречали? А?

— Нейн-нейн! — засмеялся другой, по-видимому, водитель. — Искали, да не нашли.

— А если не искали, так натыкались. Случайным образом.

Я пожал плечами. Что тут говорить. Я решил спросить о своем Пинеке, отчасти чтобы переменить тему, отчасти для того, чтобы близость к Пинеку представила и меня в более положительном свете.

— Пинек! — протянул сержант обе руки, как будто нашел пропавшего брата. — Ты племянник Пинека! Здорово. Очень здорово. Это душа-человек. Очень даже... Большой души человек... А ты, значит, его племянник... Ну, раз так, давай, залезай, паренек, а мы уж не расскажем Пинеку — ни где мы подобрали тебя, ни чем ты тут занимался...

7

Мы ехали с незатемненными фарами; вечерний холод врывался в открытый кузов, пронизывая нас насквозь. Победа. Победа. Победа. А сердцем я все еще там, в последней ночи перед отправкой на фронт. Из Анконы тогда навстречу нам ехали южноафриканцы в узкополых пробковых касках, запыленные, с поникшими головами. Они молча опирались на свои ружья, а мы

орали во все горло, чтобы все враги от страха передохли. Окруженные тьмой мы остановились в каком-то заброшенном дачном поселке и спустились к берегу, чтоб испробовать свои ружья — стояли и палили по низким волнам, и горький запах пороха оставался в вязком адриатическом тумане. А после стрельбы чистили стволы кипяченой водой и смазывали маслом, точно священнодействовали. Слабые огоньки фар — узкие полоски белизны в плотной синеве. Где-то поблизости, в поле мигают два ряда желтых глаз — точно на смотре. В солёный морской туман врывается рев самолетных моторов, летящих над этими желтыми глазами в неизведанную тьму, в те края, где уже настоящая война, навстречу которой мы скачем, порхая, как бабочки. А за пять лет до того — больше — мама стояла на балконе и плакала: "Я только разок хотела заглянуть к ним..." — "Говорю тебе, мама, — отвечал ей я, а было мне тогда тринадцать лет, — это не продлится больше, чем полгода, вот увидишь". А теперь вот здесь, зимний адриатический туман, из-за горизонта доносятся приглушенные наземные взрывы. Звуки пушечных выстрелов поглощаются туманом. Как морские валы. Это была бесконечная ночь. Новенькие "доджи" возились в темноте. Майор Сандерс лично наблюдал за погрузкой снаряжения. Кто-то распустил слухи, что в поселке будет кино. Мы устали от долгой поездки, запыленные, взволнованные; знали, что подъем в два тридцать — встаем посреди ночи и чуть свет выходим на позиции. Кто станет спать в такую ночь? Мы побросали свои вещи в одной комнате и отправились искать кино. Я попросил Боби Майнца подождать меня минуточку, но пока я вернулся к шоссе, он уже смылся вместе с Лэйзи. Я звал их, но они исчезли в тумане. Гершлер сказал мне, что Боби ушел с Лэйзи и еще с кем-то. "Пойдем с тобой вдвоем", — предложил Гершлер. Он болтал всю

дорогу, а я молчал. Вопреки своему желанию я не мог оставить мысль о том, что Боби, пообещавший подождать меня, смылся с Лэйзи, длинноногим похотливым банщиком. Гершлер сказал тогда: "С того самого дня, когда мы отчалили от устья Дуная на жалких речных суденышках, я мечтал только о том, чтобы еще раз вернуться в Европу — вместе с фронтом. Моя заветная мечта сбывается, Элиша". Было неловко и противно выслушивать эти патетические словоизлияния, именно от Гершлера, общество которого было мне неприятно. То, что я молча выслушиваю эти интимности, делает меня лицемером, и мне хочется сказать ему — отстань, иди вон, но разве можно так говорить? А Гершлер продолжает: "Крук, очень тебя прошу и знаю, что ты исполнишь мою просьбу (тут он схватил мою руку своими скользкими руками) — есть у меня в Палестине родственница, в Иерусалиме, в новой части Бейт-Исраэля... Если случится что-нибудь на фронте, напиши ей письмо и вещички мои отошли. Армия сама отошлет, ты только проследи..."

Нахальные фары выскочили нам навстречу, осветив грузовик и поля по краям дороги. Позади нас тоже едут с полными огнями, толкая перед собой узкий пучок километров. Галутный тип этот Гершлер. Из всякого пустяка они делают спектакль — поцелуи, клятвы, рукопожатия. Все гораздо проще. Ракеты из-за холма летят, напоминая кометы; красными черточками, одна вслед за другой тихо мчатся трассирующие пули. Грохот минометов и "бренов"¹. Разбазаривают оставшиеся боеприпасы. Вот веселье, на душе только скверно. Все вышло не так, как я думал, не так, как я воображал с перепоя той ночью на крыше, три года назад. С тех пор, как я вышел из пиццерии, надравшись виски

¹ "Брен" — тип пулемета.

и покачиваясь, меня так и тянет рассказать Бродскому эту историю. Нет, позже, с тех пор, как он сказал: "я человек мирный"; но что-то никак у меня это не получается, как будто бежишь за телегой, боясь вскочить с одного маху. По дороге-то мог бы и рассказать, если бы не сидел тут самый молодой из этих трех солдат. Он из отряда Пинека, а я могу откровенничать только с совершенно чужими людьми. Бродский-то чужой, а вот этот парень, вероятно, какой-нибудь деятель, а может и друг Пинека, — из-за него приходится помалкивать.

Добравшись до перекрестка, мы свернули с шоссе. Ехали вдоль железнодорожного полотна, по пыльной дороге, петляя с кочки на кочку. Справа, над прифронтной известковой горкой разорвались заряды фейерверков, начертив в небесах дуги и рассыпавшись в ночи бесконечными брызгами. Холмы, деревня с квадратным замком, надвигающимся на нее слева, кипарисы, обрушенный шпиль церкви — все зажигалось и гасло, зажигалось и гасло, как во сне. Глаза разбегаются от восторга.

Грузовик притормозил около усадьбы, в которой размещался штаб полка, и мы выскочили наружу. Между палаточным лагерем и оливковой рощей пылал костер в честь праздника Лаг-Баомер, вокруг костра — силуэты веселящихся солдат. А чуть дальше, в том месте, где мы прятались по утрам, шли полным ходом игры с огнем: пятидесятимиллиметровые минометы стреляли осветительными снарядами и дымовыми шашками, саперы устроили фейерверк, пулеметчики расстреливали целые ленты трассирующих пуль. Каждый раз, как осветительная ракета, повиснув в воздухе, медленно опускалась на парашюте, мы видели дымовую завесу, стоящую над поляной, распространяющую горький запах пороха. Ведь это в последний раз.

С минуту мы постояли вдвоем, закинув головы, очарованные этим зрелищем. Такое великолепие я видел только один раз, в начале последнего наступления, незадолго до того, как попал в больницу, — эскадры бомбардировщиков, противозенитные батареи, зонты фейерверков, висящие над соседними холмами, последние германские позиции, чарующее видение разведенного в печке огня.

— Пойду спать, — сказал Бродский.

Мне было наплевать. Долгий день, проведенный в обществе Бродского, казался мне теперь позорным и ужасным. Почему я не остался здесь, вместе со всеми, почему я позволил Бродскому лишить меня таких неповторимых впечатлений?

— О'кей, — ответил я. — Я поверчусь немного около костра.

Издаലെка казалось, что там собран весь полк, но войдя в освещенный круг, я обнаружил, что тени нескольких десятков людей выглядят огромной толпой. Около костра стояли Тамари, подбрасывая в огонь сухой хворост, ветки олив, обломки ящиков, поливая их соляркой. В нескольких шагах от него, оберегая свое красивое облачение от летящей золы, стоял военный раввин, протянув руки вперед и распевая сладким канторским тенором:

— Жди, когда снега метут, жди, когда жара...

Несколько приглушенных голосов подтягивали вслед за ним. Тамари пел с чувством, не отрываясь от своего занятия. На земле, неподалеку от огня, сидел Гилеади со своими товарищами — они тоже пели. По эту сторону костра, вокруг походного стола стояли остальные, попивая кофе и провожая глазами разбегающиеся искры. У меня заурчало в желудке, изо рта несло перегаром. Я удивился тому, что от моего опьянения ничего не осталось, и подошел к столу выпить

кофе. Намазал вареньем кусок хлеба, попросил передать мне кружку и отправился искать своих товарищей. Издалека мне казалось, что тут во всю идет веселье, а подойдя поближе, я обнаружил только жалкую попытку провести вечер надлежащим образом.

— "Однополчане"! — крикнул кто-то; рабби немедленно согласился и, не переводя дыхания, запел:

— Однополчане! Наголо штыки, однополчане...

Но и это никого не загло. Я стоял у стола, поглядывая на Гилеади, что-то говорящего своим друзьям — он тихо говорил, а они слушали. Стрельба в мертвой зоне прекратилась. Последняя осветительная ракета взвилась неизвестно откуда, осветив всю долину, палаточный лагерь, кучку солдат около штаба полка, осторожно спустилась вниз уставшей звездой и растворилась во тьме. Конец вечеринке.

В эту секунду на приличном расстоянии от костра послышался лающий голос, всем знакомая хрипотца старшего сержанта Изаксона, — разве что на сей раз он выдавал не команды, а слова песни:

— Ун алц из дрек, алц из дрек, нор ди хейлике Тойрэ...¹

И уже стоял около военного раввина, с непокрытой головой, распахнутой курткой, галстук сбит куда-то вбок, упрямо хрипя и хлопая в ладоши:

— Форт а ид кейн Эрец-Исраэль мит геганветэ схойрэ...²

Все, казалось, были поражены этим зрелищем. Старший сержант Изаксон был одним из самых ненавистных в полку. Он был точным повторением британских кадровых военных, направленных в лагерь новобранцев после нескольких лет службы в Индии или

¹ Все дерьмо, все дерьмо, кроме святой Торы... (идиш).

² Едет еврей в Эрец-Исраэль с ворованным товаром. (идиш).

восточной Африке. Иначе говоря — он не был англичанином, его шкура не была расписана татуировками — как у тех — от пояса до подбородка, от плеч до кончиков пальцев; к тому же он ругался на всех четырех неофициальных языках — арабском, русском, идиш и кое-как — на иврите. В этом вся разница, а в остальном он был страшнее самого безнадёжного англичанина. Ботинки у него не чищенные, а шлифованные, как черная сталь; форма не накрахмалена, а сшита из жести цвета хаки; ремень и обмотки промазаны свежим мелом, а пряжки сверкают чищенной медью. За всем этим скрывалось узкое лицо, впавшие щеки и рот до ушей. И глаза сифилитика: так мы считали в ту пору, когда он был сержантом по строевой подготовке, а мы новобранцами. Он устраивался в углу плаца, разевал рот, как свежую могилу, и гонял нас взад и вперед по асфальтовой площадке, в длину и в ширину, и голос его вонзался в наши следы сворой гончих собак: ап-ап-ап-ап! ап-ап-ап-ап!... Горе тому, в кого вцепится его сифилитический глаз! Новички после окончания строевой подготовки продолжали инстинктивно вздрагивать при виде приближающихся трех нашивок. После переформирования бригад в Египте снова появился Изаксон и был прикреплен ко второму батальону. Поговаривали, что он побаивается схватить шальную пулю в свою стройную спину, но его педантичность никак не служила тому подтверждением. И никак не соответствовала такому вот неожиданному появлению тощего, растрепанного человечешки, слегка навеселе, опирающегося на военного раввина и подвывающего:

— Алц из дрек, ун алц из дрек...

Мы были потрясены, словно найдя, наконец, подтверждение тому, что пришел конец нашим армейским денькам; от костра и из тьмы долетали голоса, упрямо вторившие этой песенке и ее припеву, даже раввин

своим сладким тенором, даже Тамари что-то там мямлил, стыдливо улыбаясь, все еще поддерживая огонь.

Но только на один миг. Мы еще продолжали петь, а я уже заметил того сержанта, который подбросил нас из Болоньи — он шел к костру. Где он был до сих пор? Приехал-то он к Тамари. Я удивился тому, что выскочив из грузовика, я начисто забыл об этом сержанте, удивлялся тому, как долго он пробыл в штабе. Теперь он терпеливо ждал конца этой песни, и прежде чем старший сержант Изаксон затянул "Катюшу", приблизился к Тамари и тронул его за плечо. Тот обернулся, одним взмахом выбросил из рук палку, обвил сержанта обеими руками с криком "Изя!", целуя его в обе щеки. Этот Изя, показавшийся мне кривехоньким и волочащим брюшко, был выше Тамари, плотного и широкоплечего. Он тоже ответил поцелуями и объятиями, но похоже, что в то же время так щекотнул Тамари подмышками, что тот отскочил и вырвался из объятий сержанта, хохоча и постанывая от щекотки. Так стояли эти двое в стороне от всех солдат, двое мужчин папиного возраста — нет, постарше — шумя, лобызая друг друга, заваливая вопросами, снова и снова пожимая друг другу руки. И в то же время, безо всякого перерыва, охваченные той же праздничной серьезностью, не скрывая своих чувств, они становятся вдруг далекими-далекими от смотрящих на них ребят, в то время как мы, вопреки собственной воле, оказываемся соучастниками их теплой взволнованной беседы. Мы продолжаем глазеть на объятия этой пары стариков, а Изя уже наклоняется к Тамари и шепчет ему на ухо несколько слов, от которых тот мрачнеет. Вот сейчас-то он и сказал ему — зачем, собственно, приехал среди ночи, — подумал я. А Тамари, чьи стриженные седины и могучее тело хранят дерзкую земную красоту смугловатого южнороссийского еврея, магической

силой слов, которые нашептал ему Изя, превращается в Тамари-активиста, представителя организованной еврейской общины. Непроницаемый занавес отгородил их от нас, и все стало тайным, сугубо внутренним делом. Тамари пригнулся, словно взвалив на плечи тяжелый груз, взял Изю под ручку и увел в темноту. Мы остались один на один с тлеющим костром, с неразгаданной тайной и с песнями, которые никто уж не станет петь этим вечером.

Все недосказанное в долгой сегодняшней беготне вдруг выплеснулось наружу. Да ведь это Изя Балабан! Да не ври ты, будто не знаешь, кто такой Изя Балабан. Из *организации. Человек*. Ребята, — если Изя Балабан сюда примчался, в этот же вечер, значит, затевается что-то серьезное.

Что?

Что?! Собираются нас перебрасывать.

Перебросят-то, ясное дело, но куда — вот в чем вопрос!

В Германию, вам говорю. Оккупационные войска.

Хорошо бы, хоть бы на один месяц. После этого они век нас не забудут.

После этого будет у них *причина* нас ненавидеть.

Хорошо же ты знаешь англичан... Закинут нас прямо в Бирму. В джунгли. А не в Германию, и уж не домой, конечно.

Может быть, Изя для того и приехал. Организовать сопротивление. Не поедem — все.

Очухаться не успеем — окажемся среди японцев.

В Германию пойдем. Сами. Смоемся.

Бунтовать, значит?

А что же — в джунгли идти?

С чего это вдруг джунгли? Нас разоружат, отнимут все снаряжение и отправят в Палестину. По одному. Как гражданских.

В Палестину-то точно не пошлют. Им там только тридцати тысяч демобилизованных солдат не хватает.

Так куда же нас денут? В Германию пошлют?

Дал бы Бог. Только бы на один месяц.

Немного, хотя бы Кишинев один, в круглых числах: тысяча сожженных домов, пятьсот убитых, сто изнасилованных.

Какие сто? Я собственноручно обязан одного убить. Хладнокровно. И изнасиловать одну. Хладнокровно. А потом уж на все наплевать.

Тебе-то я поверю. А вот Тамари — ты можешь себе представить, что Тамари войдет в Германию как казак?

А пусть войдет, черт его дерит. Для этого мы здесь. Не для рузвельтовского честолубия. Не для Британской империи. Не для Сталина. Мы здесь для того, чтобы отомстить за кровь. Дикой еврейской мезтью. Побудем разок татарами. Украинцами. Немцами. Все мы, прекраснотушные пай-малычки, гимназисты, ортовцы, члены Гистадрута и всяческих Союзов — все мы войдем в один германский город и сожжем его, улицу за улицей, дом за домом, немца за немцем. Почему только мы должны помнить Освенцим? — пусть они тоже запомнят уничтоженный нами город. А после этого я готов ехать в Бирму...

— Кончай, кончай, Гилеади... Ты-то способен уложить девчонку, если она сама не ляжет?...

Все засмеялись. Нельзя не засмеяться, рисуя в воображении этого Гилеади, бледного, очкастого, похожего на банковского кассира — в виде насильника и убийцы. Нельзя не смеяться, когда так говорит Лэйзи, неожиданно возникший около гаснущего костра. Страстный, длинноногий Лэйзи с мускулистыми лапами, говорящий медленно, будто засыпая. Он-то, со своим могучим спокойствием, еще может — но Гилеади...

Гилеади тоже улыбается, но в очках его точечками отражается пламя. Говорят уже о чем-то другом, а он все еще захвачен собственными словами, только что сказанными. Это он не просто так, не к слову пришлось. Он всего лишь приоткрыл окошко показать то черное пламя, которое бушует в нем.

Разговор гаснет. Боби Майнц со своими друзьями вернулись из Форли. Пригибаясь, протискиваются к костру. Кто-то подогрел кофе. Мушик принес Гилеади хлеба и банку варенья, и все пьют, едят, болтают. Гнусавым сонным голосом Лэйзи описывает зрелище, виденное им в Форли:

— Невозможно рассказать, что там творилось. Все время прибывали пленные — на своих машинах, на своих мотоциклах, со своими офицерами — слезали и собирались на стадионе. Такое чувство, будто ты с ума сходишь, — да кто же они: пленные или делегаты съезда ветеранов партии? Несколько тысяч их там на стадионе столпилось, безбилетных. Их почти никто не охранял. Так только: то там, то здесь полицейский или еще кто-нибудь с ружьем. Солдаты — здоровые, как лошади. Целехонькие немецкие "форды". "Фольксвагены". Ты видишь, как они крутятся на стадионе, и чувствуешь — еще минута, и выступит фюрер с речью, а потом они снова рассядутся по своим машинам и займутся нами всеми, кто стоит там в стороне, как чучело, и ждет. Неприятное было ощущение...

— Надо было швырнуть туда парочку гранат, — предложил Покер.

— Я вам скажу, что надо было сделать, — прямой наводкой из "виккерсов" надо было шлепнуть, — развил его мысль Мушик, только что пришедший и развалившийся около Гилеади.

— Пуль на них жалко, — раздался чей-то голос из

темноты. — Я бы полил там все вокруг бензином и подпалил бы этот стадион.

— Бензину тоже жалко, — возразил кто-то другой. — Я б их запер там, и пусть себе друг друга кушают. Потихонечку.

— Это все болтовня, — сказал вдруг Боби Майнц, молчавший до сих пор.

— А ты бы что сделал? — спросил Лэйзи.

— Не знаю, что. Что-нибудь. Что-нибудь такое, чтобы они этим потом пугали своих детей зимними ночами. "Что сделали нам евреи?" Что-нибудь такое, что будет им вместо сказок братьев Гримм. Чтоб еще пятьсот лет их дети по ночам от страха просыпались.

— Верно, — Гилеади поднял голову, словно Боби сказал то, что он сам собирался сказать.

Вопреки своей воле, я не мог отвести глаз от Боби, его мужественного, очень немецкого лица. Я верю в его бескомпромиссность. Этот — может, с ним и я бы пошел. На все бы пошел. И вдруг я слышу самого себя — там, на крыше — я кричу во весь голос, оскорбляю и позорю всю семью, собравшуюся на свадьбу, а больше всех — Пинека, который работает в военных лагерях, набивая карманы деньгами, который тащит в дом всякую всячину из солдатских лавок; я стою и кричу — почему все вы не идете в армию, почему вы не воюете, почему вы не на фронте, чего это вы устраиваете свадьбы на крышах — с бутербродами, с сосисками, с пивом и вином, чему это вы так рады...

Сколько раз в своих размышлениях я возвращался к этой минуте, после которой я не смел взглянуть ни на кого из родных. Сорвал веселье, поставил себя судьей над ними, целую проповедь прочел, а кем я был, в конце-то концов — надравшийся шестнадцатилетний мальчишка. Какое право я имел осуждать их? Какой дрянью я показался себе самому на следующий день и

многие дни спустя — до того, как пошел в армию, да и после, охраняя пустые склады вдалеке от настоящей войны, и даже в эти вот последние недели. Когда же я увидел черный огонь в глазах Гилеади, услышал жестокие слова Боби, то мне показалось, что не такие уж пустяки я говорил тогда на крыше.

Я еще погружен в эти мысли, а разговор уже перешел в другое русло. Лэйзи и Боби собрали вокруг себя своих единомышленников: ортовцев, мошавников и ребят из сельскохозяйственных школ, а Гилеади встал и ушел — за ним по одному и его товарищи. Шимеле-связист произнес имя какого-то бывалого молодца, и это имя вызвало целый шквал воспоминаний: об училище "Макс Файн", об отдыхе в Сахнэ, о поездах в долине, о походе на Хермон, о первом бобином дне в группе военной подготовки, — все эти рассказы, которые никто не устает ни слушать, ни рассказывать, и не потому, что рассказывают что-то новое, а совсем наоборот, потому что все знакомо и дорого сердцу, как старый вальс, как азбука Морзе, тайным кодом которой связаны все участники разговора. Кто сидел, кто лежал, спина к спине, голова на чьем-то бедре, замкнутая компания, в которую и я желал бы войти всей душой. Но сейчас-то чего я сижу здесь в сторонке, на неустойчивом сосновом бревне, с ними и вне их компании; почему мне кажется, что я сижу позади всех, что никто не ощущает моего присутствия и никто не заметит, если я встану и уйду?

Я встал. Никто не предложил мне остаться, и все продолжали говорить без умолку. Я вернулся в лагерь. Люди расползлись по своим палаткам. Огни фейерверка погасли, облако дыма унес ветер. Остались лишь майские небеса, усыпанные звездами. Я проходил мимо узкого окопа, с которого была снята палатка. Вчера здесь покончил с собой Фридберг. Его сосед перебрал-

ся в другое место, а узкий окоп остался здесь, как вырванный глаз. Я спустился в нашу палатку, скинул одежду и закутался в одеяла из грубой шерсти. Во тьме палатки слышался только пилящий храп Бродского да хохот той веселой компании. Печаль снова захлестнула меня. Письма Ноги лежат в моем изголовьи, и их содержание не оставляет никаких сомнений. Даже ее уверенный почерк, слова, бегущие по строкам, дыхание молодости. Весна в Израиле. Люди учатся в университете. Работают. Ребята встречаются по субботним вечерам. Капитуляция стала свершившимся фактом, и сентиментальные дни войны безвозвратно улетели. Все просто в этих письмах: там идет совершенно другая жизнь, а я все здесь — и что же, что же будет теперь со мной? Мои глаза глядели в темноту, и только три слова кружили надо мной, как комары: что теперь будет? что будет теперь?

СЛОМАННЫЙ МЕЧ

1

В последний вечер перед отправкой в Германию в полку был устроен поминальный сбор.

Машины, покончив с погрузочной суматохой, выстроились на асфальтированной части пустыря справа от лагеря, образуя большое "П", моторами внутрь, к "п" маленькому, вычерченному из нас, стоящих поротно и повзводно. На равном расстоянии от ножек "п" маленького, но уже за его пределами, ближе к железной дороге, была установлена мачта с флагом поднятие которого в пределах лагеря до сих пор оставалось недозволенным. В сторонке топтались офицеры, поджидая старшего сержанта Мак-Грегора, который должен был дать сигнал к поднятию флага. Старший сержант, во всем великолепии своего шотландского мундира, напряженный и скованный, словно в гипсе, стоял в положении "смирно", держа черный стек под мышкой, покрикивая направо и налево: "Старший сержант такой-то!", до тех пор, пока не прекратилось всякое движение, так что тихий кашель казался раскатом грома. Разом напрягшись, он развернулся на правой пятке, как шарманочный танцор, и твердым шагом двинулся по направлению к очерченной мелом площадке, за которой стояла мачта, — оста-

новился, завершил полный оборот и обратился к полку, задирая колени до пояса и стуча пяткой по земле, еще сильнее прижал кулак к клетчатой юбке и вдруг — словно наткнувшись на мину — распахнул свой рот от воротничка куртки до самого лба, и грозное рычание сотрясло все окрестности. Первый оклик — и полк каменеет; второй — и все ружья отвечают двумя короткими позвякиваниями. Вся долина замерла по стойке "смирно", и только наши глаза разбегаются, впитывая в себя это зрелище — сотни солдат, бронетранспортеры и их экипажи, противотанковые орудия, огромные "доджи", предчувствие дороги, на которую мы должны выйти до первых лучей солнца. Незабываемые минуты, совсем как то первое построение в египетской пустыне, при полном снаряжении, издающем запах заводской смазки, — необкатанные шины, непоблекшая краска, новенькие мундиры, американские сигареты. Полк за полком проходит, разбрасывая комья глины, сотни машин трясутся под тяжестью седоков, словно кони, полк теряется в облаке пыли. Вот сила! Силища! А теперь этот сбор перед отправкой в Германию. Одно только сообщение — движемся на север, и разочарование улетучилось, как будто его и не было. Ряды вооруженных солдат, колонны автомашин, свернутый флаг, привязанный к мачте, два капрала по обеим сторонам и Шимеле, стоящий наготове и держащий в руке рожок.

— Полк! Равняйся! Сми-и-и-рно!

Старший сержант Мак-Грегор в последний раз появляется перед солдатами империи: Полк! Во-о-о-ольно!

Мы теряем наши обличья и сливаемся в единый полк, в единый ритм — в еврейский кулак. Старший сержант Мак-Грегор застывает на секунду — и только пара ленточек, свисающих с его берета, продолжает жить собственной жизнью. И снова рычание. Полк за-

мирает. Полк потрясает ружьями. Старший сержант выполняет разворот и шагает по направлению к кучке офицеров, к адъютанту, некоему капитану. Тот выходит навстречу. Двадцать шесть лет службы сосредоточены в этом мгновении, во всяком движении виден почерк мастера. Некий капитан — кто сейчас вспомнит, как его звали? — тоже напрягает все конечности, вытягивается вслед за Мак-Грегором по стойке "смирно", отвечает взмахом парализованной руки на приветствие, напоминающее удар электрическим током, разворачивается и шагает внутрь очерченной площади, но наши глаза тянутся за сморщенным шотландцем, который пересекает плац походкой старой, но великолепной кавалерийской лошади и становится в конец нашей шеренги, позади всех.

С этого момента все тянулось обычным образом. Безымянный капитан пискнул, обращаясь к офицерам: "Господа, занимайте места!" Все сержанты и старшие сержанты развернулись и разошлись по шеренгам; кучка офицеров распахнулась, как веер, и каждый отправился к своему подразделению. Ведение сбора перешло в руки майора Каплана, замещающего сегодня полковника Гриффита. У майора Каплана нет вкуса к таким делам, он низкорослый, а ходит — как против ветра гребет. Разве что голос его соответствует торжественности момента. Три вопля — и мы становимся "вольно". Три вопля — и мы вытягиваемся "на караул". В последний раз принимает наш полковник командование полком.

Даже теперь — щегольство бывалого вояки — он не снимает куртки десантника и сапог мотострелковой роты. Если бы не бинокль и планшет, он выглядел бы как в те месяцы, когда он носился по подразделениям — во время учений и на фронте. Он отдал честь торопливо, словно спеша добраться до другого участ-

ка, и не успели мы понять — что происходит, как уже стояли с ружьями "на караул". Офицеры держали кончики пальцев у козырьков, Шимеле прикоснулся губами к мундштуку рожка и протрубил сигнал к поднятию флага.

Да. Вот это была минута. Была... Не забудется, не изменится. На веки-вечные.

Золотым кружевом тянулся звук рожка, уходя к вечернему небу, лаская долину, перебираясь через реку, скользя над местечком, паря над башней замка и отправляясь дальше — причитая и восторгаясь — к известняковым хребтам, на северо-восток, к той черте — и где она в самом деле, эта зазубренная черта? — за которую мы так рвались, чтобы, воспользовавшись случаем, плеснуть ненавистью на ненависть, смертью на смерть. Винтовка дрожала в моей руке, винтовка, возвращенная мне только сегодня. Глаза мои переполнялись слезами, я отвернулся от знамени, тихо ползущего к небу, и вперился в жирную спину лейтенанта Фройнд-Поцовского. Хотите убедиться в том, что война кончилась? — пойдите, посмотрите на Фройнд-Поцовского, который вернулся к нам с какой-то пустяковой должности. Поцовским его зовут с того дня в полковой столовой, еще в пустыне. Жратва не была готова, и мы сидели под брезентом, щурясь от солнца и стуча ложками по котелкам, словно оркестр в сотню барабанов. Лейтенант Фройнд, который уже тогда был кухонным офицером, тщетно пытался утихомирить нас. Он орал, а мы только сильнее стучали ложками. Тогда-то черт и дернул его ляпнуть: "Я-то может и поц, зато вы все поцовские...". И еще много чего он тогда молол, но только это слово и осталось, создав ему таким образом двойную фамилию, а особо старательные добавляли даже: фон Фройнд-Поцовский. Теперь он будет командиром подразделения, созданного по

случаю мирного времени. Странно, чего это я прицепился к этому уморе-лейтенанту, Бог знает каким образом ставшему лейтенантом; как это можно было отвлечься от песни рожка. Неясно, то ли пылающее кружево небосвода — это закат, то ли оно выткано из звуков рожка... давайте лучше о чем-нибудь другом, и без метафор... Чего это они там смеются? Тамари? Что там происходит с Тамари?...

Незадолго до этого полк был переформирован, и ребят из нашего взвода приписали стрелками ко второй роте, в которой раньше мы числились санитарями. Я стоял в среднем ряду, а Тамари в первом, чуть левее. К гладкому голосу рожка присоединились теперь громкие всхлипывания, заканчивающиеся чем-то вроде икоты. А кругом все ржут. Теперь-то я вижу, в чем дело — Тамари судорожно трясет головой, пытаюсь справиться со слезами, а Лэйзи корчится от смеха, глядя на старика, и этим смехом охвачено все правое крыло нашей роты. И надо всем этим, откуда-то сзади, рев старшего сержанта Изаксона:

— Подавитесь своим смехом, сволочи! Моя война еще не кончена, и я всех вас отдеру, чумазое отродье...

Флаг поднят. Капралы возвратились на свои места по обе стороны мачты, а рожок висит на бедре у Шимеле-связиста. Теперь в очерченный квадрат входит военный раввин, становится рядом с полковником и читает список погибших однополчан — только они останутся здесь назавтра к утру под комьями серой земли. Эх, округ Романья, лежащий в развалинах, только мы прибыли, а уже уезжаем. Эх, полноводная Эмилия — окопы в бывших оросительных каналах; летящие с тихим свистом снаряды; фляжки с "вино-Бьянко"; кровати и шкафы, обращенные нами в дым; курицы с нейтральной полосы. И это почти все. Мы стояли напротив врага, а не видели его ни разу. Стреляли по пустым

полям. А эти поля стреляли по нам. Как же нам забыть, что этой войны уже нет, и час расплаты никогда не повторится? Мы вернемся, а на наших одеждах не будет пятен крови, наши руки не выполнят завета. Мы, мстители за убитых братьев.

Голос раввина силился добраться до всех концов шеренги, каждое слово произносилось и пелось, как положено. "Господь всемилостивый". "Быстрее орлов, сильнее львов они были". Но вдруг — мягкая мелодия дробится, слова обретают плоть, выстраиваются напротив нас, восставая против чарующей гармонии. "И сказано: Ибо Он взыскивает за кровопролития, помнит их, не забывает вопля угнетенных. И сказано: совершит суд над инородцами, наполняя трупами, сокрушая голову земле обширной..."

Тихим голосом закончил раввин последний стих, почти как мой отец в первый Новый Год во время войны. И сразу же вышел из очерченного мелом квадрата. Полковник Гриффит остался там в одиночестве. Он отвел руки за спину, сжимая концы черного стека, и приступил прямо к делу, четко выговаривая каждое слово:

— Когда мне было приказано подготовить этот полк к войне, я знал о вас очень мало. Сегодня я благодарю свою судьбу за то, что она удостоила меня такой чести. На полях этой войны сражались части, более подготовленные, находившиеся на фронте более долгий срок, их потери были неизмеримо больше ваших. Но я сомневаюсь, найдется ли во всей армии полк, который так жаждал боя, как вы. За то время, что я был командиром этого полка, я убедился в том, что война может быть возвышенным моментом в жизни настоящего человека. Благодаря вам я узнал, что право сражаться, умирать в бою и убивать в бою — право, которого была лишена большая часть вашего народа, —

является иногда важнейшей из человеческих свобод. Горько, что нам не дано сделать большего, но в те немногие недели, которые мы провели на фронте, я чувствовал себя счастливым, и если такое чувство может испытывать человек, посылающий других убивать и умирать, это значит, что с вашей помощью я понял, в чем смысл этой войны: — вернуть человеческое подобие друг другу, самому себе. И второе: с рассветом вы окажетесь на пути к новому положению, которое станет для ваших идеалов тяжелым и очень сложным испытанием. Вам придется доказывать силу морали людям, которые убивали мораль. Товарищи по оружию... — начал он фразу, уже готовую слететь с его языка, но вдруг замолчал. Он вытянулся по стойке "смирно", сунул свой черный стек под мышку и, улыбаясь, закончил: "Я наговорил больше, чем следовало. Да поможет вам Бог. Спасибо за все. Шалом".

Полковник Гриффит повернулся, отдал честь знамени, кивнул майору Каплану и двинулся широким шагом в сторону штаба полка. Это было отклонением от церемониальных правил. Казалось, полковник нарушил распорядок под наплывом чувств. На самом деле все было иначе. Майор Каплан нетвердым шагом вошел в белый квадрат, лениво рывкнул: "внимание" и отвернулся. Капрал Маковер, член совета полка, один из поднимавших знамя, тоже приблизился к очерченной площадке, достал из кармана брюк лист бумаги и, что-то пробубнив, начал читать громким голосом, с логическими ударениями, как хороший еврейский учитель, "заповеди еврейскому солдату на германской земле":

Помни о шести миллионах убитых братьев!

Передай грядущим поколениям ненависть к убийцам твоего народа.

Помни, что ты посланник борющегося народа!

Помни: войско в нацистской Германии — это еврейская оккупационная армия.

Помни: само наше появление на немецкой земле под собственным знаменем, с собственным значком — это месть!

Помни: месть за кровь — это общее дело, всякий безответственный поступок принесет вред общему делу.

Еврей — гордись своим народом и знаменем!

Не роняй своего достоинства — не общайся с ними!

Не обращай к ним, не входи в тень их жилищ!

Да будет запрет на них: на них, и на жен их, и на детей их, и на их имущество, на все, что есть у них — запрет навеки!

Помни: твоя задача — спасение евреев, отправка их на освобожденную родину.

Твой долг — преданность, верность и любовь к спасшимся из руин, выжившим в лагерях.

От заповеди к заповеди его голос тускнел, точно ржавел, так что трудно было расслышать, но тут он оторвал голову от бумаги, прокашлялся и затянул с поэтическим распевом, голосом, сотрясшим все собрание:

— Проклят тот, кто не вспомнит всего зла, причиненного нам!

Кровь кипит в наших жилах. Все разом приходит в движение — вооруженные отряды, машины, стоявшие у нас за спиной, распахнувшийся флаг, дерзкие слова, чувство, которое охватывает нас целиком, не то, что двусмысленная фраза, которой полковник закончил свою речь. Мораль, а?! Мстить, испытывая отвращение к негодяю, — ненависть навеки! Так представляли мы себе этот миг.

Капрал Маковер умолк и шагнул назад. Майор Каплан вернул управление сбором безымянному капитану

и покинул строй. Этот капитан распустил офицеров во-
свояси и дожидался старшего сержанта Мак-Грегора,
который снова пересек плац, вытянулся перед адью-
тантом, принял сбор, стукнул каблуками, вытянув еще
чуть выше свое тощее тело, и проревел "разойтись" —
свою последнюю команду. Он пошел добровольцем в
британскую армию через год после окончания Первой
мировой войны, когда ему только-только исполнилось
шестнадцать лет, а завтра он отправляется домой —
в Шотландию; мы же, едва лишь забрезжит свет, будем
на пути в Германию.

2

Пока мы подготавливали снаряжение, записывали лич-
ные вещи в рюкзаки, два ранца и патронташ у каждо-
го, сворачивали палатки и готовили машины в долгий
путь — поблекли края небосвода. В полку все еще ца-
рила суматоха, под котлами с чаем гудели примусы, а
их горелки шумели, словно выхлопные трубы мото-
циклов связи. Мы отправились спать — кому сколько
удастся — в пустые неприкрытые канавки. Только я
успел вытянуть ноги и прикрыть лицо вязаной шапоч-
кой, как на нас обрушились утренние благословения
старшего сержанта Изаксона: "Подымайсь, сволочь!"
Не успев продрать глаза, мы вскочили, оставив позади
изрытую канавками площадку, как это каждое утро
делали наши предки в пустыне, достали из сумок кру-
жки и встали в очередь за чаем-с-хлебом-с-вареньем.
Между тем погасли последние звезды, погасли автомо-
бильные фары, влажный туман забирался к нам под
кожу. Мы влезли в машины, друг на друга, втиснули
ноги в щели между грудями рюкзаков, ранцев и вин-
товок, снова натянули вязаные шапочки до подбород-

ков, пытаясь втиснуть еще кусочек ночи в день, который уже настал — пока стоим.

Еще не едем. Скачут мотоциклы, носятся джипы, трясутся грузовики, а полк спит на старом месте. Тот, кто знает все, знает, что колонна уже тронулась, просто нам досталось место в хвосте. Да не все ли равно? Главное, поспать дадут, полежать и помолчать. Пока не припечет.

И даже когда из-под шапочек мы услышали, что наш водитель жмет газ, передвигает переключатель скоростей и рывком трогает с места, так что машина трясется вовсю, — никто не шелохнулся. К тряске мы привыкли. Едет машина? — пусть едет. Вдруг остановилась, скрипнув колесами? — пусть постоит. Вся рота покачивается в полудреме.

Тепло — штука хорошая только тогда, когда над всем миром еще висит утренний туман, но вот уже ни ватник, ни шерстяная шапка не помогают заснуть. Жарко, все чешется, зудит. Мы расчехляемся и продираем глаза. Жаркий день и облака пыли. Горы затерялись вдаль, и Болонья вместе с ними. Зеленые просторы — не охватишь глазом. Сворачиваем с шоссе на временные дороги и тащимся по временным мостам. Медленно-медленно, сквозь горькую пыль. Делаем тридцать километров в час, двадцать километров; едем пятьдесят минут, десять — отдыхаем. Попиваем чаек. Проезжаем еще немного, и вот вся колонна вытянулась вдоль широкого поля. Военная полиция указывает каждой роте ее участок, машины останавливаются, и пока мы выскакиваем, нас опережает полевая кухня, банки с мясом в котлах с кипятком, закаменевшие сухари, вся организационная шумиха привала. Но только успевает "хлеб-с-мясом" добраться до наших желудков — обедки плавают в мусорной яме — как войско уже снова готово в поход. Потихонечку, полегонечку.

Снова погружаемся в пыль, из нее выезжаем на гигантский понтонный мост, натянутый через По, в стороне от перебитых костей настоящего моста. И дальше, на север, по бесконечной равнине. Может, это нам только кажется, но снова разрушения совсем не те, что на юге. Стоят себе домики на холмах. Даже мосты целы. Долгий летний день клонится к вечеру, в нос ударяет морской запах. Кто-то кричит: "Венеция!", и издалека, как нам кажется, видны верхушки башен, как на рисованных открытках.

— Если мы здесь остановимся, — обращается Лэйзи к Боби, — сухой будет тот, кто не смоется в Венецию.

— Кажется, уже останавливаемся, — отвечает Боби, — мотай удочки!

Тут до нас доходит, что передняя часть колонны уже сошла с шоссе, люди расходятся по полю и ставят палатки. Мы тоже доползли, добрались до места, соскочили на поле, сырое, как после дождя, и собрались вбивать колышки. Мысль о Венеции занимает всех, но пока мы готовим себе ночлег, ночь спускается к нам собственной персоной.

— Я тебе увольнительную оформлю, — напоминает Боби Лэйзи, стоящему в подштанниках у входа в их палатку, готовому отправиться спать. — Давши слово, держись.

Даже Покер не сколачивает компании для игры. Вчера никто глаз не сомкнул, и завтра нас поднимут чуть свет. Завтра — рассуждали мы — завтра мы вступаем в Германию. Не в Германию, — поправляет Тамари, — в Австрию. Германия, Австрия, — замечает Бродский, — всех бы их один черт побрал.

Назавтра, до обеденного привала, мы уже выехали из прибрежной полосы. В воздухе запахло севером, хотя только за Удине начали подбираться к нам крутые склоны Альп. Мы сидели под брезентовым наве-

сом, глядя назад, на те края, которые мы уже проехали. Величие Альп — не наша забота, но кто может отгородиться от этих чудных, внезапно возникающих пейзажей? Не мы, жители палестинских равнин. Воздух поднимается над теплой мутой адриатического простора, пронизанного влагой, прозрачная голубизна высится над темным лесом, который ломится к нам отовсюду — от узких ущелий и до горных вершин, вливающихся в небо, словно развалины крепостей. Сосны теснятся одна к другой, налезая друг на дружку и еще чуть-чуть выскочат на шоссе, загороженное склоном горы. Но вдруг за поворотом отступили горы, лежавшие по правую сторону, распахнулись, как ворота — и внизу, в долине, заметались прозрачные воды по сверкающему скалистому ущелью, забегали, заплясали, заскользили по начищенным булыжникам, похожим на плиты недостроенной гигантской дороги. Обильные воды спешат забраться куда-нибудь в долину, а наша колонна тащится не спеша — и она, и шоссе, и сами горы, нагроможденные до небес. Снова сомкнулись хребты, как концы ножниц, навалившись на обочины шоссе, пробивающего себе дорогу наверх. Высокие сосны и покрывало тучной зелени заслоняют землю, и не видать ни выжженного солнцем поля, ни запыленных колючек. Только бесконечный лес. Вдоль шоссе тянется железнодорожное полотно, висят провода; то здесь, то там вывороченные рельсы, опрокинутые вагоны, погнутые столбы. Но воздух чист, роща благоухает — словно воплотились мамини рассказы о ее далеком детстве, словно это все в сказочной стране, как в кино. Кто бы мог поверить, что все это существует где-то по соседству? Но сейчас сам я здесь, во плоти, лицом к лицу.

Грандиозность и великолепие Альп — не наша забота, но эта идиллическая красота, как будто не от мира

сего, и как раз тогда, когда нам предстоит то, что предстоит, — такая красота имела отношение к делу. Медленно продвигалась наша колонна по высоким горам, одни выше других, как вдруг произошло нечто необъяснимое, какой-то кошмар. В противоположную сторону, на юг, начали спускаться военные машины — одна, три, пять, целая колонна. Сначала до нас не доходило, что это происходит на наших глазах, но вдруг кто-то закричал, удивленно или даже испуганно:

— Немцы! Это едет германская армия.

Мы вскочили со своих мест, бросившись глазеть на это невероятное зрелище: длинная колонна, грузовики, поменьше наших, выкрашенные в защитный цвет, мы в оливково-зеленый, а они — в песочный, офицеры в мундирах, в открытых фольксвагенах, связисты на мотоциклах с колясками, спокойным, уверенным строем, словно часть, переезжающая с фронта на фронт. Я точно помню: на секунду я забыл, что война кончилась, вскипел весь от ужаса, как будто мы по ошибке наткнулись в горах на засаду, как будто мы сейчас забрались в глубокий тыл противника, и теперь безнадежно окружены. Длилось это одно мгновение, верно, но впечатление было неотразимым, и вся идиллия разом разлетелась. Как это они здесь ездят, сами по себе, на своих машинах, таким вот строем, в таком образцовом порядке, несломленные духом? Куда ведут эти офицеры на фольксвагенах своих солдат, кто позволил мотоциклистам так свободно разъезжать взад и вперед? Что это была за война, если так выглядят побежденные? Ни крови, ни огня, ни плача. Немецкая колонна проходит бок о бок мимо нашей колонны, и все это тихо-мирно...

Я не уверен, что именно так выглядели наши тогдашние мысли. Сначала все были поражены. Кто-то тихо выругался. Другой послал им проклятие — во

весь голос. Но они продолжали и продолжали вылезать из-за гор. И тогда эти чувства хлестнули наружу.

— Курва сина! — заорал Бродский, стоявший в середине кузова на куче рюкзаков. — Да они смеются!

— Дайте-ка вмазать чем-нибудь по ним, по свиньям! — крикнул Покер, который, пихаясь, пробирався из дальнего конца кузова.

— Ну-ка, подвинься! — вякнул маленький Остерайхер.

— Пшел вон. Я должен раскроить там кому-нибудь череп, — возмутился Бродский и огляделся по сторонам, словно ища что-нибудь тяжелое. — Мать же их...!

— Так подвинься, — замялся Остерайхер. — Вот железка.

Покер повернулся к Остерайхеру тотчас же, без звука, толкнул его внутрь машины, пригнулся, раскидал несколько рюкзаков, лежавших у задней двери, а когда выпрямился, в его руке был железный крюк. Он подполз к двери, наполовину высунувшись из машины, держась левой рукой за каркас навеса, стоял и ждал. Мы затихли, догадываясь, каковы его намерения. Появилась очередная немецкая машина, медленно проехала мимо нас, оказавшись, наконец, к нам задом. Покер взмахнул рукой и круговым движением метнул крюк в открытое пространство, набитое людьми. Резкий крик разлетелся по склонам гор, и в ту же минуту вся наша машина была охвачена дикой радостью. Одинокому возгласу, раздававшемуся из машины, затерявшейся за нашими грузовиками, ответила вся рота. Мы пустились в лихорадочные поиски чего-нибудь острого, какого-нибудь убийственного предмета. Но что можно было найти в кузове, груженном рюкзаками и сумками?

— Дайте же что-нибудь, — вопил Покер, — еще одной сволочи череп раскрою!

— У меня есть кое-что, — вскопчил Гершлер, подхватив свою сумку. Он поспешно расстегивал ремешки. — Одну секундочку.

— Живей! — ударил Покер по брезенту. — Они утекают, как сквозь пальцы.

— Есть! Дайте-ка пройти... — Из своего угла неожиданно поднялся Боби и пополз — по коленям, по сверткам — пробивая себе дорогу вглубь грузовика. Там были сложены палатки и ящики с провиантом. Боби недолго повозился и извлек один ящичек. — Лэйзи, дай-ка мне штык!

— Капрал Майнц, что вы делаете?

Это был Тамари, о присутствии которого мы начисто забыли. Если уж он обращается к Боби так официально, значит, очень недоволен тем, что задумал Боби. Но Лэйзи, который тоже понял, в чем дело, уже вытащил из-за пояса немецкий штык, снятый с убитого во время известной засады, которую устроило бобино отделение, и швырнул ему.

— Это не метод, Боби... а кроме того, что ты скажешь майору? Ты ведь отвечаешь за провиант.

Боби не ответил, только крепче сжал губы, разрезал штыком проволоку, которой был обмотан ящик, вставил острие между досками крышки и надломил их, поддерживаемый ревом всего грузовика, а больше всех — криками Покера:

— Каждой секунды жалко. Они сматываются, сволочь!

— Возьми пока вот это, — сказал Гершлер. Мы уже и забыли, что он тоже копается в своей сумке. Я сидел между ним и местом, где стоял Покер; он протянул мне статуэтку, которую хранил, завернутой в носки. — Передай ему, Элиша.

Я зажал в руке тяжелую статуэтку, раза в два большую, чем граната, и разглядывал ее. Дешевая оловянная

ная копия "Моисея". Я замешкался, не решаясь передать статуэтку для броска.

— Ну давай уже! — орал Покер.

— Дай же ему, — сказал Гершлер.

Покер зажал статуэтку в кулаке, снова уцепился левой рукой за каркас, поджидая следующую машину.

— Не смейте, — уже не владел собой Тамари. — Ребята, как можно задевать беззащитных пленных? Мы же не...

В рычании целой роты потонул конец его фразы, а Покер в это время уже швырнул статуэтку в машину, проезжавшую мимо нас, и на крик, долетевший оттуда, наша рота ответила победными воплями. Ящик с провиантом уже тоже был открыт, и Боби извлекал блестящие банки с вареньем и маргарином. Бродский нашел на полу деревянный молоток и железный угольник.

Страсть учинить что-нибудь жестокое, вопреки всем правилам, охватила нас, как огонь сухие колючки. Чтобы помнили, что мы прошли мимо них, а когда проходят солдаты из Палестины, то они должны замирать от страха. Ведь они знают — кто мы. На бортах наших машин — желтые магендавиды на бело-голубом фоне, над кабинами — большие знамена (откуда взялись все эти знамена?), на стенках и брезенте написано по немецки: "Ди юден комен!"¹, "Кайн райх, кайн фольк, кайн фюрер!"² и тому подобное. Так чтоб было содержание у этих лозунгов и знамен!

- Дай! — протянул Покер руку за консервами.

— Подожди! — ответил Лэйзи. У него огромная ладонь, и когда Боби бросил ему банку, она потерялась между его пальцами. Не то, что Покер: орет на

¹ Евреи идут! (нем.).

² Ни рейха, ни народа, ни фюрера! (нем.).

весь свет. Он стоял у заднего борта, а руки его уходили куда-то вверх. Когда появилась машина, Лэйзи резко выстрелил по прямой, и нам казалось, что мы слышим, как она вдарила.

— Гол! — заорал Покер. — Еще один.

Лэйзи стрелял, Покер провозглашал попадания, а мы все были охвачены одной страстью. Чтоб они не забыли, кого встретили по дороге.

— Да это не только мы, — сообщил Покер. — Поливают их всю дорогу!

Это всем стало ясно. Солдаты не могли прийти в себя. Они теснились в дальних углах кузовов, возмущенные голоса долетали до наших ушей. Всю дорогу там что-то происходит.

Вдруг наш грузовик остановился, и нас отбросило внутрь. Покер сообщил, что остановилась вся колонна.

— Камни, — решил Бродский, и уже соскочил вместе с Лэйзи на обочину шоссе — собирать камни, годные для броска. Скорее, пока нас не увезли отсюда.

Колонна не двигалась. Британские офицеры и сержанты — конвой колонны пленных — бегали по шоссе и махали кулаками в нашу сторону. Они скрылись и вернулись в сопровождении нашего майора Сандерса, лейтенанта Фройнд-Поцовского и старшего сержанта Изаксона. Фройнд-Поцовский произнес короткую речь, обратив наше внимание на ту часть Женевской Конвенции, в которой говорится об отношении к военнопленным. Плевали мы на это. Мы настаиваем на немецком толковании Женевской Конвенции. Когда офицеры направились к следующей роте, Бродский и Лэйзи снова соскочили, продолжая собирать камни.

Но машина оставалась на том же месте, в то время как колонна с пленными продолжала спускаться к югу. Англичане и наши офицеры поглядывали на нас, а мы только ждали удобного момента. Покер обежал

другие машины и вернулся с информацией, предназначенной для раздраженного Тамари:

— Товарищ Тамари. В немцев были брошены тяжелые предметы. Железяки. Крюки. Кирка. Тяжелые предметы...

Проехал мерседес с немецкими офицерами, а за ним — несколько джипов военной полиции. На том их колонна кончалась. Мы оставались одни в горах. Ненависть как вспыхнула, так и угасла, растянувшись вдоль сотни автомашин, змеи, голова которой стояла уже по ту сторону границы. Грузовик дернулся с места. Поездка продолжается. Все расселись по своим местам. Боби вдруг помрачнел и замкнулся в себе, а Лэйзи положил вытянутые ноги на рюкзаки, и лицо его приняло то дремлющее, туповатое выражение, за которое его и прозвали "Лэйзи". Когда он не охвачен какой-нибудь деятельностью — не бросает гранаты, не играет в баскетбол, не борется с кем-нибудь для развлечения — он закрывает глаза и спит. Насколько же великолепны они были вместе — Боби и Лэйзи — теперь каждый из них сам по себе, и оба не принимают участия в споре, который затеял Тамари.

Он был возмущен до предела. Как же так можно, — он говорил, а его черные глаза сверкали, — как можно! Что же происходит, товарищи? Задевать просто так, с целью дикарского развлечения, людей, о которых мы ничего не знаем, военнопленных, у которых отнято оружие... это ужасно, вот что я вам скажу...

— Кончааай, — ответили ему долгим свистом. Но он не сдавался и не кончал:

— Не забывайте, что мы прибыли с определенной миссией.

— Это тоже имеет отношение к нашей миссии.

— Англичане не станут молчать, если мы...

— Клали мы на англичан.

— Товарищи, мы зависим от англичан. Если мы будем так распускаться в Германии...

— И еще как.

— Они уберут нас отсюда, и что мы тогда будем делать?

— Надоел ты нам, Тамари, со своими гешефтами.

— Еврейский народ...

— Отстань. Не нужно только в штаны делать от того, что мы раскроили несколько черепов. Раскроим еще.

— Это легкомыслие. Вы не понимаете, что возложено на нас историей.

— Сунь ты ее в... Хватит, Тамари, у меня голова из-за тебя болит.

Это был Покер. Он ненавидел Тамари и набрасывался на него по любому поводу. А сейчас он чувствовал, что говорит от имени всех, король на час:

— Запиши это себе в дневник. Напиши там, что мы, убийцы, напали на несчастных немцев... это ужасно! Что будут думать о нас в Германии! Какую молодежь воспитали в Палестине, какие-то дикари...

— Покер, заткнись-ка.

Это был Боби. Враз всех утихомирил. Черт его знает, в чем сила Боби, пишущего нумерованные письма девчонке из молодежной алии, этого обладателя румяных щек и холодных немецких глаз. Боби можно любить. Он сложил руки на груди и опустил голову. Мы замолчали, потому что эта вспышка была не сродни той, которую вызвал в нас вид проезжающего врага. День начал растворяться в разрывающем сердце пейзаже, все мы были оторваны один от другого. Машина скользила по крутому склону, а позади открывалась обширная равнина. Высокие горы расступились, между ними виднелись травяные подушечки, холмы были устланы зелеными покрывалами, повсюду бежали

ручьи. А там, вдалеке, на вершинах, поднятых, как мечи, из глубины леса, виднелись клочки снега, остатки зимы. Там сияет солнце, а долина уже заплатана черными тенями. Вот вылезает подножье горы, прямо на дорогу; к нему лепятся избушки из черных бревен. И арочный мост, под которым — просто так — шумит вода. Еще и еще дома — нижняя половина покрыта белой штукатуркой, а сверху — острая шапка из черного дерева, вроде смоленной бумаги, которой обит наш барак. Водосток тянется по деревянному желобу от подножия горы к мельничному колесу. И уже выстраиваются дома в улицу города. Даже мосты "Бейли", даже кучки разрушенных домов не нарушают ясной, сказочной симметрии. В дверях домов стоят дети и нерешительно машут ручками. Льяные волосы. Глаза, как васильки. Неужели это уже они? Женщина что-то кричит во дворе, и мы не знаем — на каком языке. О, Господи, да почему же здесь все так прекрасно!

— Смотрите на нас, — кричал маленький Остерайхер, бегая вдоль заднего борта грузовика. — Как они себе нас представляют.

На наружной стене двухэтажного дома, над входом в лавку прицеплен цветной плакат, несколько поблекший: горбатый еврей, в капоте и с жидкой бородой, тащит за собой на ремешке дядю Сэма, согнувшегося под тяжестью мешка с долларами.

— Так это правда, они в самом деле так нас рисовали? — процедил Лэйзи, распахнув щелочки сонных глаз.

— А ты что думал? — заржал Остерайхер. — Сам вот погляди.

И что мы в самом деле думали, — кольнула меня мысль, но прежде чем я успел открыть рот, всех нас качнуло — машина неожиданно затормозила.

Машина стояла в городке, и мы поспешили выскочить из нее, размять кости, разнюхать, что это за место и что здесь делается. Осмотрели видимый участок улицы, туда и сюда, спустились к мелкому ручью, лежавшему за первым рядом домов, и хлебали холодную альпийскую воду. Возвращаясь к шоссе, мы пошли другой дорогой. Сделав небольшой крюк, мы обнаружили дом, отличавшийся по своему стилю от других домов, — сложенный из маленьких кирпичей, с плоской крышей и большими окнами. Мы обошли его и подошли к открытой двери. Войдя, мы увидели школьный класс — парты, вешалки, детские рисунки по стенам. Испорченная доска. Может быть, здесь уже начались летние каникулы? Или оккупационные власти распустили классы? Я покопался в пустых партах. Только в одной нашел книгу. Написано по-немецки. Боби читает и расшифровывает. Книга для чтения во втором классе. Отличная вошенная бумага, на каждой странице всего несколько слов, большие поля, крупные буквы, стишки, рисунки, строгие фотографии. Сам того не желая, я думаю о книге в понятиях Ноги, оцениваю ее как педагог. Более того — поскольку я не могу обрисовать себе все, что происходит на наших глазах в последние недели, появляется книга и укрепляет во мне то, что шептал голос моего детства все это время: вот, окажется, что произошла какая-то страшная ошибка, и, следовательно, человек — это не более, чем человек, не ангел, но и не дьявол. Прекрасная книга; ее авторы, редакторы и издатели относились с уважением к ребенку, который возьмет эту книгу в руки, подстраивались под его представления, пытаясь сделать чтение приятным, старались дать в правильной пропорции абстрактные понятия и конкретные рисунки, запас

знаний и воспитание чувств. Прекрасная книга, размышляю я, листая. Вот он, фюрер, фотография, предполагаемая здесь изначально. Он, как и вся книга, очень мирный, с непокрытой головой, двойным подбородком, сияющее лицо обращено к девочке в сарафане, — золотой шар ее головки трясется от радостного смеха. В нем я тоже нахожу что-то человеческое, а если бы он кивнул мне вот так, я бы не удержался от соблазна... нет, я бы увидел, что в его глазах отражается знакомый мне мир. В этом весь ужас: нет "жажды крови в глазах". Истина не "плавает, как масло на поверхности воды". Как я могу ненавидеть этот класс, эту превосходную книгу, все то, чего я не понимаю? В этом весь ужас. Мы уже среди фольксдойче; и такого сказочного вечера, какой предстал перед нами, когда мы вышли из школы, я просто в жизни не видел.

Машина стояла на шоссе; никто не знал, едем ли мы или остаемся здесь на ночлег. Мы не ужинали; тьма покрыла вершины гор, а все еще ничего не ясно. Вдруг прибежал Фройнд-Поцовский, распорядился взять личные вещи и приготовиться ко сну. Поужинаем, когда еда будет готова.

— А утром едем дальше?

— В киббуце "спрашивается вопрос", а в армии дается приказ, — вскипел Фройнд-Поцовский и ушел.

Почти все обитатели нашего грузовика разместились в классе. Мы употребили все одеяла, сооружая лежанки. Несколько недель не спали уже на ровной поверхности, в комнате, в которой можно встать во весь рост. Выспались мы изрядно, никто нас не донимал. Ни слова. Только когда мы сами забеспокоились, — может быть, нас не нашли — встали и вышли на улицу. Колонна стоит на прежнем месте. Никто не имеет представления о том, что же будет дальше.

Как всегда, поползли слухи. Что-то разладилось с маршрутом. Просто так не останавливаются на полдороге. Похоже, в пути нас догнал новый приказ: остановиться до особого распоряжения. Нападение на пленных — утверждали слухи. А может быть, — возражали другие, — нам просто головы морочили, просто посмеялись над нами со всеми этими речами и клятвами под знаменем.

Разве не выступал полковник на сборе? Ясно ведь говорил об испытаниях, которые нам предстоят.

Это доказывает только, что он английский ханжа и сам распускает эти слухи. Не смылся ли он из полка? Какое ему теперь до этого дело?

Если так, то зачем же тащили нас до самой границы?

Любители слухов, политики и стратеги улаживали в течение дня все эти противоречия. Мы послушали Гилеади, выводившего происходящее из своих постоянных претензий к англичанам:

— Этот район находится на границе трех государств, он является территорией, оспариваемой Италией, Австрией и Югославией. Если вокруг Триеста разразится вооруженный конфликт, то он доберется и досюда. В этом случае мы будем той силой, с помощью которой Британия будет защищать итальянские интересы от югославов. Таким образом нам представляется возможность начать третью мировую войну. За Альбион — костями ляжем!...

Гилеади не был распространителем слухов. Конечно, нет. Он утверждал только, что даже если все они высосаны из пальца, это будет лишним доказательством известному армейскому феномену: упорный слух ходит из части в часть, иногда из страны в страну, устраняя по пути все другие слухи, и в конце концов завоевывает сердца. Он становится фактом, еще не будучи им, до того, как командование приняло решение о

том, что с такой уверенностью утверждают слухи. Вот увидите, — смеялся Гилеади, — мы остаемся здесь.

Факт. Под вечер пришел старший сержант Изаксон, созывая всех на сбор. Мы выстроились вдоль шоссе, а минуту спустя появился майор Сандерс и командиры рот. Майор вообще уклонился от вопроса о Германии и, как ни в чем не бывало, коротко сообщил, что наше подразделение расположится здесь. Сержанты разведут роты по домам, которые уже выделены для них. Завтра утром нам будет сообщен новый распорядок дня, согласно которому будет протекать жизнь нашей части. "И хотелось бы мне закончить коротеньким разъяснением: хорошенько намотайте себе на ус, — сказал майор Сандерс. — Война еще не кончилась. Тяжелые бои ведутся сейчас на дальневосточном фронте. Мирное время еще не наступило, и мы все еще остаемся солдатами на службе Его Величества. Королевские законы распространяются сейчас на нас в той же мере, что и раньше, и в любом случае, этот полк будет вести себя как хорошо дисциплинированное военное подразделение. Если мы будем помнить это — сможем извлечь пользу и насладиться нашим пребыванием здесь, сколько бы оно ни продлилось. Это все. Старший сержант, принимайте командование ротой".

И только-то.

Полк рассеялся по всему городку и окрестностям. Наша рота разместилась в районе вокзала, часть в домах, покинутых обитателями, а наше отделение — на первом этаже дома железнодорожников. Не успели мы сообразить — что с нами сделали, как наш день уже был заполнен тыловой рутиной — построения, муштра, уборка, наведение блеска в комнатах, зарядка, боевые упражнения. День наш был переполнен, пейзаж сводил с ума, письма из дома тянули к мирной жизни и к личным делам. В немногие свободные часы мы лазили по

горам, ходили в кино, бегали в Венецию, готовили себя к будущему, к гражданской жизни, которая вдруг показалась такой близкой, такой пугающей, что все начали только об этом и говорить, может быть для того, чтобы спрятаться от мысли об этой унижительной остановке, прямо на границе.

4 Я, НАПРИМЕР

В те три дня, с того часа, когда на вечере памяти погибших встал капрал Маковер и прочел "заповеди еврейскому солдату", и до остановки на границе я находился в таком приподнятом состоянии, какого не знал со времени юношеских грез, до того как постиг на собственной шкуре скупичу полковой жизни. Снова я не просто в плену у воображения, как в ту зимнюю ночь, когда я давал клятву "Хагане"; как во время той свадьбы на крыше, когда я набросился на Пинека; как тогда, когда я не смог преодолеть запреты, наложенные с детства, — разрываясь между приправленной перцем реальной жизнью завода, подсвеченной домашними делами, и радужными грезами, — и смылся в армию. На сей раз мечта обернулась реальностью. Я ведь один из рыцарей еврейского легиона чести, принимающий участие в первом за всю историю магендавидовом походе...

И, как это всегда у меня, разом свалился с высот на землю. И как всегда, когда отдаляются грезы — тускнеет мой мир. Все как сговорилось против меня: торчание на границе, измена Ноги, тревожные письма из дома, страх перед мирной жизнью.

Меня окончательно приписали ко второму батальону, зачислив в одно из отделений. Я оказался в одной комнате с Тамари, маленьким Остерайхером, Поке-

ром, Лэйзи, а также с Зоненшейном и двумя всем в батальоне надоевшими созданиями: Аруси, которого все звали "Асури", и Фляйшчиком, к которому даже старший сержант не обращался иначе, как "Штикфляйш". Трудно себе представить более странный подбор, чем эти восьмеро. Покер превратил комнату в ротный карточный клуб. Штикфляйш был скряга и не играл ни во что, кроме "Реми", но и он, и Асури поддерживали Покера только для того, чтобы насолить Тамари. Они хотели бы изводить и Зоненшейна, но это даже Асури было не под силу.

Прежде, чем пойти в армию, Аруси был подмастерьем в парикмахерской, а в армии он — сам себе парикмахер. С большой любовью он заботился о своей мягкой шевелюре, расчесанной посреди лба и спадающей жирными волнами на уши и затылок; моет, мажет ее бриллиантином до блеска вороньего крыла, надевает на нее сетку после мытья, подолгу расчесывает — продолжая в течение всего этого времени перечислять успехи минувшей ночи и удовольствия, которые ожидают его в следующую ночь. Он не утаивает от нас ни единой подробности, описывая свои похождения, и посвящает нас в тайны тактики, которую он применяет ко всякой женщине. Вот, например, эта, которая берет наши рубахи и белье в стирку, — она живет здесь неподалеку, внизу, на склоне. Ее мужик служил в итальянской армии и до сих пор не вернулся. Ненасытная баба, как лошадь. А у меня — пишит от удовольствия. У меня она кончает. А вчера я ее так с ума сводил, что ревела. В жизни, говорит, у меня такого не было. Посмотри, Тамари, смотри, что она мне наделала, бешеная. — Асури задирает рубашку, подходит к Тамари, сидящему на кровати и пишущему, подмигивая всем остальным. Погляди, Тамари, как она мне зубы вонзила — внизу, на животе. Глянь, Тамари, глянь и скажи

мне: что, в вашем киббуце бабы тоже делают вам такие штучки? Подыми голову, Тамари, поучись у Аруси, как доводят девочку до белого каления... Скажи ему, Лэйзи, ты тоже вроде как из киббуца... так пусть поучится...

Тамари приходит в смятение, встает и собирает манатки. Аруси и четверка, играющая между кроватями Покера и Штикфляйша, корчатся от смеха. Лэйзи и Остерайхер тоже смеются. Тамари выскакивает на улицу.

Другое дело — Зоненшейн, которого Аруси тоже пытался вывести из себя, — потому что к тому все относится с почтением и рассказывают, что он был известным журналистом в Чехословакии или что-то вроде того. Аруси быстро отчаялся, и нет в этом ничего удивительного. Я видел Зоненшейна и тогда, когда был приписан к батальону санитаром, но только теперь, когда поселился с ним в одной комнате, я привязался к этой удивительной личности. Он был моложе Тамари, ему было не больше сорока лет, то есть вдвое старше меня, и мне он тоже казался одним из стариков. Он курил трубку, и уже хотя бы поэтому он выглядел в моих глазах незаурядным человеком. Короткая трубка шла к его тяжелой голове, которая, неизвестно почему, напоминала мне голову русского актера. Густые волосы зачесаны назад, но слипаясь в пучки, тянутся вниз, как куски ржавой проволоки. Тоже и брови, под которыми рассчитываешь найти черные, театральные глаза. А глаза-то у него как раз спокойные, даже отчасти безжизненные, как голубенькие ледышки. Это на первый взгляд. Спустя некоторое время я самому себе удивлялся, как это я сразу не заметил, сколько ума излучают эти красивые глаза. Он часто получал из Англии газеты и книги и все свободное время лежал на кровати, курил и читал. Но никогда не выглядел слишком занятым и не сердился, когда его отрывали

от чтения. Наоборот, он умел завязать беседу с каждым из его соседей по комнате, даже с Штикфляйшем, вся энергия которого уходила на утоление постоянного голода, даже с Асури. Он был наделен редким даром — поднимать собеседника до своего уровня, не выказывая превосходства над ним. С Асури он разговаривал о женщинах, с Штикфляйшем — о всяческой еде, но я гордился тем, что ко мне он испытывал особую симпатию. Он рассказывал мне о довоенной Праге, о своих любимых книгах, а когда я описал ему, как по ночам, после работы, я засиживался за учебой и читал английские романы со словарем, он посоветовал мне просмотреть его книги и газеты, помогая в выборе тем и авторов. В это время в полку уже стали организовывать всякие курсы, отчасти для подготовки к гражданской жизни, отчасти, чтобы отвлечь внимание, преодолеть ту подавленность, которая всех нас охватила. Зоненшейн не отставал от меня, пока я не пообещал ему, что тоже начну учиться.

Тесные отношения с Зоненшейном в те недели были событием, которое я смог оценить только спустя много лет. Я был охвачен приступом апатии, самым глубоким и продолжительным из всех, испытанных мною до тех пор. Таким уж я был: когда мои мечты или идеалы разбивались при столкновении с реальностью, я падал на кровать — лицом в подушку, спиной ко всему миру — и дремал. Не бесился, не ревел, не брыкался, просто лежал без движения, не разговаривая, не притрагиваясь к еде, витая в черном тумане, в котором у мыслей нет ни начала, ни конца, все они равноценны, то есть — все до одной бессмысленны, и совершенно безразлично, исчезли ли они так же, как и пришли, или повторяются вновь тысячу раз в одном и том же круговороте. Но этот последний приступ был тяжелее предыдущих, потому что продолжался, за исключением

дней, проведенных в поездке, с самого моего возвращения из больницы, с тех пор когда я получил те два письма, содержание которых я истолковывал, как вполне логичный конец нашей с Ногой любви.

Такого конца следовало ожидать с самой первой встречи, и я не прекращал предостерегать себя от этого. Можно даже сказать, ничто так не омрачало наши отношения, как твердая моя уверенность в том, что наша связь непрочна в самой основе; в стремлении снова и снова подтверждать это на опыте я с болезненной радостью хватался за всякое неловкое положение и, желая доказать, что трещина — это трещина, страстно цеплялся за нее, так что даже если с самого начала там ничего не было, то потом возникало. Нога это так изображала. Я не могу отделаться от мысли, — говорила она, — что раз уж я студентка, а ты всего-навсего защитник родины, раз уж я дочь чуть-выше-среднего чиновника, а ты всего-навсего сын строителя-новой-деревни, значит культурная и общественная пропасть разделяет нас навеки, как леди Чатерлей и лесника...

— Не изображай это в таком литературном виде. Совсем не потому, что я защитник родины. Наоборот: я защитник родины потому, что так или иначе не стал бы учиться.

— Ну, конечно. Ты же пошел добровольцем.

— Потому что мне завод надоел. Потому что из поселка хотел смыться. Вот и все.

— Ничего тебе не поможет. У тебя прекрасная душа, только немножко покореженная.

— Немножко!

— Как же я люблю тебя. Мрачный дух в прекрасном теле.

— В выглаженной форме.

— За что ты меня так презираешь?

— Если бы мы встретились не в "Меноре", а у нас

на заводе, был бы я в синем комбинезоне...

— Ну так что было бы? Мальчик ты, Элиша... мальчишка-мальчишка-мальчишка.

— Почему мальчик?

— Потому что ничего ты не понимаешь. Какое мне дело до твоего синего комбинезона? Как будто это важно? Захочешь — будешь учиться. Не захочешь — не будешь...

Я понимаю, что означают эти последние слова. Не захочешь — не будешь. То есть не так, как ты говоришь и убеждаешь меня все время, что я, мол, молод, и вся жизнь еще впереди, и когда демобилизуюсь — смогу начать все сначала, сдать экзамены, продолжать учиться. Зачем ты так говоришь: не захочешь — не будешь? Или ты не знаешь, что я хочу, я должен, только уверенности во мне нету, а с другой стороны — что если я не буду учиться, если вернусь домой, на завод, в поселок, то мы будем оторваны друг от друга? Или, может, я в самом деле докопался до сути этой простой, милой, великодушной вроде бы фразы, до твоего подлинного отношения ко мне и к моим способностям? Может быть — как раз из лучших побуждений — ты стараешься подготовить меня к наиболее вероятной, по твоему мнению, возможности, что я не буду учиться, не смогу спустя пять, шесть, а то и больше лет вернуться на школьную скамью, учить по двести стихов из Священного Писания, физику, тригонометрию, интегралы и дифференциалы, знать наизусть всего Ляховеера, Макбета...

Конечно, не смогу, конечно же. Только такой маньяк, как Гершлер, способен таскать с собой полрюкзака книжек, подпирать голову руками и учиться, учиться, вызубрить всего Бялика от "Птицы" до "Кому известен городок Лиштина". Но не я. Я ведь слишком хорошо знаю свое место под солнцем, откуда я пришел и

докуда сумею дойти — ровно до конца той цепочки, которая привязана к моей ноге. Только когда я лежу на кровати, уткнувшись головой в подушку, в черном тумане, — нету ни веревок, ни цепей.

Всего этого следовало ожидать с самого начала, и если бы я был настолько благоразумен, я должен был бы смыться в ту секунду, когда почувствовал, что поездка в Иерусалим — это не просто времяпровождение одного из вечеров недели, а скорее всего неделя — это ожидание одного вечера. Я не был благоразумен, я потерял голову из-за этой девчонки, которая была полной противоположностью всему тому, что я знал до сих пор. Я рос в бараке, и жизнь всей семьи протекала в одной комнате, нос к носу. Родители Ноги жили в старом каменном иерусалимском доме, с высокими темноватыми комнатами, черной мебелью, книгами, потертыми коврами. Старший брат Ноги работал охранником в Хайфе и учился в Технионе, а она жила одна в просторной комнате, где в каждом уголке чувствовалось прикосновение ее руки. Прошло много дней, прежде чем я посмел войти в этот дом, а свидания мы обычно назначали в одном из городских кафе. Когда она в первый раз привела меня к своим родителям, то я решил, что второй раз нога моя не переступит порога этого дома. У меня язык к небу прилип, и на все вопросы я отвечал сбивчиво и нечленораздельно. Не только ее отец, но и мама говорила на прекрасном богатом иврите, громким и властным голосом, с явной русской интонацией. Мне казалось, что она видит меня насквозь, и по ходу беседы убеждается в том, что я ее дочке не пара ("чудная девочка, отличница, такая же тонкая душа, как у ее отца"). Не нужно было и убеждать меня, я сам отлично понял, что не подхожу. И несмотря на все это, я продолжал ездить в Иерусалим. Я был не в силах отказаться от Ноги, которая дарила

мне свою мягкость, нежность и бесконечную терпимость. Я любил сидеть в ее комнате, молчать, следить за ее работой, за тем, как она рисует плакат, приводит в порядок свои коллекции, готовится к экзаменам; любил сидеть и слушать шелест сосен за закрытым окном, в молчании огромной квартиры; любил разглядывать ее быстрые, тонкие пальцы, сосредоточенное выражение ее умных глаз в часы работы; видеть, как загорается в них шаловливая искра во время моего рассказа о приключениях в лагере; любил раздражать ее потоком жалости к самому себе — чтобы услышать в конце концов ее теплый примиряющий голос:

— Мальчик ты, Элиша... мальчишка-мальчишка-мальчишка.

Я не был благодарен. Я любил Ногу. Не было у меня никого до нее, и после нее не будет такой девчонки. Она моя единственная победа, неожиданная, незаслуженная, честно сказать, в чем я и буду когда-нибудь уличен, и эта победа окажется среди тех грез, которые разбиваются, раньше или позже, "при столкновении с реальностью". Сознательно или бессознательно, я подгонял наши отношения к этой мерке.

Когда я вернулся из больницы и нашел эти два письма, а между строк — явные признаки того, что за время моего отсутствия что-то произошло: у тебя еще вся жизнь впереди и т. д. ... и кто знает, застанешь ли ты меня такой же, какой я была и т. д. ... — я ответил ей длинным письмом, очень мужским, — так, мол, и так, меня не удивляет, что она полна таких мыслей: оба мы меняемся, и я и она, и оба мы знаем, в чем именно меняемся: она будет учиться, пойдет работать, окажется среди людей, а поскольку она не такая уж и молодая (в отличие от меня, всегда молодого), она усомнится в целесообразности нашей переписки, не говоря уж о

том, что такое положение может продлиться очень долго, возможно, несколько лет, если оправдаются слухи о том, что мы будем в составе оккупационных войск в Германии или пошлют нас в бирманские джунгли. В самом деле, какой в этом смысл? Всем привет, всего хорошего. Спасибо тебе за те прекрасные дни, спасибо за письма. С дружескими чувствами...

И с тех пор я ждал письма, которое обратило бы в шутку все мои патетические излияния, опровергло бы все опасения, на которые я намекал, и утверждало бы вновь, со всей ясностью, что она не хотела сказать ничего иного, кроме того, что, быть может, я-то как раз больше не хочу ее, а вовсе не так, как это преломилось в моем больном воображении.

Я не получил письма. Ни перед отъездом, ни по прибытии на границу. Я не интересовался ничем, кроме писем. Сначала нарушилась почтовая связь из-за перехода из одного округа в другой, но когда все снова стали регулярно получать письма (а Боби, живущий в соседней комнате, с гордостью сообщил, что система нумерованных писем вновь доказала свои преимущества — ни одного не пропало) — я понял, что теперь все кончено. Я надоел ей, а теперь собственными руками предоставил повод для окончательного разрыва. Я, я сам.

Как будто все они сговорились теснить меня к исходной точке. Вдруг я получил письмо из дома: положение серьезное. Папина нога, которую он сломал, упав со строительных лесов, снова причиняет ему боли. Врачи не знают, что сказать. Может быть, это не перелом, а нервы. Мамины нервы тоже не в порядке. Читаем в газетах об ужасной катастрофе. От наших родственников мы не получали никаких известий; дал бы Бог, чтобы наши опасения не оправдались. Материальное положение тяжелое. Сестра Нехамма кончает в этом

году восьмилетку, хочет продолжать учебу в гимназии, но откуда взять деньги? Элиша, дорогой, все это причиняет нам с мамой душевные муки. Мы скучаем по тебе, беспокоимся за твое здоровье. Хватит, война кончилась победой, ты сделал все, что мог, а теперь возвращайся домой. Ковальский, сосед, рассказал нам, что его сын тоже демобилизуется по семейным обстоятельствам. Можно прислать врачебное свидетельство, что ты вынужден вернуться домой, Элиша. Мы могли бы достать такое свидетельство. Сделай это, Элиша. Мы в самом деле нуждаемся в тебе, и не столько потому, что с деньгами плохо, как из-за того, что скучаем по тебе. Пиши нам немедленно, и дай нам Бог, наконец, встретиться и повеселиться вместе.

Да, вокруг меня смыкается круг. На круги свои возвращается ветер. И теряется в воздухе неподвижном. Они уже считают, что мне пора возвращаться, и расставляют свои сети. Уже посовещались и все решили: надо взять Элишу в свои руки. У него всегда был кавардак в голове. Не может он усидеть на одном месте, и если не затащить его домой хитростью, неизвестно куда еще закатится и что из него выйдет. Вернется, снова займется делом, накопит немножко денег, нет, сначала поможет нам стать на ноги, найдет себе хорошую девушку... Эх, вот беда, робковат он немножко, надо ему найти хорошую девушку, но пусть уже вернется домой, а мы обо всем позаботимся...

Только не это, — морщусь я, словно клоун, — к исходной точке меня уже не вернуть. Не интересуют меня ваши хитрые приемчики. Никакие вздохи, никакие стоны не затянут меня домой. Я — сам по себе. Сам. Позади все отрезано, а раз так, то я свободный человек. Впервые я ничем не связан, ни от кого не завишу, никто со мной не сюсюкает, никто не любит, ничто меня не обязывает вести себя ни так, ни иначе. Я никому

не желаю и не обязан давать отчет. Я сам по себе, я доволен своим сладостным несчастьем, запросто могу встать и сделать все, что придет мне в голову, и плевать мне разом на все. Бродский-то прав — все, чего тебе надо, это потрахаться с девочкой, тогда голова будет ясной, а ноги легкими, и не будешь тогда глазеть на мир такими прекрасными глазами... Ох! Чего это я в самом деле — не мог войти вместе с Бродским? Я ведь хотел, хотел попробовать, впиться зубами в последний запрет, связывающий меня со страхом перед папиным "нет!" — я сейчас хочу, просто так, без сентиментальных сцен...

Когда до меня дошло это, уже вроде голова стала чище, а ноги — легче. Как просто! Я — сам по себе. Без ограничений, без клятв верности и вечной любви, без разбитых сердец. Сам по себе — как я всегда хотел быть, а теперь мне разом помогли обе стороны. Неожиданно я взмыл ввысь, от всех этих объятий, беспрепятственно паря, как царь своей вселенной. Кому нужны музеи, опера, евреи, Ренессанс? Вся эта эстетская поза, которую я нацепил на себя по собственной воле, как сминительную рубашку. Я здесь для того, чтобы стоять на голове, прыгать с крыши, поглядеть, можно ли просто так войти к женщине, как Бродский, как Асурси, выйти разок за пределы своего наивного детства, запуганного и до смерти скучного.

Когда я услышал от Аруси, что он мотает в Венецию на машине, которую ведет его товарищ, смывается с подделанной увольнительной, я спросил его, могу ли я присоединиться, и сразу переполнился новым чувством наслаждения, ранее неизвестным. Запросто, — ответил Аруси и ткнул меня большим пальцем между ребер: сходишь разок со мной, посмотришь, как они здесь набрасываются на таких черненьких, как ты и я.

— Запросто, — повторил я.

Не удалось нам назавтра съездить в Венецию, потому что наш батальон, за исключением одного отделения, перевели в другой городок, километров на двадцать южнее, для несения охраны и сопровождения поездов. Станный, смешанный район — не здесь и не там. Много партизан с красными галстуками, и неизвестно — какое они имеют отношение к титовской Югославии, за двумя перевалами отсюда. А, может быть наоборот — это загримированные "вервульфы". Поговаривают, что в этой области, где проживает много фольксдойче, находились самые крайние нацисты. Разумеется, сейчас все они выглядят как итальянцы и скрывают свое прошлое, но, — рассказывал нам сосед-кондуктор, итальянец, переведенный сюда с юга, — хорошо известно, кем они были месяц-два тому назад, известно, где мужья этих женщин, сыновья этих старух, отцы этих девчонок. Если не шляются по горам, если не вернулись потихоньку домой, одевшись в гражданское, так, что именно их видим мы теперь вокруг себя, — значит они в лагерях военнопленных.

Лица здешних жителей такие же, как лица людей во всем мире, и как мы ни старались, мы не могли обнаружить сатанинского отпечатка в жителях этих городков на склонах гор. Вот наш, например: над ним ползет темный лес к острой вершине, за выступы которой цепляются кучки облаков, а ниже городка, за мостом, бежит река, застегивая на "молнию" промежуток между этой и противоположной горой. На городской площади два кафе, одно против другого, и из них видно все — магистраль, два переулочка, проходящих в сумерках девиц. Они не похожи на южных девчонок, смуглых, с глазами, как черные маслины, средиземноморскими или даже еврейскими, а скорее —

на шикс из романов, из стихов, из кино — светлокожих, росших в тени, с льняными волосами, как принято писать, мясистых, грудастых, с румянцем на щеках, на тех баб, которые лужают семечки, жмутся с парнями в темных амбарах, тех инородных женщин, которые наводили страх на многих еврейских праведников... О, это было бестолковое и возмутительное существование. Мы знаем из книг, из шестилетнего военного опыта, от наших родственников, которых уже просто нет в живых, что Европа залита кровью. Здесь же — здесь пастораль.

А с другой стороны — поезд.

Оба наших отделения были размещены в заброшенной казарме, стоявшей на холме, неподалеку от городка — ряд замкнутых строений, как арабский дворик, комнаты для солдат отдельно, для офицеров отдельно и для скотины — отдельно (так как в прошлом это была казарма кавалеристов дуче). Наш холмик — это сама Швейцария, и в первый же день нашего житья здесь, незадолго до вечера, мы спустились пошататься по городку, — словно не были посланы охранять укрытые в горах склады и не должны были караулить лагерь. Вскоре мы очутились в районе станции. С улицы станционное здание казалось скромным и незначительным, скрывая ведущуюся в нем деятельность. К югу отсюда ремонт полотна еще не закончен, но с севера все время прибывают поезда. Из Клагенfurта, из Вены, даже из Будапешта. Даже из Варшавы? Может быть и из Варшавы, — отвечает станционный чиновник, — почему бы и нет? Скоро прибудет поезд из Клагенfurта, — сказал он.

Не только полотно — и все тупики служили кладбищем для вагонов; на стенке каждого — значок станции приписки, от Брюсселя до Загреба. Были среди них и вагоны, разбитые во время бомбежки, и такие, что

незаметный порок делал их негодными; вокруг ржавых колес росла трава. Плоешти. Варшава. Киль. Амстердам. Если бы их стенки сохранили звучавшие в них голоса, мы услышали бы элегию великой войны.

Стоя на платформе, мы слышали гудок приближающегося поезда. Клубы дыма плющились под дождем, белые облака, внезапно скрывшие от нас горы. Вагоны ползли вдоль платформы, словно сдерживая дыхание, — товарные вагоны, открытые двери которых были усеяны людьми — у выхода, в узеньких окнах, между вагонами — одетыми во что попало, не штатское, не военное, с горящими глазами. Они кричали, надрывая глотки. Патриотические песни, сотни флажков рассыпались по платформе, у каждого в руке по флажку, которым он размахивает что есть силы, как будто личное усердие выделит его из других приезжающих, и таким образом мир будет оповещен о том, что именно он вернулся домой целым и невредимым. Кроме нас и двух-трех железнодорожников на станции не было ни души. Радостный рев, патриотические песни и красно-бело-зеленые флажки — все обрушилось на нас. Мы же, со своей стороны, оказались там вроде делегации — не для всех пассажиров, но, может быть, для немногих рассыпанных по вагонам — без флажков в руках, без радости в сердце, — тех, которые вдруг увидят нас и значки на наших мундирах, набросятся на нас и повиснут на шеи, удивленно крича: и вы тоже здесь? Вы нас ждали? Нас?! Шма Исразль...

Ничего подобного. Капрал Майнц — Боби — вдруг огрызнулся в сердцах:

— Что мы торчим тут с полными штанами? Кому это мы так машем?

— А почему бы и не помахать? — удивился Лэйзи. — Это тоже жертвы...

— Жертвы аборта. Половина из них — фашисты и

просто сволочи...

— Вы поглядите на их рожи, — сказал Бродский. — Немецкий хлеб жрали. Всю войну.

Больше мы об этом не говорили, а поспешили по-дальше от приезжающих. Никто к нам не подошел.

6

На следующий день мы снова пришли на станцию, на этот раз, чтобы сопровождать поезд, отъезжающий в Клагенфурт. Я был бы рад тому, что на мою долю выпало принять участие в первой поездке туда, если бы не капрал Куперберг. В лапы этой рыжей облупленной морды я попал еще в Црифине. Прежде, чем пойти добровольцем, он служил не то охранником, не то пограничником, и обладал всем тем, что производит впечатление на капралов, тренирующих новобранцев: знал толк в строевых упражнениях, ножны его штыка блестя, как черная сталь; часами чистил свою портупею, натирая ее мелом, не отставал от пряжки и медных пуговиц, пока они не начинали сверкать, как маленькие светила. Благодаря всему этому, а также его английским прибауткам, он удостоился большой чести иметь должность начальника базы. На один день. В связи с этим ему и дали одну нашивку, которая ввела его в число командиров британской империи. На заключительном смотре полковник сказал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл, и Куперберг был уверен, что эти слова относились к нему. Теперь в посеребренную мишень метила вторая нашивка. Его невозможно было вытерпеть — он никогда не улыбался, он заставлял нас чистить столы и скамейки на базе, натирая их кирпичами, перед субботним построением доводил до умопомрачения каждый взвод, и тогда ка-

залось, что свою красную рожу он тоже чистит проволочной щеткой, а белый пушок, покрывающий его рыжие конечности, скребет, натирая мелом. Когда меня перевели в штабную роту, я обрадовался тому, что больше не увижу его. Сейчас мы снова в одной роте, да еще вынуждены вместе ехать в Клагенфурт. Хорошо хоть, что Зоненшейн, Лэйзи и Покер тоже едут. Ловко придется маневрировать, чтоб надуть его.

Вышли затемно. Наш вагон — тот, в котором нам приказали разместиться — был загружен ящиками с провиантом. Мы соорудили себе на полу лежанки и приготовились ко сну. Покер, который всегда рад побезобразничать, достал из ранца настоящий канделябр со свечами — и пригласил партнеров к столу. Не у кап-рала Куперберга! — во-первых, не полагается разжигать огонь в вагоне, полном деревянных ящиков; во-вторых, королевским приказом запрещены азартные игры на деньги; в-третьих — спать надо. И неважно, что среди нас четверых не было Покеру достойного партнера, — словесная перепалка между Покером и Купербергом продолжалась до полуночи. Когда я открыл глаза, грязный утренний туман уже наполнил щели вагонной двери. Я осторожно откатил дверь и увидел незнакомую страну. Справа от нас тянулось озеро, недоступное охвату взгляда. Тепловатый ливень и облака дыма под потухшими небесами без солнца, над сдавленным горизонтом. Только тучная зелень раздувается под дождем. Деревянные заборы. В тумане виднеются коровы, жующие жвачку. Дом с торчащими башенками, словно заколдованный замок. Кто-то едет на велосипеде по дороге, усыпанной щебенкой, медленно-медленно, на толстых шинах, в черном плаще, в кепке с козырьком, блестящим от воды. Мы уже там, за границей.

Товарный поезд передвигается не спеша, паровоз осторожно обнюхивает рельсы. Июнь. В поселке все

покоряется ему, даже пыль; извозчики собираются на бирже, под эвкалиптами; на моем заводе раскаляется жестяная крыша, сварщики надвигают на глаза щитки, зажигают карбидные горелки и ворчат: "Восемь утра, а нас уже жара доканала". А здесь от холода кости ломит, и на горизонте, прижатом к озеру, рождаются легенды. Ага, пивной бар. Бочка на стене, большие готические буквы, написанные широкой дугой, состоящей из красной, черной и желтой полос. Моя бабушка, — рассказывал папа, — она из Германии. У нас, — рассказывала мама, — жило много немцев. Немцы — очень образованные люди, — говорил папа. У нас был альбом с рисованными открытками, и зимой я оставался один в бараке и листал этот альбом, путешествуя по всем местам, нарисованным на этих открытках — озеро в лунном сиянии, девушка, лежащая у подножия высокой сосны и читающая письмо со слезами на глазах, конь со всадником, умирающие на зеленом поле — вроде этих вот полей. Мама говорила — еще бы разок. Хотя бы еще один раз я хочу съездить туда. Я возьму тебя в наше село, — говорила она, — увидишь, какие леса у нас там были, какая была река, а летом — как у нас там зелено летом!

На берегу озера и на подступах к городу виднелось множество домов, игрушечных, как пряничные домики у братьев Гримм, ни одной провалившейся крыши, ни одной пробитой стены. Только когда поезд вошел в город, в районе вокзала были видны некоторые следы разрушения, опрокинутые вагоны, скелеты домов. Обходчики стояли на путях и сигналили своими флажками. Поезд замедлил ход и остановился. Британский сержант из военно-путевой службы подошел к нам и принял поезд. Нам следует оставаться в районе вокзала, — сказал он, — чтобы вернуться с одним из поездов, отходящих во второй половине дня. "Отыщите себе

какой-нибудь уголок на вокзале и устраивайтесь там, как хотите”, — сказал и ушел.

Мы остались на платформе с одеялами, ранцами и ящиком жратвы. Никто не потрудился глянуть на нас, увидеть еврейских солдат и затрепетать. На разбитых платформах кишели толпы беженцев, тысячи из миллионов. Здесь мы тоже увидели флажки, национальные цвета на отворотах пиджаков. Все европейские народы — французы, голландцы, греки, итальянцы, бельгийцы. Все лезли в поезда, развозящие их по домам. Все прощаются друг с другом. Одни плачут. Другие смеются. Все толкаются и лезут в вагоны. Теперь, когда поезда мчатся в обратном направлении, надо дорожить каждой секундой.

Мы стояли в толкучке, прижатые к стене, удивляясь тому, что делается. Капрал Куперберг сказал, что надо найти уголок, разместиться там, сесть, перекусить и ждать дальнейших распоряжений. Но мы уже поняли, чем отличаются бегающие от стоящих, те, что приехали и уезжают, от тех, что были и остаются. Работники станции в форме, похожей на военную, со следами больших значков рейха, сорванных с фуражек, рукавов, с нагрудного кармана и оставивших после себя темные пятна на ткани. Даже мундиров не сменили. Сорвали значки и продолжают в том же духе, в той же должности.

— Сначала мы раздобудем себе комнату, — сказал Покер и шагнул к кабинету начальника станции. — Эй, ду! Комнату! Мы хотим комнату.

Человек низкий и круглый, как тыква, ответил, что он не понимает.

— Отлично ты все понимаешь, сволочь! Шайсе!¹ — и, продолжая говорить, обернулся к Зоненшейну. —

¹ Дерьмо! (нем.)

Ну, как мой немецкий, а?

— Самые нужные слова ты уже знаешь, — улыбнулся Зоненшейн. Было видно, что он одобряет поведение Покера. Тот уже обследовал всю комнату и заглянул в следующую, которая ему понравилась; не дожидаясь нашего согласия, он приблизился к тыкве и прошептал ему прямо в нос на палестинском варианте идиш:

— Дем цимер, я-калб, дас мир немен, герр как-ман!..¹

Мы засмеялись, обрадовались случаю показать, что мы, мол, оккупанты, собрали свои манатки и вошли в комнату, которую добыл Покер. Начальник станции бежал за нами, кричал грудным голосом, как человек, который успел на своем веку поуправлять станциями, а Покер раскладывал свои шмотки, через равные промежутки времени вежливо замечая:

— Чтоб ты заживо сгорел... плацен залсте...² очень правильно... герр швайнехунд...³

Тот вышел, наглый и самоуверенный, и через некоторое время вернулся в сопровождении второго, подобного себе, который, видимо, и был начальником станции. Он приветствовал нас мягким голосом и даже слегка поклонился, но не успел он раскрыть рот, как Лэйзи снял свой автомат, вытащил из поясного патронташа обойму и сказал:

— Зоненшейн, скажи ему, что я всажу в него всю обойму, если он сейчас же не уберется отсюда...

— Сумасшедшие, — закричал Куперберг. — В тюрьму вам захотелось?

— Скажи ему, — продолжал Лэйзи, — что я за себя не отвечаю.

¹ Комнату, о собака, мы берем ее... господин за...анец! (смесь нем. и идиш).

² ...чтоб ты лопнул... (нем.).

³ ...господин свинская собака... (нем.).

Зоненшейн — в эту минуту я убедился в том, что имел основания считать его актером — прокашлялся, склонил голову и на чистейшем немецком произнес:

— Господин железнодорожный чиновник! Этот молодой человек выстрелит в вас, если вы немедленно не удалитесь отсюда. Это раздражительный солдат из еврейской армии, как, впрочем, и все мы. Неужели вы желаете быть застреленным? Скажите, будьте так любезны...

До обоих чиновников разом дошло — кто мы. Как на мину навалились. Они сникли, на их лицах застыл ужас, как будто они вдруг увидели призраки тех, что проезжали в запечатанных вагонах, одни за другими, которых, ясное дело, никто и не думал когда-нибудь увидеть, — и вот они здесь, в комнате: в мундирах, вооруженные, совершенно другие, только глаза такие же, как у тех, в зарешеченных окнах. Короткими шажками они двинулись назад, замутненным взглядом уставившись в лэйзин "томми", и вскоре скрылись за дверью.

Мы сложили вещи в углу, нацепили автоматы и двинулись к выходу. В город. Мы, но не капрал Куперберг.

— Куда это вы собрались, ребята? — было какое-то отчаяние в слове "ребята", когда оно выходило из уст Куперберга, подвергая сомнению его командирские полномочия. Он упустил бразды правления, и единственным выходом было вести себя помягче.

— В город, — ответил Покер.

— У нас есть приказы, ребята... поезд, он же может уехать в любую секунду.

— Пусть себе едет. Нам не к спеху.

— До полудня, разумеется, не уедет, — примиряюще заметил Зоненшейн. — Немножко прогуляемся по го-

роду, капрал, и вернемся на станцию, а? Пошли все вместе, а?

С самого начала было ясно, что не запрем же мы себя на станции, в первый раз вступая в город по ту сторону границы. Но Куперберг подчинялся королевским приказам.

— На полчаса, — сказал он, предлагая достойный компромисс как нам, так и себе самому.

Когда мы снова проходили через переднюю комнату, мы увидели тыкву, сидевшего за своим широким столом; его глаза поблескивали между шарами щек. Это не страх, — размышлял я, разглядывая его, вцепившегося пухлыми руками в крышку стола, — это недоуменная ненависть, не успевшая приспособиться к новым порядкам, новому повороту нашей судьбы, к холодному немецкому выговору Зоненшейна, к грамматической правильности убийственной фразы, которую он им перевел. Серые глаза в глубине щек застыли кристаллами ненависти. Лэйзи приподнял свой "томми" и кончиком ствола ударил по козырьку фуражки чиновника, снизу кверху, швырнув ее на пол. Тот не шелохнулся. Лэйзи перевел ствол со лба, мимо щек, к горлу чиновника.

— Так вот доходит, а? — спросил Лэйзи на иврите, а Покер заржал.

— Нет, Лэйзи, — сказал Зоненшейн и взял его за руку, — не так.

7

Мы шли, расправив плечи, печатая шаг, стараясь выглядеть королевской гвардией. Мимо нас проходили горожане. Окрестности станции кишели беженцами со всего света, спешащими домой. Никто не видел разницы между нами и другими британскими военными, кото-

рые тоже расхаживали при оружии, согласно общему распоряжению. У входа в разрушенный дом, во дворе, сидело несколько женщин в длинных платьях, покрытых платками, затянутыми у подбородка, склонившихся над плитами, сооруженными из обломков кирпичей. Запах варева исходил из перевернутой каски, поставленной на огонь. Они выглядели, как еврейки из художественной литературы. Мы попытались завязать с ними разговор, и они ответили на каком-то славянском наречии. Их лица повернулись к нам — чужие, с широкими скулами, глазами, словно из матового стекла, обветренными губами. К нашему удивлению Куперберг обратился к ним на их же языке. Те ответили со смешливым изумлением. Минуту спустя восхищение иностранным солдатом, говорящим на их языке, сменилось настороженностью, они стали на все отвечать односложно или пожимать в ответ плечами. Зоненшейн шепнул мне, что ему, говорящему по-чешски, тоже понятен этот язык, и он начал переводить мне содержание беседы этих женщин с Купербергом. Они, оказывается, с Украины. Из дома их угнали немцы и привезли сюда, на разные работы. Теперь они сидят здесь и ждут поезда, который отвезет их на запад, к американцам. А домой они не хотят ехать? Нет, — те переглянулись и помешали закипающую в стальной каске кашу, — на восток они не поедут. Почему? "Почему? — засмеялась самая старая из них, — а потому, что нравятся нам такие хорошенькие мальчики, как вы..."

— Вот ведьма, — буркнул Покер. — Скажи им, Куперберг, что мы евреи. Посмотрим, какие они рожи скорчат.

— Спросите сначала, есть ли тут евреи, дожидаящиеся поезда, — сказал Зоненшейн.

Когда Куперберг сообщил им, что мы евреи, я смог обойтись без перевода. Они схватились пухлыми рука-

ми за щеки и рассмеялись, раскачивая обильными грудями. Приятно встретить такого шутника перед завтраком, пока еще застывшие кости не отогрелись. Явреи! Здоровы врать-то!

Без перевода слушал я и продолжение разговора, похожего на русскую повесть в переводе на иврит.

— Мы... евреи, дорогие мои, — повторил Куперберг.

— Иди отседова, байстрюк! Хватит тебе над несчастной старухой смеяться, Христосик ты мой...

— Ей-Богу, евреи. Мы из еврейской армии...

Они снова пустились пихать друг дружку в жирные бока, лопааясь от смеха.

— Ах ты, рыжий хитрюга,, Видали мы еврейское воинство. В огненных колесницах на небо отправлялись. Столбами дыма... Кого ты надуть хочешь, прохиндей?... — старуха шлепнула Лэйзи по ноге. — Этот, что ль, тоже жидок копченый?...

Куперберг выпрямился. Ни он, ни Зоненшейн больше не переводили, но нам и так было ясно, о чем говорилось здесь, у костра. Бабы тоже начали догадываться по нашим физиономиям о своей ошибке — ошибке, которую они и в мыслях не могли допустить. Их серые глаза помутнились от испуга, они застыли в своих полусогнутых позах, как шакалы, застигнутые ночью лучом быстрой машины. Мы, испытывая одни и те же чувства, смолкли и зашагали по шоссе, вдоль развалин, обнесенных строительными лесами. Мы идем по сожженной земле, мы никогда не забудем тех женщин, варивших себе кашу на завтрак, тот прощальный дымок.

С тех пор я ни разу не был в Клагенфурте. Подъехал как-то на поезде — несколько лет тому назад — до границы этого государства, и на следующем поезде вернулся назад. Я не добавляю ничего к тому, что сохранила моя память с того дня. Ходили по улицам, встретили роту военнопленных, шагавшую вдоль стройки с

лопатами на плечах, волочивших сапоги походкой побежденных. Прохожие провожали их сочувственными взглядами. Нас не замечали, а если кто и бросал случайный взгляд на наш нарукавный значок, — не чувствовали никакой связи между нами и теми. Мы выходили с одной улицы на другую, и никто не бросался бежать от нас, крича: "Евреи идут!" На углу мы наткнулись на солдатскую столовую. Светлые девчонки в накрахмаленных халатах расхаживали между пустыми столиками. Мы зашли выпить кофе с бутербродами. Девчонки слонялись без дела. Было видно, что мы — Лэйзи и я — понравились им. Одна из них подошла к нашему столу, расплывшись в счастливой улыбке. Покер, как всегда и везде, немедленно предложил ей поблудить — на иврите, разумеется. Девушка удивленно распахнула глаза, наклонившись всем телом между мной и Лэйзи, и спросила нас — что сказал Покер и на каком языке? Запрещение связей с женщинами на оккупированных территориях еще оставалось в силе, но английский она уже успела выучить. И уже подмигивает подружке, чтоб тоже подошла. Две чистенькие, приятные девочки — через минуту они уже наши друзья. Это не английский, — сказала первая своей подружке по-немецки, — из какой же страны эти славные ребята? У меня сами по себе задвигались веки, но я тут же увидел недавних украинок. Ткнул себя пальцем в рукав — вот, мол, мы кто. Здорово, засмеялась девчонка, стоявшая между мной и Лэйзи, и погладила значок. Это магендавид, — сказал я ей. Ее чистое — ну просто конфетка — лицо еще раз залилось улыбкой, и, хихикнув, она пролепетала: "Ну что же это может быть? Канадцы?"

Да. Происходило то, чего следовало ожидать. Ах вы хитрецы такие, провести нас захотели? Евреи бывают только в страшных сказках — рогатые и горбатые. Не

смешите нас. Нету, и никто не поверит, что мы — это они, что мы шагаем сквозь эти улицы под тем же именем, что мы пришли мстить за них.

Мы снова вышли на улицу, уже готовые поддаться на уговоры капрала Куперберга, боящегося неприятностей, и вернуться на станцию. Хорошо посидеть в запертой комнате до отхода поезда и не шататься по промывной дождем площади, у этих высоких ворот, зная, что никто не ожидает с ужасом нашего прихода, никто нас не боится. Для чего мы вообще здесь, если не для того, чтобы повергнуть этот город в трепет?

Мы стояли на вымощенной площади. Сотни лет непрерывной обжитости оставили свой след на ее камнях, на деревьях, на людях, жизнь которых тоже ни на секунду не прекращалась. Были у нас в поселке соседи, еврейские крестьяне из верхней Австрии, из Каринтии. Отец, мать и два взрослых сына. Часами сидели в кафе "Вена", разговаривая немецким баском, точь-в-точь, как этот, долетающий до нас со всех сторон. Давайте-ка сматываться из этого сумасшедшего дома.

Замешкавшись, мы увидели стройную девушку в светлом плаще, черный берет ее был сдвинут набок. То есть, мы заметили, что проходя мимо нас, она глянула, словно наводя радар, на наши нарукавные значки. Она знает, — охватила меня детская радость. Но она продолжала быстро идти дальше, и только теперь, подойдя к воротам в конце площади, остановилась и снова посмотрела на нас.

— Эта девчонка — еврейка, — сказал я.

Мы впятером молча впились в нее глазами. Она все еще глядела на нас, искоса, словно тайный агент. Всем нам было ясно — кто она, но, боясь разочароваться, мы не двигались. Ей придется сделать первый шаг. Она зашагала не спеша по широкой дуге, замыкавшейся в круг, пока не вернулась к нам. Она напоминала фото-

графию Греты Гарбо — в плаще, в черном берете, такое светлое, такое северное лицо.

— Так это вы? — шепнула она по-немецки, словно весь город следил за нами.

— Мы, — ответил Зоненшейн, тоже по-немецки, с теплотой в голосе. Он повернулся к ней, не двигаясь с места. — А ты?

— Вы из еврейской армии?

— Вы уже слышали о нас? — вопросы задавались как в подполье, в тылу врага.

— Говорят, что вы где-то неподалеку, но я-то, я в первый раз вижу солдат... в самом деле... наших...

— Ты еврейка? — спросил Куперберг вслух то, чего мы все хотели услышать со всей недвусмысленностью.

— С арийскими бумагами, — прошептала девчонка, обводя глазами площадь, словно разыскивая того, кто готов был разоблачить нас в любую секунду. — Сестрой в госпитале. Я тут одна, никому не смею рассказать — кто я.

— Война-то кончилась, — улыбнулся Зоненшейн. — Мы победили, девочка моя.

— Я знаю, конечно, я знаю, — сказала она, но на улыбку не ответила. Она боится стоять с нами на площади. — Вы останетесь в Клагенфурте?

— Нет, — сказал Куперберг. — Мы вскоре возвращаемся за границу... Ребята, нам уже надо идти!...

— Вы же видите, — заговорила девчонка. — Я здесь совершенно одна... Впрочем, есть здесь несколько венгров. Портных...

— Евреев? — вскрикнул Покер со странным волнением.

— Ты мадьяр? — глянул на него Лэйзи сверху вниз.

— Осел! Я?! Предки мои. Какой-нибудь дедушка.

— Может быть, ты знаешь, где они живут? — спросил Зоненшейн.

— Конечно. Я была у них. Несколько раз. Им здорово повезло. Они уже одной ногой в гробу стояли. Их гнали пешком.

Она ускорила шаг, чтобы идти отдельно от нас, а мы тащились позади, как будто согласились с ней, что в самом деле надо чего-то бояться, остерегаясь следящих за нами вражеских глаз. Это было странное шествие — пятеро вооруженных солдат следом за этой приятной девушкой, которая знает, что нет больше необходимости в арийских бумагах, и все-таки не смеет уйти из госпиталя и продолжает исполнять ту же рутину, жить с теми же людьми, — кто знает, что это за люди — и раненые, и врачи? — не быть собой, не веря в ту свободу, которую ей может сейчас предоставить возвращение к себе самой. Она осторожно идет через город, в котором она жила и тогда, неизвестно с каких пор, подслушивая, подсматривая, может быть даже принимая на станции раненых, провожая глазами запечатанные вагоны, тянущиеся на восток. Мы молча идем вслед за ней, и во мне рождается странное чувство, будто это мгновение — не из нашего, а из какого-то другого времени.

Мы снова оказались в окрестностях вокзала, в кварталах со следами бомбежки. Подошли к большому дому с обвалившимся флигелем. Со двора спустились по деревянной лестнице в просторный подвал, наподобие склада, потолок которого опирался на два ряда столбов. Еще с лестницы мы услышали, как несколько мужчин во весь голос увлеченно распевали: "Йо рибон ойлам ве-олмайо, антху малкой мелех малхайо..."¹. В середине подвала стоял длинный низкий контейнер, вроде тех, в которых перевозят яйца, а по обеим его сторонам были сооружены скамейки из досок, поло-

¹ Господь, правитель мира и миров, Ты царь, царь царей... (арам.).

женных на ящики и кирпичи. За столом сидели мужчины и пели, не замечая нашего появления:

— Ант ху малкой, мелех малхайо...

В первую минуту, — пока глаза привыкали к темноте, обнаруживая каморки, отгороженные одна от другой одеялами и мешками, натянутыми между столбами и стенами, вглядывались в эту компанию, сидящую вокруг деревянного контейнера, — я думал не о них, а о том, что сегодня суббота, что нам до последней секунды это и в головы не приходило. Сам того не желая, я видел папу, сидящего сейчас за столом, поющего ту же молитву, отбивая такт хлебным ножом по вилке или белой скатерти. "От Его твердыни вкушали, и благословила вера моя, насытились и остались в живых, по слову Господнему". Винные пятна от всех суббот. Обглоданные рыбы кости. Твердые крошки субботнего хлеба с тмином, которые папа собирает ножом в кучку. Подсвечники, которых со вчерашнего вечера никто не трогал. Йо, рибон ойлам, как же далеко я убежал за такое короткое время, с тех пор, как выскочил из-за отцовского стола и повернулся к нему спиной. Не то, чтобы много дней прошло, а как будто их и вовсе не было, — и кто я вообще такой: струганный чурбан, гладкий, полированный камень, шлифованный всеми водами. Как будто я вылез из-под каких-то обломков, как будто никогда не было субботы, и это не я со своей сестрой Нехамой сидел и распевал во весь голос, не я спускаюсь в этот подвал, и только здесь, на лестнице — узнаю, что сегодня суббота.

Чем занимались эти люди до нашего прихода, что было на столе, пили ли они вино, ели ли рыбу? Всего этого невозможно вспомнить, потому что вдруг они подняли глаза и увидели медсестру в плаще и черном берете, увидели нас, спускающихся с лестницы. С тех пор, когда я читаю книгу о хасидах и вообще о религи-

озных людях, встречающих субботу, не желающих расставаться с нею, поющих еще и еще в надежде, что вот-вот придет Мессия, — перед моими глазами встает компания венгерских портных в том подвале, неподалеку от клагенфуртского вокзала. Они сразу же поверили, что мы — еврейская армия, им не нужно было ни единой минуты, чтобы привыкнуть к этой мысли. Мы разом заговорили — они на венгерском идиш, с ударением на предпоследнем слоге, Куперберг — на басистом восточно-галицийском идиш, Покер — на идиш израильского поселенца, живущего в южной части Тель-Авива, а мы с Лэйзи — мыча все те немногие слова, которые мы знали: я чуть-чуть, а Лэйзи — и того меньше. Они ощупывали нас, снимали наши береты, выясняли достоинства ткани наших мундиров, читали надпись на значках, баловались нашими винтовками и автоматами, просили взять их немедленно с собой. Только соберем свои инструменты и пойдем. В разгар субботы. Ну, рабойсай, сказано — сделано...

Куперберг начал нервничать. Нельзя так, объяснил он им. Мы находимся на британской службе, у нас есть задание, нас осудят за такое поведение. Нельзя же так. Мы вернемся в свою роту, немедленно сообщим, кому следует, что мы нашли евреев, и через несколько дней — верьте в Эрец-Исраэль — придут люди и позаботятся о вас... Нет, сейчас мы только испортим все дело...

Сначала мы все набросились на Куперберга. Ну что ж тут такого, возьмем с собой этих людей, сколько тут их, двенадцать, тринадцать, заберемся в наш собственный вагон, привезем их с собой, а там видно будет. Поезд-то наш. Граница — наша. Поехали.

Зоненшейн немедленно пришел в себя и присоединился к мнению Куперберга. Не стоит подходить к таким вещам легкомысленно, не считаясь с теми, кто уполномочен решать подобные вопросы. Разумеется,

есть какой-то план — как помочь, что делать, куда направить их. Нам вот кажется, что мы первые, но наверняка здесь был кто-то раньше нас, действуя согласно распоряжениям соответствующих учреждений.

— Да плюнь ты на свои учреждения! — вскипел Покер. — Они делают только то, что им англичане скажут.

Мы с Лэйзи тоже поддержали Покера. Желание сделать что-то серьезное, значительное, провезти с собой полный вагон евреев в первую же поездку через границу — пленяло наше воображение. Сделать что-нибудь. Учреждения! Что они там знают об этих евреях, мечтающих уехать вместе с нами, хотя бы и в субботу, об этой девчонке?

Пока мы препирались с Купербергом, который торопил нас вернуться на станцию, охладели сами венгры. Сначала набросились на нас, висли нам на шеи, качали нас и были готовы идти за нами, не моргнув глазом, — теперь начали задумываться: зачем торопиться, мчаться в субботу в товарном поезде, когда, может быть, никто нас там и не ждет и не будет знать, что с нами делать? Может быть, в самом деле стоит подождать здесь несколько дней, поглядеть, куда все повернется? А наши семьи, которые остались дома — мы же не можем их оставить. Может быть, лучше съездить в Венгрию, взять их с собой и вернуться? И потом, здесь ведь у нас все-таки есть права, как у беженцев, а что станет с нашими правами, если мы отправимся ни с того ни с сего в Италию, в какой-то неизвестный город, в котором нет работы, и кто знает, сможем ли мы оттуда попасть в Эрец-Исраэль?... Просто бежать? Чего бежать? Куда бежать?

Все разом распалось, и уже не было смысла препираться с Купербергом. Пошли всякие истории, разъедающие нас, как кислота, такие, что мы слышали их впервые, а с тех пор их рассказывали и рассказывали,

так что теперь даже не стоит уточнять, что именно рассказали нам тогда эти портные. Так как у них была специальность, их держали в трудовом лагере, и только когда Красная Армия вошла в Венгрию, их передали частям СС и отправили на запад, пока им не удалось освободиться — здесь, в верхней Австрии. Мы сидели друг против друга — они, несчастные портные в одежде, полученной или стянутой со времени освобождения, с гаснущим огоньком, — запыхавшимся при встрече с нами, — в глазах, и мы, неспособные использовать эту неповторимую минуту.

— Возьмем с собой хоть Эстер, — сказал Покер. За это короткое время, проведенное с нами, она успела рассказать, что она из Лодзи, и вместе со своей подругой, у которой тоже есть арийские бумаги, они забрались в этот город. Ее еврейское имя, — сказала она, — Эстер.

— Возьмем Эстер, капрал Куперберг, — предложил Зоненшейн. Он тоже чувствовал сейчас, что неспроста эти венгры загрузили.

— Я подожду еще несколько дней, — сказала Эстер. — Я хочу поехать со своей подругой.

— А пока что? Вернешься в немецкий госпиталь? — спросил Зоненшейн.

— А что же мне делать? Там у меня есть комната, еда, защита...

Мы не знали, что ей ответить. Отдали ей все сигареты, какие только нашли в карманах. Потащили ее с собой на вокзал. Покер принес ей жестянку с четырнадцатью плитками шоколада, спертую из ящика с провиантом. Еще раз попытались уговорить ее уехать с нами, но она была охвачена каким-то странным испугом, торопливо расцеловала нас всех и скрылась за развалинами домов.

И снова мы стояли на платформе, всего через не-

сколько часов после нашего приезда, но чувствовали себя вернувшимися из тяжелого похода. Сержант военно-путевой службы вышел нам навстречу с кислой миной. Он не знал, куда мы исчезли, и уже звонил в военную полицию. Поезд отправится, по-видимому, через час, если не раньше. Было бы хорошо, чтобы мы сейчас же забрались в свой вагон.

— Да не останемся мы здесь, не беспокойся, — ответил Покер, всему свету товарищ.

Мы прошли мимо начальника станции и его помощника, которые глянули на нас бесцветными глазами. Они терпеливо ждут, чтобы мы убрались восвояси. Туда, откуда пришли. А они, сволочи, останутся здесь. Мы вошли в добытую с боем комнату, проверили свои вещички и ящик со жратвой. Все было на месте. Они позаботились о том, чтобы у нас не нашлось придинок. Мы расстелили на полу одеяла и развалились, не желая видеть ни города, ни вокзальных чиновников, ни беженцев, втиснутых в вагоны поезда, в котором мы поедem обратно. Кого это все волнует? Тихо себе приехали, тихо и уедем; и только венгерские евреи за субботним столом, да одинокая девчонка на площади — останутся в нашей памяти, только это мы с собой и увезем. А пока что — прикроем глаза и помолчим.

С У Д

1

Поезд карабкался по горам, слегка покачиваясь, поскрипывая, сдерживая одышку колес, словно еще чуть-чуть — заскользит в обратную сторону со всеми многочисленными обитателями вагонов. Но нам-то безразлично — стоим мы или едем. Вагон отгорожен от законной темноты, а мы отгораживаемся от самого вагона, зарываемся в одеяла, просыпаемся от неожиданной качки, бряцания цепочек, крика обходчиков, — и снова погружаемся в полудрему. Боже мой, сколько же станций на этом коротком участке. Не то поезд притомился. Не то где-то рельсы меняют. С позавчера мы не переодевались, пропахли сажей, да еще эти остановки и шум. Из-за всего этого неохота и пальцем шевельнуть. Приедем — будет видно.

На этой станции мы стоим дольше, чем обычно; как, впрочем, необычен и крик ликующей толпы за окном, и паровозы снуют — туда-сюда. Я слышу, как кто-то откатывает дверь. В закрытые глаза, под вязаную шапочку врывается свет.

— Ребята, граница, — кричит нам Лэйзи. Лентяй-то он лентяй, но по утрам встает с петухами.

Я стащил с себя шапочку и слегка приподнялся на локтях, закутанный, как мумия, в спальный мешок,

который я соорудил себе из вчетверо сложенных одеял. Голубой день заполнил весь дверной проем, и даже полулежа я вижу вершину горы, которая мне уже давно знакома; мы еще кутаемся во тьме, а солнце уже добралось дотуда и выше. Вот, черт бы их побрал, с ума можно сойти по утрам от такого великолепия. Снизу, около вагона, раздались возмущенные крики на итальянском, и в ответ им — сдавленный смех Лэйзи. Он стоял, прислонившись к стенке вагона, лицом наружу, и только сейчас я разглядел, что он там делает.

— А чего ты суешься без спросу? — кричал он оскорбленному обходчику. — Думал, чай здесь раздают?

Даже Куперберг рассмеялся и начал вставать, и только Покер ворчал из-под одеяла, требуя, чтобы Лэйзи закрыл дверь. Но и он скоро сдался и встал поглядеть на такое утро. Поезд дернулся с места и постепенно пополз со станции. Из вагонов донеслись поющие голоса, и работники станции замахали шапками и закричали, желая счастливого пути. Колеса ускорили свой ход, облака пара понеслись назад, и грохот поезда поглотил крики людей. Вот долина становится уже, и мы приближаемся к подножию горы. Дым висит на лесных верхушках, как на кончиках штыков. Столбы с оборванными проводами проносятся мимо нас. И снова скрипят тормоза, стучат вагонные сцепления, и мы осторожно вползаем в промежуток между рядами неподвижных вагонов. Мы уже сложили свои вещички, нацепили ружья и готовы выпрыгнуть из вагона. Только бы пришла за нами машина.

Разумеется, никто нас не ждал. Мы решили выйти на одну из площадей городка, ту, где магистраль пересекается с дорогой, ведущей к нашей казарме. По сути, мы-то не прочь посидеть здесь, даже целый день. Мы уселись на расшатанные стулья у входа в пустое кафе. Перед нами, посреди площади — фонтан; дорога на се-

вер — справа от нас, к Удине — слева. Напротив, в пустом кафе собралось несколько пацанов, поспешивших стать взрослыми; они провожают свистом двух девочек, перебегающих площадь и скрывающихся в дверях лавки. Лэйзи сидит, протянув свои длинные ноги, и читает многочисленные надписи на стенах: "Типография Белина. Картолерия — леберария. Банка дель Венетто". Неспешно бежит время. Мы заглываем черный кофе, и на губах остается горечь. Что мы выгадываем, сидя здесь, и что нас ждет там? Набросятся на нас и будут допытываться: какие подвиги мы совершили по ту сторону границы и что вообще есть интересно. "Порно. Маханико..."

Около одиннадцати показалась снабженческая машина, возвращающаяся с полковой базы. Мы остановили ее и забросили в кузов свои шмотки. Рядом с водителем сидит Мушик-повар; Покер прицепился к нему и не отстал, пока не проверил всю почту. Зоненшейн получил — как обычно — кипу газет из Англии. Лэйзи прислали из училища брошюру. Покер и Куперберг остались с носом, а мне пришло письмо от отца. Всего-то. Каждый день я твержу, что надо забыть Ногу и ее письма — и каждый день я шепчу себе, что придут они именно сегодня. Напрасно я надеюсь — не получаю-то я их потому, что их уже не пишут... Мы забрались в кузов. Я выбрал себе местечко между узелками и ящиками со всякой снедью и собрался распечатать папино письмо. Но я и так знаю его содержание наизусть, даже не взглянув: "Приветствия и пожелания. Да что у меня. Да что у них. Вся страна стала с ног на голову от безмерной гордости и душевной удовлетворенности нашими дорогими любимыми сыновьями, которые, рискуя жизнью, спасли честь Израиля в глазах всех народов. И так до абзаца с горестями — на второй странице письма. Ой. Ой-вэй. Недуги и заботы.

И что будет? А ты свою лепту уже внес. И когда же сделаешь что-нибудь для своей семьи? И здоровье — не дай Бог. Короче, чего ты медлишь, дорогой наш Элиша, и не начинаешь ходатайствовать о демобилизации по семейным обстоятельствам. Черт бы побрал амалекитян, сегодня мы узрели отмщенье...". Я засунул конверт в карман гимнастерки и стал глядеть на зеленую землю и голубые небеса. Нога не станет больше писать. Все кончено, дружок, и нечего тебе удивляться. Не сам ли ты предложил прекратить переписку? Да не так ведь я ей писал. Совсем наоборот. Нет смысла исполнять "долг людей ученых", — писал я, — и лучше узнать правду, чем получать письма, написанные из милости. Если я надоел тебе, сердиться не стану. Если ты нашла себе друга, лучшего, чем такой бродяга и пустозвон, как я, — я же тебя первый и поздравлю. Это ведь не что иное, как естественное развитие событий, мы же с тобой знаем кое-что о любовных историях времен войны. Любить издалека, по воспоминаниям, может только необычная девчонка, и если кто-нибудь в чем и виноват, так только я — в том, что верил, по своей наивности, что ты, Нога, ты и есть эта необычная девчонка. Ошибся, прости... Так писал я тогда, полагая про себя, что ответное письмо устранил все препятствия, и Нога своим прекрасным уверенным почерком напишет мне, что это испорченный телефон все напутал, а на самом деле она все еще такая же, как в том стихотворении Гете, которое она вложила в одно из своих первых писем ко мне, переписав от руки, — стихотворение, которое губы шепчут сами по себе:

Я здесь, с тобой; и будь ты дальше вдвое —
Ты в двух шагах;
Садится солнце; в небесах, звездой —
Откликнись, а!

Ну, конечно, растет во мне возмущение с минуты на минуту, вливаясь в этот мир, душащий меня, изгадивший всю мою жизнь, — ”я здесь, с тобой!” Если ты в самом деле со мной, почему бы тебе не поступиться твоей проклятой честью и не написать, хотя бы одно слово, что-нибудь, что откроет передо мной ворота, что даст мне возможность написать тебе, освободить себя от того, что только тебе, дрянь ты такая, только тебе может поведать мое перо? Почему ты не пишешь мне, что все это неправда? Что эти опасения родились в моем ревнивом сердце? Но ты, ты ведь не уронишь своего достоинства, а если так, если достоинство тебе дороже нашей любви, что значит для меня вся эта любовь — простая, обыденная, легко преодолимая? Если так, то и я могу помолчать, решаю я в ярости, и только в моем усталом мозгу копошатся строки, которые я читал и перечитывал:

Тебя я вспомню — солнцем восходящим
С морского дна;
Тебя я вспомню — в озере дрожащем
Блеснет луна...

2

Когда мы выскочили из кузова во двор, присыпанный щебнем, мы увидели свой батальон, толпящийся у входа в склад, расположенный в одном из крыльев П-образного здания. Они собираются там по какому-то из ряда вон выходящему делу. Не случайно там собрались все, но с другой стороны — это и не сбор, потому что пришли они — кто в чем был: кто в форме, кто в комбинезоне, кто в сапогах, кто в кедах, без пояса, без оружия, и их дружное молчание указывает на то, что

случилось что-то серьезное. Я собрал свои вещички и направился к складу, но в этот момент передо мной очутился Гершлер. Шел он из нашей комнаты.

— Гершлер, что здесь делается, а?

Он остановился, но взгляд его был рассеян, словно его от книги оторвали. Если и расслышал, то не понял. Я переспросил.

— Собрание, — ответил он. — Собрание батальона.

— Чего вдруг?

— Я откуда знаю?

— А в чем дело?

— В чем дело?... — он все еще был где-то в другом месте. В его очках, как в зеркале, плясало солнце. — Я и сам не знаю, в чем дело. Это Тамари всех собирает. Большая тайна.

— Тамари, что это за собрания ты нам устраиваешь ни с того ни с сего?

Это был Покер. Он уже стоял рядом со мной и тоже слушал Гершлера; он-то и заметил Тамари, идущего из управления батальона в сторону склада. Тамари — короткое, полное тело, как мешок с песком, всунутый в штаны, старательно шагающий по двору, выставив голову вперед; берет сидит как-то по-дурацки, значок посреди лба, прямо меж глаз. Не замедляя своего скрипучего шага, он подбадривал нас издали:

— Быстро, товарищи, быстро.

— Или ты скажешь, что это за собрание, или мы идем спать, — крикнул Покер.

— Что за собрание? — спросил Лэйзи, до которого только сейчас дошло, что происходит. Он стоял, груженный своими пожитками, собираясь идти к себе в комнату.

Тут Тамари, прошедший было мимо, сменил вдруг направление и, не останавливаясь, словно во время строевых упражнений, протянул обе руки Зоненшейну:

— Вы ведь из Австрии сейчас возвращаетесь. Я и забыл совсем, — поскольку руки Зоненшейна были заняты, он пожал ему локоть. — Евреев нашли?

— Что здесь происходит?

— Бог знает что, — застонал Тамари, как бы нехотя. Но тут же снова спросил: — Ну, рассказывай, нашли хоть *кого-нибудь*?

— Нашли. Еще расскажем тебе во всех подробностях.

— В самом деле, евреи?... — Тамари не терпелось добраться до склада, все его тело наклонялось в том направлении, но глаза этого крепкого человека, которого двадцать лет терзало солнце иорданской долины, повлажнели сейчас, как у тех портных в подвале. — Ну, Зоненшейн, расскажи что-нибудь. Сколько. Где. Ну, раз-два...

Неохотно, короткими сухими фразами описал Зоненшейн наши похождения в Клагенфурте. Ребята, столпившиеся у входа в склад, подошли к нам, образовав кружок. Щебень горел у Тамари под ногами, но несмотря на это, он упрямо выслушал все до мельчайших деталей. Когда мы со своей стороны спросили — по какому поводу собрание, которое он устраивает, ответа не получили. Суетясь от волнения, он пожал всем нам локти, повернулся и стал пробивать себе дорогу к складу.

— Входите, товарищи, входите. Все... и вы тоже, оставьте здесь свои вещи и идите с нами.

Он стоял в дверях, торопя входящих. Вдруг он заметил Лэйзи, взвалившего вещички на плечи и направляющегося в спальню.

— Лэйзи, ты куда направился?

— Ребята мне потом расскажут, — ответил Лэйзи и зашагал дальше.

—Лэйзи!

Крик этот донесся из неожиданного источника, из глотки старшего сержанта Изаксона. Только сейчас мы увидели его, стоящего на бетонном крыльце управления батальона — его, майора Сандерса и лейтенанта Фройнд-Почовского. Лэйзи остановился и, не сказав ни слова, сменил направление. Батальон собрался у входа и начал протискиваться в помещение склада.

— Вонючее дело! — заметил Покер вслух. — Очень вонючее.

Пока все входили, мы пытались выяснить, что произошло в наше отсутствие. Никто ничего не знает. Один пожимает плечами, другой готов поделиться догадками. Может быть, получен новый приказ и организуется сопротивление. По радио сообщают о Триесте. Может быть, это связано с действиями подполья против англичан в Палестине. Черт его знает. Удивительно, что все это происходит на глазах у майора и с его позволения. Тамари сидел у него битый час. Но если так, то в чем дело? Даже если никто ничего не знает, догадывался я, то все же это не такой уж большой секрет. Воздух наэлектризован; безвольная покорность, с которой все расселись на соломе и просветах бетона; напряженные мускулы на лицах одних и покрытые мраком лица других; серьезные мины, готовые к "крупному разговору". Предчувствие, царящее над складом, напоминает пророческий дар ревматика: на-двигается буря.

На дворе уже никого не осталось, а Тамари все еще вбегает и выбегает, уверяя, что вот-вот начинаем; но кого-то, как ему кажется, еще нет, и нельзя начинать без твердой уверенности в том, что все на месте. Наконец, успокоился и он, вошел в склад и сказал:

— Дежурный сержант, пожалуйста.

Боби — капрал Майнц — который стоял, прислонившись к косяку железной двери склада, шагнул теперь

внутри, навстречу Тамари, не покидая, однако, освещенного пятка при входе. Он держал листок бумаги. Приподняв листок, он остановил на нем свой взгляд. На его лице лежала глубокая тень, а глаза, всегда излучавшие свет, отражали теперь глухой бетон складских стен. Их холодная неподвижность заразила всех безмолвием, и мне показалось, что он уже все знает и имеет прямое отношение ко всему, что произойдет в дальнейшем. Он и офицеры, стоявшие во дворе. И скорее всего, Боби не очень-то приятна вся эта затея.

— Я проведу сейчас перекличку: кто услышит свое имя — ответит "здесь", — пробормотал Боби и сразу же принялся называть имена. Были перечислены все, кто входил в состав роты, в том числе снабженец, повар, санитар, писарь, водители, — все, кроме отделения, отправленного в Вила-Альта. Маленький Остерайхер в восточной позе. Бродский, прислонившийся плечом к стене, лицом к выходу, словно еще не решивший — оставаться ему или уйти. Гилеади, сидящий на куче сена в левом углу помещения, по-совьи поблескивая очками в темноте, бешено покусывая соломинку. Гершлер. Призадумавшийся Зоненшейн, вроде бы целиком погруженный в набивание своей трубки. Лэйзи, разносящий про себя, конечно же, на все лады Изаксона, — но голову держит прямо, и только кончики пальцев выдают кипящие в нем страсти. Мушик, распластавшийся лужицей у ног Гилеади. Аруси — длинные ноги протянул перед собой, старается головой ни к чему не прислоняться, чтобы не испортить прическу. Все, все, и каждое имя, которое выкрикивает Боби, и каждое "здесь", вторящее ему из темноты, — только усугубляет тишину, вгоняет нас в эту страшную тайну, в которую мы уже впечатаны, у которой мы в плену, к добру это или к беде. С чего это вдруг именно список? Куперберг. Здесь, но до чего же ему неловко валяться

здесь на бетонном полу, одному из многих.

— Крук.

— Здесь, — ответил я.

— Рахмани.

— Презент, сэр! — Рахмени-водитель кривит губы, словно англичанин, но только Аруси реагирует на этот прикол, подмигнув большими, молочно-голубыми глазами.

— Шифер. — Здесь. Все здесь.

Держа листок перед глазами, Боби слегка наклонился к Тамари, причем на его страстных губах, всегда вызывающих в моей памяти слух о том, что у него кто-то в роду — немец, повисло некое подобие улыбки.

— Тамари, — произнес он, точно выполнив свою формальную обязанность.

— Здесь! — громко ответил Тамари. Он здесь, господа, он занесен в тот же именной список. Как все. Это потрясающая скромность, самоунижение, достойное похвалы. Он ведь сейчас на том же положении, что и Бродский, которые его терпеть не может с тех пор, как тот пытался пристроить его к киббуцной жизни, разглагольствуя при этом о превращении людей типа Бродского из "отбросов общества" в достойных его членов. Да знаем мы, что ты здесь, Тамари, давай уже к делу.

— У меня все, — сказал Боби и шагнул назад, на свое прежнее место у входа.

3 "ТОВАРИЩИ!"

Взгляд его буравил складской пол; но и начав говорить, он не поднял глаз, а наоборот, обратился к тому же месту на полу, которое разглядывал. Вопреки его столь крестьянской внешности, шепот этот напомнил мне те времена, когда папа восходил в Судный день к ковчегу, произнося молитву о прощении.

— Товарищи, вчера здесь, в нашем кругу, произошел случай... особенный случай. Поверьте, я не могу понять, как это могло случиться такое... ужасное... событие. Я тоже надеюсь... я Бога молю об этом... чтобы никто из нашего батальона не имел к этому отношения. Дай Бог, поверьте мне... товарищи...

Он замолчал, и на лбу у него прорезались вертикальные морщины, словно он пытался расшифровать письма, начерченные внизу, на полу. Батальон терпеливо ожидал продолжения.

— Итак... не для того, чтобы посудачить о том, что полагается делать еврейскому солдату и что ему запрещено при любых обстоятельствах, — не для этого мы ведем нашу беседу... Хотя, товарищи, я лично — и позвольте мне добавить, что я не нахожу возможным укрыться от этого чувства... у меня такое ощущение, внутреннее ощущение, которое не имеет никакого отношения ни к данному месту, ни к моменту, — скорее это что-то сокрытое у меня в глубине души, я бы сказал, в самой нашей еврейской сути, то, что является нашей общей ценностью, и не дай нам Бог запятнать это...

— Брось, Тамари, о чем ты говоришь? Никто не понимает — чего ты хочешь?

Это, разумеется, был Покер, которого всегда выводят из себя манерные выражения, но сейчас — другое дело, сейчас ему очень хочется знать, в чем дело. Сдержанный смех послышался из дальних концов склада.

— Секундочку... секундочку... — Тамари приподнял голову, но глаза его оставались накрепко сжатыми. Он прижимал к груди свои коротенькие ладони, словно пытаясь избавиться от физической боли, словно ему не хватало воздуха. — Я затрудняюсь, товарищи, вы не представляете себе, как это трудно... я не знаю, с чего... с чего начать...

— Может, начнешь просто с сути дела! — прогундосил Лэйзи, словно со сна. Смех нарастал.

— Да это и есть суть дела! — Тамари распахнул глаза, черные, как туча, и повернулся к Лэйзи. — Это и есть суть дела, Лэйзи... Как не дать второстепенному восторжествовать над самым главным, как научить эту роту принимать решения в соответствии... с самыми высшими... интересами. Товарищи, не случайно я предупреждал вас, что собрались мы не для морального разбирательства, хотя я знаю, поверьте мне, и сочувствую той страшной боли, которую испытывают товарищи, точка зрения которых отличается от моей, полагающие, что по отношению к нашему повседневному бытию не применимы идеальные мерки; они хотели бы повернуть вспять...

— От тебя с ума сойти можно, Тамари. Брось свою философию и объясни, из-за чего тут весь сыр-бор.

— Покер, замолчи! — это был капрал Куперберг. Хотя в этот миг он один из нас, он не может вынести нарушения субординации.

— Ну, что ж, — Тамари тяжело вздохнул, но после этого заговорил простым, деловым языком, и даже голос у него больше не дрожал. — Два часа тому назад я был вызван в управление батальона, к майору Сандерсу. Позвонили ему из британской военной полиции. Сегодня утром. Две женщины, мать и дочь, явились утром в отделение военной полиции, жалуясь на то, что вчера вечером в их дом — за пределами города — ворвались солдаты, набросились на них... — вновь голос его снизился до шепота. — Посягали на их тела, утверждают они, была даже попытка... изнасиловать их... и убить. Они оборонялись, кричали, — так объясняли они в полиции, — и сумели обратить насильников в бегство. По их словам, солдаты отняли у них деньги, часы и другие ценности.

Голос Тамари пропал в складской тишине, и поскольку он все время ослабевал, до нас не дошло, что все уже сказано. С минуту нас окружала тишина, словно плотный туман; мысли разбегались по всем направлениям, пытаясь слить воедино сказанное с намеками и догадками. Но тут раздался тихий, спокойный голос Зоненшейна:

— Откуда они знали, что нападавшие были солдатами?

— Те были в британских мундирах, на их рукавах были наши значки. Желтые магендавиды на бело-голубом фоне, — утверждают эти женщины.

— Они были без плащей? — спросил Зоненшейн.

— По их словам выходит, что без, — снова ответил Тамари упавшим голосом.

— Сколько их было? — проснулось вдруг у Лэйзи любопытство.

— В дом вошли двое. Но им показалось, что снаружи стояло еще несколько.

— Я не понимаю — зачем им надо было нацеплять значки, если шли грабить? — сказал Аруси.

— То же самое и я хотел спросить, — приподнялся с пола Мушик и обратился к Гилеади. — Это были итальянцы, которые переоделись нарочно, чтобы сбить с толку полицию.

— Один из них говорил по-немецки, и мать утверждает, что он представился как еврейский солдат.

— Может, это "вервульфы", которые хотят подложить нам свинью.

— Майор так и ответил полицейским, но они сильно в этом сомневаются.

— Да чего тут сомневаться! Какой еврейский солдат пойдет грабить итальянцев, да еще навесит на себя все значки и будет говорить по-немецки? Это смешно.

— Эти женщины не были итальянками.

Это был Гилеади. Словно под действием магнита глаза всех присутствующих обратились в левый угол помещения. Гилеади сидел неподвижно, все еще покусывая соломинку, зажатую между пальцев. Черты его лица стерты слабым складским освещением, и только блески очков выдают его присутствие, словно он только что отвел взгляд от бухгалтерской книги. Но мы уже не заблуждаемся на его счет. Никогда так не чувствовалась разница между ним и Тамари, как в этот момент. Стальной лист, обтянутый тонкой кожей, а против этого защищенного бессилия пляшет каждой жилкой земное лицо Тамари, в котором есть сейчас что-то от тяжеловатой, покрытой темными бороздами плитки сушеных фиников. Тамари обеспокоен репликой Гилеади, его губы темнеют, но маленький Остерайхер уже выскочил с вопросом:

— Откуда ты знаешь, что не итальянки?

— От военной полиции.

— Откуда ты знаешь, что сказала военная полиция? — Тамари выглядит сбитым с толку, потому что не догадывается о подлинных намерениях Гилеади, больше того — начинает сердиться на него за то, что тот отвлекает внимание батальона от самого главного.

— А ты, Тамари, спрашивал — кто такие эти потерпевшие?

— Что за смысл в таком вопросе, и вообще — чего ты хочешь, Гилеади? — хлынуло наружу накопившееся возмущение; он был очень возбужден, в голосе слышалась мольба. — Две женщины подверглись вчера нападению. Они утверждают, что их собирались изнасиловать, убить, что их ограбили. Военная полиция подозревает наших товарищей!... — и вдруг оборвал себя на полуслове и возвратился к тому, что собирался сказать, по-видимому, с самого начала. — Мы не какой-нибудь

сброд, прикрывающийся британским флагом... Послушайте, товарищи, я прошу вас... мы ведь и не армия рыцарей этого... того... Сенкевича..., где каждый сам по себе, ведет свою собственную войну из-за... из-за какого-то "вопроса чести"...

— Какого вопроса чести, а, Тамари? — Гилеади всегда говорит с некоторой сдержанностью, отделяя слог от олога, словно каждый из этих слогов вынужден был укомпактоваться, прежде чем проскочить ползком — один за другим — между его страстными губами; но сейчас слова разом хлынули наружу, обратившись на полпути визгливым сопрано, словно кто-то швырнул им камнем в хвост. — Честь еврейского народа — это "вопрос чести"?!

— Честь ему и слава, конечно, Гилеади... — и снова, почувствовав, что нельзя давать Гилеади уводить беседу в другое русло, не договорил того, что уже слетало с его языка, а обратился ко всему батальону. — Нам запрещено вести здесь свои собственные войны, потому что на нас возложена миссия, которую только мы одни и в состоянии выполнить, и не поздоровится нам, товарищи, если мы упустим такой момент... нет ни у кого из нас права вести свою собственную войну...

— Это ты уже говорил! — заорал на него Покер, посягая Гилеади из-за угла.

— Что? — Тамари упустил нить своей мысли и, даже переведя взгляд на Покера, оставался в другом месте.

— Это ты уже говорил!

— Мы все здесь посланцы... армия спасения уцелевших, товарищи. Есть цель. И именно потому, что командовать нами вроде бы невозможно, так что каждый волен делать то, что ему кажется справедливым, — мы должны посвятить себя единой цели... и это, товарищи, это самое серьезное дело, самое возвышенное, которому следует подчинить все остальное... и это спасение ев-

реев... Зоненшейн расскажет вам... они ждут нас, как мессию... как мессию... в лагерях, на границах, на вокзалах. И мы должны до них добраться.

— Чего это ты нас так упорно убеждаешь, словно кто-то тебе возражает? — вспыхнул Лэйзи.

— А кроме того, Тамари, будь человеком, ребят-то пожалей. Останутся сегодня без обеда, — применил Мушик испытанное оружие; и вскочил, собираясь осуществить свое намерение и испариться. — Прошу прощения... мне вот... на кухню...

— Мушик! А ну, сядь! — только сейчас мы обнаружили старшего сержанта Изаксона, стоящего в дверях, около Боби. Дело — дрянь, если уж и этот здесь. Само-го главного мы еще не слышали. Мушик тихо скользнул на прежнее место.

— Тамари, позволъ-ка мне? — Зоненшейн приподнял свою трубку, но дожидаться разрешения не стал. — Беседа протекает как-то странно, и боюсь, что мы до сих пор не понимаем, куда ты клонишь. Есть ведь у нас нечто вполне определенное — две женщины, солдаты и так далее. Давай на этом и сосредоточимся.

— Хорошо, — сказал Тамари. — Пожалуйста. Итак, в чем дело? А дело вот в чем: военная полиция полагает, что этих двух солдат ей следует искать среди нас, сидящих здесь. Мы тоже — не мешать! — я тоже... тоже опасаюсь... товарищи, полиция будет вести следствие. Поэтому я и собрал вас сейчас так поспешно, чтобы попросить — чтобы потребовать... потребовать, чтобы эти двое встали и назвали себя. Сейчас. Немедленно...

Тут разразилась целая буря. По правде сказать, разразиться-то она должна была еще тогда, когда Тамари рассказал, что произошло; но его слова прошли как-то мимо нашего сознания; мы допытывались подробностей, не постигая сути самого дела. Однако теперь, когда Тамари во всеуслышание заявил, что и он тоже уве-

рен в причастности наших к этому происшествию, да еще потребовал, чтобы два "насильника" признались в этом, — все пошло ходуном, и каждый вкладывал в свой крик горечь и отчаяние, которые накопились в нас со дня внезапной остановки на границе:

Ты не понимаешь — что ты такое говоришь, Тамари...

Чего это вдруг наши? Зачем это им нападать на итальянок?...

А если да, так что? Вчера ходили убивать и насиловать, а сегодня будут бить себя кулаком в грудь?...

И при чем тут вообще рота? Пусть придет полиция, пусть себе голову сломит, пусть расследует, сколько хочет...

Это англичане сами какую-то кашу заваривают, вот что тут происходит, если вы меня хотите спросить...

На них похоже!...

Как они этого отравили, ну, как там его звали, греческого премьера...

Как они самолет Сикорского сбили...

Как это они вообще смеют приходить к нам с такими баснями...

Да басня ведь совершенно другая: две шлюхи, которым ребята отказались заплатить...

Вполне возможно...

Побежали в полицию жаловаться, что их *не* изнасиловали...

Особенно старая — чести ее лишили...

Да смешно это... пошли лучше жрать!...

Скажите мне только одно, если эти бродяги пришли насиловать — почему же не изнасиловали, а?...

Это точно: стоило бы их за это под арест отдать...

И повесть за...

Тамари, Тамари, чего это ты так разволновался?...

Армия — это тебе не киббуц. Если кто виноват — пусть его полиция ищет...

Па-шли-жрать!...

4 "МОЛ—ЧАТЬ!"

Разом воцарилась тишина. Рота, вставшая уже и направившаяся к выходу, застыла — следуя многолетней привычке. Голос старшего сержанта Изаксона, о присутствии которого мы снова позабыли, приковал нас к земле. Снова мы стали не участниками собрания, а батальоном солдат, вся жизнь которых испоганена приказами.

— Все возвращаются на свои места: раз-два. Сесть. Эй, ты, там, хочешь оказаться в управлении батальона? — Сядь, говорю... если вы все не заткнете рты, то мы продолжим это собрание во дворе, в стойке "смирно"... Остерайхер, у тебя столбняк? — садись... Ведите себя разок как солдаты, черт бы вас побрал!...

— Мы продолжим, господин старший сержант, — проямлил Тамари. Видно было, что он недоволен этим вмешательством.

— О'кей.

С минуту молчание продолжалось. Мы уже расселись и разлеглись, а Тамари все еще не начинал. Он глядел на старшего сержанта, пока до того вдруг не дошло, что ему предлагается избавить нас от своего присутствия, как это согласовано, по-видимому, с самого начала. Только после того, как он развернулся и вышел, Тамари заговорил:

— Это неофициальная беседа, товарищи, и мы продолжим ее с того места, на котором оборвали. Продолжим до тех пор, пока не кончим... Я слышал некоторые высказывания, брошенные здесь в пространство,

и мне хотелось бы... я вынужден сказать вам, что вы до сих пор не постигли того, что произошло вчера, и того, что ожидает нас сегодня. Два человека, замешанные в этом... деле... обязаны сознаться — и немедленно...

— Мне хотелось бы понять, — перебил его Зоненшейн, — почему они должны сознаться и что будет, если они не сознаются?

— Ты до сих пор не ответил на мой вопрос, — крикнул из угла Гилеади.

— Какой вопрос? — спросил Тамари.

— Известно ли тебе, что собой представляют потерпевшие?

— Сказал же тебе — не знаю. Две местные жительницы — мать и дочь...

— Раз так, я тебе скажу: это две немки. Нацистки, — голос его был резок, чуть ли не визглив, и начав говорить, он вскочил на ноги. Впервые мы видели его таким необузданным, таким, каким его изображали единомышленники.

— Я попросил бы тебя сесть, — повысил Тамари голос. — На каком основании ты утверждаешь, что они нацистки или даже просто немки?

— Я скажу тебе, на каком основании: на основании утверждений военной полиции. Они исключают ту возможность, что нападавшие были из "вервульфов", потому что эта семья известна во всей округе, как семья нацистов... Почему в доме не оказалось мужчин?

— Я не знаю. И не этим мы сейчас заняты, мы должны как можно скорее...

— А я рассматриваю *этот* вопрос, как решающий. Ты говоришь о грабеже, насилии, убийстве... Ты бросаешь в лицо целого батальона слово "*сброд*"... Ты говоришь, что мы не занимаемся здесь вопросами *чести*... И только о главном ты говорить не собираешься: о том, есть ли разница в том случае, что эти солдаты —

даже если они, предположим, в самом деле из наших — отправились убивать и насиловать ни в чем не повинных гражданок, или же они жаждали совершить возмездие над *нацистами*. Есть тут разница или нет?

— Гилеади... прошу тебя, — послышался примиряющий голос Зоненшейна. — Разумеется, это один из самых важных вопросов. Но все-таки, мне так кажется, нам следует получить ответ на тот вопрос, который я задал прежде: Тамари, ты созвал батальон на собрание, рассказал нам о случившемся, ты требуешь, чтобы эти двое назвали себя. Почему? Почему ты думаешь, что собрание батальона поможет делу? И что будет, если они не признаются? Что тогда случится?

Тамари вытащил из кармана большой платок и обтер им свою короткую шею. Продолжительная тишина рождала в нас уверенность, что Зоненшейн попал в точку, и сейчас мы узнаем — что за собака здесь зарыта.

— Я скажу тебе кое-что. — Тамари сунул платок в карман, зацепил двумя пальцами ремень и потащил его вверх вместе со штанами — все это, чтобы выиграть время. — Я не уверен на все сто процентов, что эти двое сидят здесь, среди нас, но я очень боюсь... однако, если они среди нас... Утром вызвал меня майор. Все вы знаете, что майор — наш друг, и сегодня я почувствовал это не только по тому, что он сказал, а по тому, какое понимание проявляет он в наших делах. Об этом вообще следовало бы помалкивать — я не знаю, многие ли из наших были бы способны пойти на то, на что пошел майор Сандерс, несмотря на то, что он знает, чем рискует. Но я рассказываю это только для того, чтобы вы знали, какая беда на нас свалилась: чтобы выбраться из нее, требуется усилие со стороны каждого из нас — и незамедлительное... Итак, майор Сандерс сообщил мне, что военная полиция сразу же направила отчет в командование округа, и надо полагать, что окку-

пационные власти, которые ведают гражданскими делами на захваченных территориях, тоже поставлены в известность. Нет больше никакой возможности замять эту историю или ограничить разбирательство пределами города. Командование настаивает на проведении следствия...

— Испугались мы ихнего следствия, — замахал кулаками Мушик, обернувшись к Гилеади.

— Это вам опытный человек говорит, — крикнул Аруси, и к его удивлению, рота ответила громким смехом, отчасти пользуясь случаем разрядиться, отчасти припомнив в эту минуту следствия, в которых набрался опыта Мушик, подозреваемый, по слухам, в кражах кухонного добра.

— Что же тут смешного, ребята? — вырвался крик у Тамари из горла, словно в него вонзили штык. — Неужели вы не в состоянии понять, что нам предстоит? Что ожидает всех нас в том случае, если окажется, что это были наши?... Я хочу, чтоб вы знали: меньше, чем через три часа здесь, во дворе, будет проведен смотр с целью опознания. Сюда приедет военная полиция, всех нас подвергнут проверке.

— Что ты сказал? — переспросил Гилеади, словно не веря своим ушам.

— В три тридцать рота выйдет на смотр, вот что, Гилеади.

— А женщины пройдут между рядами и будут искать насильников и убийц!

Если ты дослушаешь меня до конца, Гилеади, то ты поймешь, что это единственный выход, который позволяет нам выполнить свой долг перед полицией и в то же время отделаться от этой истории, снять с себя подозрение — быстро и в демонстративной форме.

— А если, например, мы, Тамари, не пойдем на этот смотр?

— Мы обязаны пойти, — сказал Тамари, несколько раз качнув головой.

— Ты-то пойдешь. Это точно. Что тебе скажет твой английский хозяин — то ты и сделаешь.

Гилеади снова вскочил на ноги. Осторожным, но решительным шагом он шел мимо сидящих, приближаясь к выходу. Кто-то другой вселился сейчас в этого сдержанного, вежливого, играющего в покер и загибающего анекдоты человека. Когда он оказался у выхода, я заметил, что его лицо бледнее высвеченной площадки. Но здесь его уже остановил Зоненшейн, который с удивительной проворностью вскочил со своего места и схватил Гилеади за руку.

— Только не так, Гилеади. Я прошу тебя. Нас здесь не много, и решение, которое нам предстоит принять, непосильно тяжело. Мы одни, времени у нас мало, нам не с кем посоветоваться и не на кого взвалить ответственность... Тамари, послушай и ты тоже: в этом деле мы все, как один, должны быть уверены в своей правоте, потому что каждый из нас в состоянии наложить оправданное с его точки зрения вето просто тем, что откажется выйти и принять участие в этом смотре...

— Я утверждаю во всеуслышание, что не приму участия в этом позорном сборище! — крикнул Гилеади, всем своим телом склонившись к выходу, удерживаемый только рукой Зоненшейна. — Семьдесят парней, семьдесят еврейских солдат выстроятся напоказ двум нацисткам, мужья, братья, сыновья которых... как это вы можете представить себе такую картину — здесь, в этот день... хватит с меня того, что я вижу сейчас моего старого отца, стоящего в строю, а перед ним расхаживают настоящие убийцы, может быть, именно те мужчины, которых не оказалось дома у этих нацисток, потому что они находятся сейчас... — и, с этой оборванной фразой на устах, он вырвался из рук Зоненшейна и на-

правился внутрь склада, в сторону Тамари. Нам показалось, что он вот-вот замахнется, но он только подошел к Тамари вплотную, тоньше и выше его, и произнес срывающимся голосом: — Теперь я понимаю, что значат слова молитвы: "Нет у них ни стыда, ни совести", — какого стыда и какой совести.

— Гилеади, я хочу, чтобы ты меня тоже немножко послушал, — крикнул ему Зоненшейн. Так они и стояли втроем: Зоненшейн у входа, а Тамари и Гилеади — друг против друга. — Я хочу сказать, что после этого обсуждения, пусть оно даже продлится до прибытия военной полиции, каждый сможет наложить на себя моральный запрет и отказать выйти на построение. Для того, кто не замешан во вчерашнем происшествии, это вопрос принципа — и только; он не влечет за собой никаких последствий. Военная полиция сумеет задержать каждого из нас и принудить его явиться на дознание — поодиночке...

— Только по принуждению, — заорал Гилеади. — Но не по собственной воле — на плацу, с эдаким воодушевлением. Только по принуждению. И они не сделают этого!

— Это еще вопрос, Гилеади. И нам надо наверняка знать ответ, прежде, чем мы примем решение. Но эти двое, которых обнаружат с помощью смотра, если только они действительно из наших, их-то обнаружат независимо от того, будет ли это на общем сборе или нас будут вызывать одного за другим...

— Поэтому-то я и настаивал на смотре... если бы вы дали мне закончить...

— Ты *настаивал* на смотре?! — спросил пораженный Гилеади.

— Майор уговорил военную полицию согласиться на такой род дознания...

— А этих двух ребят ты хочешь таким образом бро-

силь в руки полиции? — втиснулся в разговор Покер, который искал случая, чтобы присоединиться к Гилеади.

— Эти двое не выйдут на смотр. Потому-то я и прошу, я умоляю этих двоих сознаться, потому что тогда мы еще успеем...

— Или я круглый идиот, или я ни черта не соображаю, — раздался голос сзади. — Переключки не будет, что ли? Увидят же, что нету двоих.

— Будут все до одного, — тихо сказал Тамари, стрельнув глазами по сторонам, словно опасаясь, что кто-то подслушивает. — К нам посланы два человека из другого батальона. Может, даже прибыли уже.

— А майор — осел, что ли? — крикнул кто-то сзади. — Не заметит, что ему ни с того, ни с сего людей подменили?

Тамари понизил голос и в наступившей тишине неожиданно изложил нам все детали плана, который он тайно составил вместе с майором. Тех двоих не найдут, потому что их не будет в строю. Так будет доказано, что рота не имеет к происшедшему никакого отношения, дело закроют, а мы выйдем из положения чистыми, как стеклышко.

Чувство недоумения наполнило склад. Если так, то для чего было все это возмущение, все эти крики? И что здесь вообще за проблема? Именно хотим — постоим перед ними две минутки, немки походят, никого не найдут — и привет родителям. В первый раз нам, что ли? Всегда ведь так с англичанами — и "нелегальная" алия, и поддельные удостоверения личности, и клятвы верности, которые мы приносили, вступая в добровольную полицию, чтобы обучаться обращению с оружием. Ну, братцы, времени жалко. Можно было сразу сказать, чего от нас хотят, а не пудрить мозги. Смотр, так смотр...

В этом потоке слов явно слышались признаки волнения. Все мы были захвачены мыслью о таком простом выходе из затруднительного положения, и не только потому, что устали от этого сидения на складе и от разрывающего брюхо голода, — тайная поддержка майора Сандерса придавала этому выходу безопасный и законный характер, не говоря уже о его изяществе. Вот как мы проведем за нос военную полицию, вот как надуем этих вонючих нацисток! Да ведь мы их — как хотим!

И сквозь нарастающий шум прорвался вдруг голос, ясный и недвусмысленный:

— Ну так если мы уже кончили, давайте расходиться. Не весь же день нам здесь торчать...

— Кончили?! Что кончили?! И не начинали еще!

Это был Гилеади. Как и прежде, он стоял около Тамари, прислонившись к стене, наклонив свое бледное лицо вниз, словно приготовившись бодаться.

— Уже вы кончили! Раз-два и готово! Проглотили сваренную наспех баланду: шепотка еврейской чувствительности, несколько капель дисциплинированности — и полный горшок подхалимажа перед всяким англичанином, заправленный хитроумными, циничными расчетами...

— Гилеади, я протестую против такого тона... — начал Тамари.

— Нечего тебе протестовать. Еще до того, как был решен вопрос об этом смотре — а я все еще убежден, что здесь найдутся ребята, которые поймут, насколько страшен смысл этого *выхода, предложенного* Тамари, как это стало нам теперь известно... *Действенный* выход, изящно выражаясь. Выход, *цель которого*, наконец, совершенно ясна. Есть ведь общепринятая полицейская процедура, и военная полиция, как это стало нам в конце концов известно, тоже настаивала на про-

ведении этой процедуры — проводится индивидуальное расследование, проверяются военные документы и личные данные каждого солдата роты, устраиваются индивидуальные опознания. Но такая процедура не дала бы возможности ввести в действие известную систему. Двоих ребят опознали бы, арестовали, эта история получила бы широкую огласку, наваяла бы на тысячи наших солдат совершенно иные ветры, побуждая к новым проявлениям мести, еще и еще, восстановила бы честь еврейского знамени, поруганную именно здесь, на этой проклятой границе...

— Гилеади, сейчас не время для пространных выступлений. Время бежит...

— Мы-то не бежим никуда, — раздался гнусавый голос Лэйзи. — Мы хотели бы дослушать его.

— Принятое решение, это не только наше с вами, ребята, личное дело... Мы все, не только Тамари и его товарищи, мы все хотим добраться до ждущих нас евреев. Но он полагает, что эта цель позволяет ему отказаться от еврейского мщения, унижать наше солдатское достоинство...

— Какое отношение имеет нападение под покровом ночи с целью грабежа и я-знаю-чего к солдатской чести, — закричал Тамари; эти слова еще звенели в воздухе, а он уже собрался было раскаться в том, что сказал, да только Гилеади не дал ему рта раскрыть.

— С целью грабежа и я-знаю-чего. Очень здорово. Не только британская военная полиция — ты тоже полагаешь, что эти двое, попытавшиеся — только попытавшиеся совершить ничтожнейший акт кровной мести, — насильники и убийцы, и все это не имеет ровно никакого отношения к нашей поруганной чести... Больше того, встанут эти двое, если только они из наших, встанут и признаются в... — неожиданно он направил свой крик в глубь склада, и впервые в тот полуденный час я ощу-

тил на деле, что говорится о двоих из нас, и все уже согласны с тем, что именно они ворвались вчера к немкам в дом. Никто не двинулся, только на лицах сидящих появились смущенные улыбки. — Более того, встанут эти двое, и узнаем — кто они. Встанут и скажут, что привело их в дом этих нацисток, заговорят о том, что жжет сердце каждого из нас: тысячи молодых и храбрых парней, все как один добровольцы, поклялись мстить за кровь беззащитных, мстить на войне и мстить во дни мира, палачам и их вдохновителям, тем, кто пожимал им руки, и тем, кто провожал их с цветами, тем, кто восхвалял кровопролитие, и тем, кто пользовался плодами грабежа, всем: мужчинам и женщинам, старикам и младенцам. Мы, Тамари, не признаем учения о левой щеке. Но если бы и признавали, — не смогли бы применить его, потому, что оно больше не существует. Все отнято и брошено в огонь; и мы пришли сюда не по собственной воле, потому что и собственной воли нам не оставили. Все искромсали. Одна только рука спаслась, один маленький кулачок. Мы. Здесь. И что может сделать этот маленький, крепко сжатый кулачок? Тамари, что ты посоветуешь ему делать?... На фронте мы оказались слишком поздно. Разумеется, долго еще будут кричать на всех углах о нашем героизме: отчасти для того, чтобы пустить нам пыль в глаза, отчасти, чтобы мы тоже вроде бы оказались за столом победителей. Но можем ли мы не упомянуть здесь тот факт — не упомянуть того, что еврейский народ был побежден в этой войне — и без того, чтобы его войска сражались с армией врага? Да, мы можем насчитать миллион еврейских солдат, сражавшихся во всех союзнических войсках, но ни один еврейский корпус не вернулся со своим Касино¹ на

¹ Касино — битва при Монте Касино, символ борьбы за возрождение Польши.

простреленном знамени. Ни одна эскадрилья не опалила крыльев над горящим германским городом. Этого мы не сможем забыть — кончилась война, и час великой мести упущен. Маленький кулачок останется сжатым, словно в судороге. Он не разожмется, этот кулачок; застоявшаяся кровь и память о несовершенной мести поразят его гангреной... Пройдут годы, мир вернется к спокойной жизни, и даже эта война погрузится в омут летописей. Уже сейчас мы видим, как союзники становятся противниками, а враги — друзьями. Не здесь ли, на этой вот нашей границе, проезжают армии — одна мимо другой... Но и тогда, когда эта война станет достоянием далекой истории, и тогда, когда подрастут росшие под бомбежками английские дети и спросят: как было отмщено то убийство, — им расскажут, даже тогда, о Дрездене и Гамбурге, о кровавой мести. А когда ленинградские дети спросят о том, как отомстили за блокаду, за голод, за эпидемии, — им расскажут и даже тогда, о Сталинграде, о красных солдатах, покрасневших от крови и огня в походе на Берлин... Вчера только слышал я от человека, который приехал оттуда, что существует в советской армии неписанный закон — и да благословит их Господь за такой закон — всякий кусок земли, который они занимают, дается солдатам на одни сутки для разграбления. Они убивают, да, они убивают невинных. Они насилюют, ого! насилюют молоденьких, ни в чем не повинных девчонок. Они поджигают и позорят, попирая все человеческие нормы. Одни сутки; но когда немцы станут описывать весь ужас этих суток, они не найдут ему сравнения нигде, кроме как в том, что делали сами. А по истечении суток оккупанты устанавливают в своей армии железную дисциплину, и с того, кто устраивает самосуд, спрашивают по всей строгости закона. И теперь мир снова может восстать из бездны. Так это я

понимаю. Не принцип левой щеки, а принцип Бога мести. От животного страха перед преступлением можно освободиться только с помощью животной расправы... А мы что? Будем нести в своем больном сердце память об Амалеке¹, шепотом передавать бессильную ненависть из поколения в поколение? Нам нужен один день дикой мести. Беспричинное убийство за беспричинное убийство. Насилие за насилие. Грабеж за грабеж. Невинных за невинных. И только после того, как мы очистимся от гноя, от гангрены, от кошмарного бессилия, — только тогда мы возвратимся, очищенные и умиротворенные, на свое место в человеческом обществе. Тогда мы сможем забыть... Будет еще у нас собственное государство, мы захотим иметь друзей, потому что, разумеется, будут у нас и враги. Как сможем мы стать свободными людьми, как сможем хладнокровно выбирать себе друзей и союзников, не пройдя сначала излечения местью?... Скажи ты, скажи мне, Тамари, когда придут наши дети, когда придут те люди, от имени которых, якобы, ты требуешь, чтобы мы вышли сегодня на этот опознавательный смотр, — когда они придут и спросят, как это могло случиться, что мы сидели здесь и не отомстили, что ты скажешь им в ответ? Что? Что ты сможешь им сказать?

Магической силой выворачивали нас слова Гилеади наизнанку, пронизывая наши тела, словно порывы ветра в темноте. Гилеади заполнил весь склад ужасом; мы знали, что против него невозможно устоять, да и не желали. Этот ужас был сладким и пьянящим, из тех, которым положено длиться целую вечность, потому

¹ Амалек — первые враги, с которыми Израиль столкнулся после Исхода из Египта. Слово "амалек" стало именем нарицательным, служившим для обозначения злейших врагов еврейского народа.

что уже распалась оболочка, скрывавшая от нас предстоящее. Так и есть, все точно в этих страшных словах, и ни при чем тут никакие расчеты, — такова уж задача, которая на нас возложена. И как это мы могли минуту назад вообразить, что сведем концы с концами в этом вопросе?

Гилеади уже не говорил, но продолжал стоять, сильно побледневший, прислонясь спиной к стене. Все молчали, и Тамари тоже стоял, не говоря ни слова, на прежнем месте, словно наедине с собой. Казалось, что у него нет другого выхода, кроме как выйти со склада, отправиться к майору Сандерсу и сообщить о поражении.

Но не тут-то было. Не поворачиваясь к Гилеади, он осторожно заговорил:

— Что я скажу нашим детям?... Не знаю. Я не знаю, удовлетворят ли их те ответы, которые даю я сейчас самому себе. Но себе-то я ответил. Я думаю... я думаю, что у меня есть ответы...

— Не надо много. Один. Один ответ на один вопрос, который зададут когда-нибудь: как это случилось, что мы сидели здесь тихо-спокойно и не мстили?

— У меня есть один ответ, деловой...

— Им понадобится другой, нравственный.

— Есть у меня и нравственный ответ, сугобо личный, но у нас сейчас просто нет времени... Товарищи, у нас осталось меньше, чем два часа, и мы обязаны принять решение до тех пор. Мой ответ...

— Это нас не касается.

— Ги-ле-а-ди! — этот вопль Тамари просто невозможно описать. Словно все стоны, которые он прятал в себе десятки лет, стараясь дружно жить с людьми, трудиться на благо других, быть всем примером, — разом вырвались из него. На лбу и шее вздулись вены.

— Тебя не касается. Но для тех, кто остался в живых,

от Берген-Бельзена до Освенцима, — это все. В настоящий момент это все. Они ждут нас, и мы доберемся до них. Мы найдем их, куда бы они ни забрели, везде, где остался хотя бы один человек. Мы доберемся до лагерей, до монастырей — за кудыкины горы. Не будет такой преграды, сквозь которую мы не прорвемся. Может, вам, товарищи, это и не известно, но уже сейчас наши люди бродят из страны в страну, не брезгуя никакими средствами, чтобы добраться до евреев. Если будет в том необходимость, мы выйдем не только на этот смотр, — мы подделаем проездные документы, мы будем давать взятки, хитрить, красть, преступим все заветы Торы, — и все это для того, чтобы спасти еще одного еврея, оставшегося в живых. Пока что мне достаточно такого ответа... Ты спрашиваешь меня, что я скажу нашим детям? А ты что скажешь нашим детям, если после нескольких убийств, грабежей, насилий и поджогов у нас отнимут оружие, вышвырнут отсюда куда подальше, поспешат отделаться от нас, — что ты ответишь, если спросят тебя, как могло случиться такое, что стояли мы здесь, тысячи парней, сотни машин, — и не сумели использовать этот единственный шанс, который предоставила нам история, а... а занимались... театральным позерством...

— Нет у тебя права так говорить, Тамари.

Это Зоненшейн, о присутствии которого — где-то там, у выхода — мы снова позабыли. Неужели он единомышленник Гилеади?

— Ну, вот что: таково мое глубокое убеждение. Человек шел по лесу, банда убийц зарезала его отца и мать; что он станет делать — бросит в беде оставшихся в живых и погонится за женой и дочерью одного из убийц, или постарается прежде спасти своих? Прежде всего *спасет*.

— Вот что, Тамари, не так это все, и наше решение

не должно основываться на этом. — Он вынул изо рта трубку и приблизился к Тамари. Поскольку в его красивом лице не проглядывалась буря чувств — сугубо личных, как у двоих других — его слова были с самого начала восприняты, как некое обобщение. Его приятный, уравновешенный голос и чешское ударение на последний слог тоже способствовали тому, чтобы ощутить некоторую передышку в споре. — Нельзя с такой легкостью называть крик души театральной позой, особенно в условиях нашей хронической слабости. Ты говоришь, человек шел по лесу... это верно, но может ли человек, который пережил все это, убежать просто так, вместе с оставшимися в живых членами семьи, удрать, без того, чтобы до конца своих дней не мучиться страшным сознанием собственного бессилия, импотенции? Ты с этим согласен, Тамари?...

— Так что же ты предлагаешь? — вопил Тамари. Он уже не говорил, а только кричал ломающимся голосом. — Встань и скажи, что ты предлагаешь?... Время-то бежит, а дело горит на наших глазах... Что ты предлагаешь?... Не быть импотентами, превратиться вдруг в империю, чтобы и мы разок прошлись с триумфом, чтобы и мы удостоились права на месть? Отлично, примем сейчас решение стать империей... Ты говоришь, импотенты?... Этого и добивается Гилеади — убедиться на собственном опыте в нашей импотенции. Я не согласен с этим. Ни в коем случае. Вы еще увидите, какую пользу сможем мы принести... Преследуемые? Да. Слабые? Да. Вынужденные всегда ходить по горло в крови? Точно... Так что же вы хотите сейчас доказать тут? Иди, стань русским, Зоненшейн, стань американцем, тогда будет тебе и победа, и отмщение вместо страха перед импотенцией...

И вдруг, под конец этой речи мы услышали, как его голос рассыпается, словно кувшин на черепки. Он об-

рашался уже не к тем двоим, а ко всем нам, то есть к тем двоим из нас, что до сих пор не признались, говорил, уже с трудом сдерживая рыдания:

— Товарищи, я хочу, чтобы вы поняли, что брошено на чашу весов, что зависит от каждого из нас... Товарищи, встаньте и скажите нам, кто вы, встаньте и позвольте мне поговорить с вами по душам, убедить вас... это не может кончиться просто так, не может...

Тишина хватала за горло, непроницаемая, словно стенки гранаты. Никто не двигался с места, никто не раскрывал рта. О чем это все здесь кричали, если те двое не признаются, молча перетягивая чашу весов на свою сторону? Чего они хотят? Чтобы мы вышли на смотр и их опознали те женщины? А может, наоборот, заставить нас оказать полиции организованное сопротивление?...

— Товарищи, вы не смеете молчать... нет у вас никакого права... Встаньте и рвите меня на части, плюйте в меня — мне все равно... Только не сидите молча...

— Брось, Тамари, это уже что-то нездоровое, — вспыхнул вдруг Лэйзи.

— Верно, верно, — поднялся со своего места Коган, ротный писарь, странным образом крепившийся до последней минуты. Где он был до сих пор? — Здесь говорились бурные слова, которые никто из нас не сможет позабыть, о которых, возможно, мы и не размышляли до сих пор... Но в основу этого собрания положено аксиоматическое предположение, что двое подозреваемых сидят здесь, на складе... А может быть, они вовсе и не упрямятся, просто нет их здесь...

— Так и есть, — закричал Остерайхер. — Я с самого начала сказал, что это или грабители, или вервульфы...

— Вот что я скажу тебе, Тамари, — упорствовал Лэйзи, даже при возмущении в его голосе слышались нотки дремоты. — Есть что-то нездоровое в этой дис-

куссии о предмете, которого, может быть, вообще не существует. Очень это вы по-еврейски — спорите, рассуждаете, просто так — открыть окно или нет, когда вообще нет никакого окна...

— К чертовой бабушке, выйдем на смотр и дело с концом, — потянулся Аруси. — Я уже прилип к бетону.

— Смотр этим шлюхам, — крикнул Покер, — будет только в постели.

— Да какая уж разница, давайте закругляться...

— Вот им чего, а не на смотре стоять, — Покер сопровождал свои доводы соответствующим жестом.

— Мы все немножечко того, — определил незнакомый голос сзади.

— И впрямь, того, — услышал я вдруг голос Бродского. Он все еще стоял у стены, лицом к выходу, словно испытывая отвращение ко всему сказанному здесь. Но теперь он резким движением сорвал с себя берет и протиснулся между сидящими поблизости. — Психи, независимо от того, было там что-нибудь или не было. О какой мести вы тут плачете? Несколько лир стащить, это, что ли, месть?... Вы еще о русских говорите, и ты тоже, Гилеади?... Я скажу вам, что бы с ними русские сделали — они бы *вот что* с ними сделали, — он скользнул по своему горлу вытянутыми пальцами, словно ножом. — Тогда бы некому было в полицию бежать, не было бы свидетелей, и не нужно было бы стоять здесь три часа и трепаться о мести, мать их... Но это же евреи — говорят себе. И везде одно и то же, Польша или Палестина, армия-не-армия — говорят, говорят... Вот! — решительным жестом он сунул руку в карман, вытащил кошелек, достал оттуда несколько итальянских монет и швырнул их Тамари. — Вот, возьми эти монетки, дай их тем шлюхам, и хватит. Хватит о мести болтать.

И не договорив, направился к выходу.

— Ты не выйдешь отсюда, Бродский. Никто отсюда не выйдет. Никто не выйдет до тех пор, пока мы не кончим...

Тамари был сейчас в таком состоянии, в котором никто его не видел — ни до того, ни после. Сдержанные всхлипывания перешли в продолжительные, нескрываемые, как у плакальщиц, рыдания. Точно не в своем уме, бросился он к выходу и стал там, не давая Бродскому пройти.

— Товарищи, — рыдал Тамари, умоляя сквозь слезы, глотая слюну. — Мы здесь с единственной целью... Спасти евреев... спасти евреев...

На него невозможно было смотреть, но и отвести глаза было тоже невозможно. Он бил себя кулаками в грудь, царапал себе щеки и выл:

— Вы-ы, двое, нет у вас никакого права... Кто вы?... Как вы смеее бросать в беде этих людей!... Кто вы?... Вы, двое, нет у вас никакого права...

5

Так мы и оставались на складе, не двигаясь ни туда, ни сюда, не зная, что же будет дальше. Меньше часа до завтра, обедать мы не обедали, но и к единому мнению не пришли. Позиция Тамари — "только через мой труп" — была безнадежно смешной, но вместе с тем никто не смел оттеснить его от двери и пройти. Было ясно и то, что твердость, проявленная Тамари, целеустремленность его помешательства, подрывала наши силы. Он — единое целое, а мы что? Если встанут сейчас эти двое, признаются во всем и уступят место присланным из другого батальона, — все мы пойдем на смотр, не устоим против Тамари.

Мы остались внутри склада, сбитые с толку, смолкшие при виде пожилого мужчины, стоящего в дверях и рыдающего; поедая друг друга глазами, семьдесят человек, каждый из которых — в принципе — на подозрении в связи со вчерашним. Исключая нас пятерых, вернувшихся утром из Клагенфурта.

Исключая Тамари.

Исключая Зоненшейна.

Исключая Гилеади...

По сути, с чего это исключать Гилеади из числа подозреваемых? Того, кто развивал с таким твердым убеждением мысль о нападении на невиновных, — почему же это не он сам? Если бы это был он — не стал бы здесь распинаться. Значит, это был тот, кто молчал все время? Кто? Гершлер, например, сидящий позади меня, ни разу не раскрывший рта? Смешно и думать о Гершлере в такой ситуации — валящем женщину на землю, задирающем ей платье против ее воли... Да как же это?!

Может, Коган, ротный писарь, в прошлом иерусалимский учитель, получивший освобождение от походов, строевых упражнений и прочих "физических нагрузок", так как он страдает плоскостопием...

Может быть, Бар-Йохай, Береле, сын известного Бар-Йохая, из руководителей "Ха-Шомер"¹. Он-то может. Напоминает немножко легенды о своем отце. Кость у него тонка, но когда он стоит в коротких штанах и всем напоказ играет мускулами живота, есть на что посмотреть. А его грозное молчание? — Как-то ночью он напугал Аншеля-колбаску, гоняя его по лагерю с поднятыми руками, чтобы повеселить

¹ "Ха-Шомер" — организация по охране еврейских поселений в Палестине, созданная в 1909 году.

компанию, — так вот винтовкой со штыком и гонял. Береле-то может.

Может, Аншель-колбаска? Хотел бы я его видеть среди этих двух женщин... Прозвали его Аншелем-колбаской за то, что в течение всей своей службы в армии он не ел из общего котла, а всегда только то, что варил себе сам. Он получал раз в неделю целую колбасу и каждый день отрезал от нее по несколько кусков. Это личность, улыбался я про себя...

Штикфляйш, то есть Фляйшчик. Эта скотина на все способна, но зато если бы он нашел там на кухне свиную ножку — предпочел бы ее и ножкам мамы, и ножкам дочери.

Может быть, он да Аруси — и есть те двое? С чем один не справился, то с радостью доделал второй. Но кто из них говорил на чистом немецком?...

Вдруг до меня дошло, каким страшным делом я занимаюсь. Что же я делаю? Сортирую подозреваемых, не считаясь с побуждениями, о которых говорил Гилеади. И поэтому, когда я рисую в своем воображении то, что скорее всего в самом деле произошло вчера, я делю батальон на две части: на тех, кого я уважаю, ценю, тех, кто является в моих глазах сливками нашей роты — и на тех, кого я не принимаю во внимание, презираю их или считаю их дрянью. И про этих я бы повесил...

Маленький Остерайхер, например, дерганый, слабый, несколько вороватый, порождение войны. Этот — может.

Но Боби, например, великолепный Боби, стоявший все это время у входа, не двигаясь, не говоря ни слова, — как можно себе представить его, набросившимся на мать с дочерью...

А не наоборот ли все, так, чтобы это событие выходило за пределы наших натур, за пределы того, на что

мы способны во всякой другой ситуации? Это было бы то, чего мы хотим достичь посредством мести, а не...

А не что? Что тут может быть еще?

Да не хочу я думать обо всем этом! Я хочу, чтобы это ужасное сидение на складе кончилось бы в конце концов.

Не так бежали тогда мои мысли, не выстроившись в ровный ряд, а все разом, каруселью возникающих в тумане лиц. Тамари стоял в дверях — весь воплощение мольбы; старший сержант Изаксон снова появился и исчез. Время было на взлете, еще немного, и будет упущена последняя возможность убедить кого бы то ни было. Победят молчащие.

— Нет у вас права, — кричал Тамари надорванным голосом, словно рыдая над покойником. — Мы не паны, которые отправились искать себе славы... несчастный народ, который хочет выжить...

— Одну минуточку, — Зоненшейн вдруг повысил голос, подняв свою трубку.

— Не начинай теперь все сначала, — зарычал Покер и тоже встал на ноги. — Все и так известно.

— И все-таки я чувствую необходимость, то есть... Послушай-ка, Покер... Я не вправе стоять в стороне, не принимая на себя полной ответственности за решение, которое будет принято. — Сейчас он говорил тихим голосом, спокойно, словно беседуя с Покером один на один. Но постепенно число слушавших его росло. — Мне кажется, что есть здесь один вопрос, к которому и я поначалу не знал, как относиться, и именно он не дает возможности многим из нас принять то или иное решение... Есть вот среди нас ребята, полагающие, что вопрос этот в том, выйдем ли мы из этого положения победителями или побежденными. Это большая ошибка. Мне кажется — скажу даже, что я убежден — мы выйдем побежденными и в том, и в другом случае.

Этот выбор вообще не является выбором... Гилеади!... — он повернул голову к той стене, прислонившись к которой стоял Гилеади с того момента, когда закончил свою взволнованную речь, нагибаясь иногда, чтобы вытянуть из охапки соломинку и пожевать. — Это дело ведь еще страшнее, чем ты его описал, и нет у нас никакого выхода из трагедийного положения, в котором мы сейчас находимся. Вообще никакого. Тамари слегка спутал важный вопрос, стоящий перед нами, — ответственность перед выжившими со своей нравственной позицией в вопросе о мести вообще, — а это на самом деле две совершенно разные вещи. По принципиальному же вопросу я разделяю его мнение, потому что мы — действительно заветная мечта, может быть даже — последняя мечта спасенных из ада. Если у меня и были сомнения, то наша вчерашняя встреча с еврейскими портными из Венгрии начисто их рассеяла. Тот, кто читал рассказы о Давиде Реубени¹, например, поймет, что я здесь подразумеваю. Они связывают свое избавление с еврейской армией, идущей из Италии, и если подтвердятся опасения Тамари, и этот случай — вместе с другими — приведет к тому, что нас вышвырнут отсюда, кто знает, что может случиться... Но это не выход. Правота Тамари несколько не уменьшает страшной правоты твоих, Гилеади, слов. — Тут он повернулся к выходу, туда, где стоял Тамари, растирая лицо и растрепанные волосы большим платком цвета хаки. — Ты слышишь меня, Тамари? Вообще-то ты прав был в том, на что намекал в связи со своей "нравственной позицией", о которой ты не хотел говорить. Худо нам будет, если наша месть сможет осуществиться только

¹ Давид Реубени — бунтарь и мечтатель из среды еврейской средневековой общины, живший в 16 веке; возбудил мессиянское движение.

тогда, когда мы опустимся до такой степени, что будем думать и действовать так, словно мы сами нацисты. В этом будет не только ирония, но и проклятие истории. Но это лишь внешняя сторона дела. Мое же возражение: если бы мы сейчас — именно сейчас — приняли на себя учение назареянина и провозгласили бы, что наша слабость — это наша сила, это действительно сделало бы нас сильными. В том смысле, конечно, что и таким образом стали бы мы жертвой проклятия истории. Но разве мы такие? Разве не руководит нами — хотя бы в том, что мы пошли добровольцами — совершенно противоположная точка зрения: что нам надоело быть слабыми и преследуемыми, что нам помогут только собственные силы?... Раз так, Тамари, было бы противоестественно строить из себя христиан. Такая ложь помешает нам выстоять в грядущих испытаниях... Трагедия — возможно, но не ложь. Мы удерживаем себя от мести только потому, что мы полны угнетающего чувства — мы находимся здесь не в качестве победителей, а в качестве побежденных, и поэтому — и только поэтому — не стоит нам кичиться нашими принципами, но сделать все, что можно сделать в нашем положении. Однако делать это будем, Тамари, с разорванным сердцем, зная, что нам никогда не забыть несвершенной мести, что мы никогда не станем спокойными и умиротворенными... В этом ты прав, Гилеади, но ошибаешься, как мне кажется, полагая, что у нас есть какой-то выбор. Нет выбора. Есть трагедия... Я... я не могу представить себе смерть в качестве посланца жизни, скверну — распорядителем чистоты. Такова культурная традиция, в которой я воспитывался, которой я следовал всю свою жизнь. Но то, что я скажу сейчас, будет прямым противоречием сказанному раньше: с тех пор, как насилие стало божеством целого мира, который и сейчас полагает, что был побе-

жден не потому, что справедливость была не на его стороне, а потому, что на его стороне не оказалось достаточного количества силы — и вчера, в Клагенфурте сказал мне человек, принявший меня за англичанина, что большой ошибкой с их стороны было то, что они не пошли вместе *с нами* громить Россию — это единственное раскаяние, слетающее с их уст, означает, что пришло время, когда насилие во имя насилия служит справедливости. Верно ведь то, что ты, Гилеади, сказал о русских: после того, как они доказали тем, а еще больше себе самим, что их справедливость — это к тому же еще и сила, они могли вложить меч в ножны, позволили себе все забыть... Но нам, Тамари, нам суждено носить эти воспоминания в себе, потому что мы не смогли отомстить. Это трагедия — понимаете ли вы, товарищи, почему?... Это трагедия, потому что худо нам будет, если мы откажемся от мести, и всемеро горше, если мы не доберемся до евреев, для которых мы являемся последней надеждой. Мы не отделаемся от этого ни сейчас и ни в будущем. Наши дети спросят нас, а мы опустим глаза. Да, так вот и будет.

Мы были усталыми, голодными, и уже не было сил на бесконечные разговоры. Но несмотря на это, мы продолжали тихо слушать, надеясь, что эта речь поможет найти какой-то выход, пусть даже и не знали мы — какой.

— У нас нет выхода, товарищи. Надо выйти на смотр. Но мы должны знать, в чем смысл этого события. Даже тот, кто не понимает этого сейчас, через много дней уяснит себе сущность этого ярма, которое мы вновь взвалили на себя. Мы не удостоимся благословения дают забвение и умиротворенность. Нас всегда будет грызть несвершенная месть, неугасимая ненависть. В этом ты прав, Гилеади. Но выбора-то у нас нет.

— Выходи на "парад"!

Старший сержант Изаксон хрипел, словно после сна. Но все расслышали; по роте прошел шепоток. Тридцать-пять. Четыре часа прошло — и никакого толку. Напрасно говорились речи, каких мы никогда не слышали, да и не услышим. Напрасно разрывались сердца. Сейчас все на том же месте, что и вначале — не знаем, слушаться или нет. Но так или иначе — еще чуть-чуть, и мы узнаем, кто были эти двое.

— Выходи! Шевелись там, раз-два.

6

Старший сержант повышает голос, и солдаты ежатся. Дается команда выйти — ноги сами начинают двигаться. Команда строиться — мы еще колеблемся, волоча башмаки, поглядывая друг на друга, но двигаясь в сторону плаца, что напротив управления батальона. Если бы Гилеади закричал сейчас, чтобы мы не шли на смотр, если бы он сам отказался идти, если бы нас остановил какой-нибудь неожиданный поворот событий... однако Гилеади тащился вместе с другими ребятами, прижатыми друг к другу, волочащимися один за другим — длинной цепочкой вагонов, которым паровоз пробивает дорогу.

— Еще быстрее... Эй, ты, ждешь персонального приказа, или что? — шевели задницей... Шевелись... Шифер, кончай вертеться, как сифилитик. Вперед, все-все... оп-ля! оп-ля! Гершлер, бегом!...

Пересохшее горло Изаксона очистилось от хрипа, и его голос вонзался в нас с полной силой. И уже не оставалось места для мыслей, даже если они и были раньше, и даже если бы мы не утомились за четыре часа, проведенные на складе, так что не было нам ни до чего дела, только бы все это кончилось — и поскорее, да не

оставило бы в нас никаких воспоминаний.

— Гершлер, стой, тебе говорят!... Так-и-так, иди сюда, а то твоя мамаша пожалеет, что родила тебя, слышь, Гершлер!...

Шедшие остановились, наткнувшись друг на друга, и повернулись к тому месту, к которому был обращен голос Изакона. Мы увидели Гершлера, бегущего, закрыв лицо руками, с подкосившимися ногами, направляющегося к спальням. И в то же время уголком глаза мы видели Тамари, спешащего к Изакону, шепчущего ему что-то — тот внезапно успокаивается, откидывает голову назад, словно не веря, снимает фуражку и снова надевает ее на манер военной полиции, на самый лоб, так что козырек закрывает глаза и половину носа. Он не объяснял, что там шептал ему Тамари, но его молчание и тот факт, что Гершлер продолжал бежать, пока не скрылся в дверях здания, сделали все ясным.

— Гершлер? — пробежал шепот, словно ток, от одного к другому. — Этот за...ный чеховенгр? Он?

В ту минуту, когда рота столпилась, спутавшись в клубок — шепчущая, ахающая от удивления, потому что все закончилось наилучшим образом, сконфуженная тем, что именно Гершлер, что это был именно он, а четыре часа — как в рот воды набрал... а второй, — если есть первый, есть и второй, — так кто же он?

И не успели мы свыкнуться с этим потрясающим, неожиданным открытием, с его претворением в жизнь, как уже оказались в лапах Изакона, двигаясь, словно дрессированные зверюшки, подхлестываемые его окриками:

— Внимание!... Капрал Куперберг, крайний правый!... Роте разбиться на тройки — направо равняйся!... Отставить!... С этой минуты вы будете вести себя, как солдаты. Ни звука! Наговорились на сегодня. Роте под-

тянуться... Зоненшейн, это и тебя касается. Армия — это вам не синагога. Роте разбиться на тройки — равняйся!... Раз-два, раз-два!...

Много лет прошло с тех пор, но этот день прицепился ко мне, словно аллергия. Долгими годами отеснен он и забыт, как будто его и вовсе не было. Но вдруг, без предупреждения, он сваливается на меня, будто не вышел его срок, будто я все еще стою там, во дворе казармы на склоне горы — альпийские хребты круты, небеса вычищены, и легкий северный ветер гонит черное облако над шапкой леса, что лежит перед нами, а вслед за облаком бежит по земле полоса тени, наводящая полутьму на лес, на двор, на роту, вышедшую на смотр. И когда так вот внезапно этот день обрушивается на меня, я чувствую его свежей царапиной стыда.

Как это случилось, что мы все-таки вышли на этот смотр и стояли там? Ни последовательность событий того дня, ни продолжительная дискуссия, в которой мы не столько участвовали, сколько просто слушали, — не это удивляет, непонятно, как перешли мы единым скачком от глубокого возмущения к натренированной армейской дисциплинированности? Снова и снова я пытаюсь тщательно восстановить в памяти этот скачок, и не понимаю — что с нами стряслось. Иногда мне кажется, что мы прекрасно понимали — на что идем, и что этот подкожный зуд терзает меня с того самого дня, а иногда я убеждаюсь в том, что не понимали мы тех слов, которые сказал, например, Зоненшейн, и только спустя много лет обернулся этот опознавательный смотр в то, что сидит теперь в моем сердце — в несмываемый позор.

Единым духом мы выстроились в тройки, смирновольно-смирно, направо — равняйся, вперед — стенкой, и вот готов этот строй, который уже невозможно распустить. Военная полиция еще не приехала. Майор Сан-

дерс и лейтенант Фройнд-Поцовский стоят на бетонном плацу перед управлением, а мы терпеливо ждем в положении "вольно". Глаза бегают слева направо, разыскивая того, кто пришел вместо Гершлера, стараясь распознать, не отсутствует ли еще кто, и есть ли в строю еще какие-нибудь незнакомые лица.

Боби, — долетел до моего уха шепоток, один раз, другой. Все вертят головами, ищут. Чуть влево от меня — мои глаза натыкаются на Кличевского из полкового управления. Это один из тех двоих. А Боби — верно, не видно его в строю. На меня нападает радостное чувство, словно это я сам принимал участие во вчерашнем. До чего же изыщен этот выход из положения, совсем не так я воспринимал его, когда пытался угадать, кто они — эти двое. Мужественный, великолепный Боби. Но сейчас он скрылся потихоньку, так, чтобы мы не почувствовали, без деклараций и без исповедей. Как можно было представить себе, что голова Боби полна таких вот мыслей, да и кто знает — что это были за мысли. И не узнаем никогда. И в этот раз, как всегда, — замолчит, и никто не узнает, что толкнуло его, и почему именно в этот дом, на следующий же день после прибытия в городок. Что всколыхнуло вдруг его сердце? А рассказ этих женщин — насколько он правдив? — что он собирался сделать, когда ворвался в их дом и зачем это он брал деньги и всякие ценности? Никогда не узнаем. Так же, как никогда он не расскажет, зачем он взял с собой именно Гершлера — у меня не было и тени сомнения в том, что Боби был инициатором и руководителем, а Гершлера он просто взял с собой, и не более. Это не только удивительно, это в известном смысле и обидно. Я уже не говорю о себе — с чего это вдруг я? — но Лэйзи, как это он обошел Лэйзи? Да кто это вообще такой — Гершлер: размазня, ешиботник, до которого никому дела нет —

есть ли он или делся куда, и что это Боби в нем нашел, именно в нем?...

Мысли остановились. Два джипа военной полиции въехали во двор, вздымая белую пыль и тормозя у входа в управление батальона, скользнув по щебню. Из первого джипа выскочили офицер и два старших ефрейтора, а из второго вышли сержант и две женщины. Полицейские выглядели, как обычно, в куртках, в белых ремнях со сверкающими пряжками. Мы уставились на женщин, которые, едва спустившись с джипа, отвернулись к стене конторского здания. Мать в черном платье, в черных чулках, высокая, костлявая женщина, большую часть головы ее покрывал чепец. Дочь выглядела несколько ниже матери, полнее ее, и в ее осанке было нечто приятное, очень женственное. Среди ее каштановых волос пряталось несколько льняных локонов. Платье тесно облегалo плотное тело — и поясницу, и высокую грудь. Обе стояли, не шевелясь, наклонив головы к стене, словно это их собираются опознавать.

В это время стройный офицер уже приблизился к майору Сандерсу и отдал ему честь по полной форме, на манер старшего сержанта Мак-Грегора. Майор приподнял два пальца к подбородку, словно говоря: нам-то волноваться нечего, а тебе вот следовало бы помнить, кто из нас майор. Офицер наклонился к майору и что-то сказал ему. Тот повернулся к Фройнд-Почовскому, стоявшему несколько позади, и шепнул ему несколько слов, после чего Фройнд-Почовский бодро зашевелил тяжелыми ляжками, направляясь к старшему сержанту.

— Райт, сэръ! — ответил Изаксон во весь голос на шепот лейтенанта, развернулся на пятке, сунул два пальца в карман плаща, вытащил оттуда лист бумаги — может, тот же самый лист, по которому Боби выкри-

кивал имена — аккуратно застегнул карман, вытянул подбородок и заорал — чтобы произвести должное впечатление на наших гостей — протяжное "Равняйся!" В противоположность Боби, Изаксон выкрикивал каждый слог в полный голос и с ударением, и всякий, чье имя было произнесено, вытягивался по стойке "смирно", отвечая "здесь, сэр!" и возвращаясь в несколько напряженное "вольно". К чему весь этот театр, шепнул позади меня Покер. Ради каких-то двух шлюх. Но и он, и все мы откликались на свои имена — дисциплинированные, послушные, готовые к дознанию. Только две пустяковые шуточки вызвали в нас незаметную улыбку.

— Гершлер!

— Здесь, сэр, — вытянулся Кличевский и вернулся в прежнюю позу.

— Капрал Роберт Майнц!

— Здесь, сэр, — откликнулся резкий голос во главе одного из рядов. Я поглядел в ту сторону. Это Узиэль из транспортного отдела полка. Из наших. Этот Тамари — ревел, в пыли валялся, но все детали обдумал и на своем настоял. Стоим-таки.

— Рота, на три шага расступись — три шага, марш! — мы расступились.

Офицер военной полиции обратился к женщинам, предлагая им следовать за ним. Они подошли к замыкающему первый ряд и оттуда двинулись вдоль рядов: впереди офицер с двумя женщинами, а позади Фройнд-Поцовский, Изаксон и сержант военной полиции. Майор Сандерс остался на прежнем месте, непричастный ко всему происходящему.

Мы были выстроены в три длинных ряда; женщины шли не спеша, останавливаясь около каждого солдата и долго вглядываясь в него, пытаясь узнать в нем одного из тех двоих. Медленно-медленно. Четыре часа

дня. Справа доносится легкий ветерок, мы стоим лицом к солнцу. Черное облако, вышедшее из-за горы, тянет за собой шлейф тени во весь двор. Колочий холодок пробегает по коже. Женщины идут медленно, от солдата к солдату. А мы все подвергаемся опознанию — молчаливые, дисциплинированные, поглядывающие на перевал в далеких горах, на вершины, на этих женщин. Сейчас они стоят напротив меня. Мать — высокая женщина, лицо которой состоит из квадратных костей. Кожа была когда-то очень белой, но теперь — словно натянули ее на кости для просушки. Каменное лицо, совсем не испуганные глаза. Когда она прошла дальше, я забыл цвет ее глаз, только то и запомнил, что в глазах ее не было страха, а лишь твердое желание найти виновных. Батальон не пугал ее, и она вся была сосредоточена на поисках лиц, запечатленных в ее памяти. Дочь — боялась. Вблизи она уже не выглядела красивой — конечности чересчур отекавшие, обильные груди свисают к животу. Лицо тоже было слишком полным, и так как она опустила голову, двойной подбородок стал еще толще. Она вообще не смотрела на нас, и только тогда, когда мать бросала на нее взгляд и сердито тянула за платье, она поднимала голову и начинала нас разглядывать. У нее были такие глаза, какими мы обычно представляем себе глаза северянок — точно озеро в Альпах.

Медленно-медленно они прошли вдоль двух первых рядов и уже подходили к концу третьего ряда. Сзади слышался шепот, и я обернулся. Женщина вернулась к началу третьего ряда и стояла напротив Лэйзи. Она долго глядела на него, но в конце концов мотнула головой, протянула руки, словно говоря: очень жаль, но это не он — и вышла из пространства между рядами. Она стала в стороне — высокая, властная — ожидая, что скажет ей офицер полиции. Тот подошел к ней, было

видно, что он предложил ей снова пройтись вдоль рядов — вдруг-таки вспомнит. На секунду она застыла, поглядывая на нас со стороны, словно колеблясь.

И вдруг решила. Резким кивком приказала дочери следовать за ней и широким шагом направилась к машине, ни разу не глянув назад. Она догадывается, пришла мне в голову мысль, она догадывается, что тех двоих, которых она видела вчера, нет сейчас в строю, и она хочет с честью закончить опознание. Ей хочется не уронить лица напоследок. Сволочь. Мы надули ее, и плевать ей на все смотры.

Не дожидаясь полицейских, она вскарабкалась на заднее сидение джипа, сначала она, а потом дочь. Офицер подошел к майору Сандерсу, до сих пор не двинувшемуся с места, пошептался с ним, пожал руку ему и Фройнд-Почовскому, отдал по всей форме честь и направился к джипу. Моторы уже тарахтели. Ефрейторы и сержант сидели на своих местах. Офицер потоптался на месте и бухнулся на сидение, так, что одна нога легла на борт машины. Колеса вышвырнули из-под себя щебень, вслед джипам поднялась белая пыль. Машины развернулись, гремя моторами, и исчезли в воротах.

Все-то дело продолжалось не более двадцати минут.

Когда грохот джипов ослаб, превратившись в далекое жужжание, мы увидели, что майор улыбается нам. Старший сержант Изаксон глянул на него, и майор подал ему знак озорным движением пальцев, чтобы отправлял нас ко всем чертям. Повернулся и поспешил исчезнуть в управлении батальона.

Его поведение повлияло и на старшего сержанта. Тот стукнул себя средним пальцем по козырьку, так что фуражка откинулась назад, скривил в улыбке губы, напоминающие кожу ящерицы, и выпалил:

— О'кей. Ребятюшки, бардак окончен... Минутку! —

закричал он вдруг, когда ряды задвигались. — Через час — обедаем. Двойную порцию. Ну, по домам...

7

Вот и все, что происходило в тот день. Если мы о чем и говорили, умней не стали. Боби и Гершлера послали в тот вечер в Милан — в увольнительную. Тамари отправился заниматься своими гешефтами. Не прошло и недели, как на наше место была прислана другая рота. И мы сами, по своей же воле, постарались не вспоминать о тех событиях.

И когда я вновь оглядываюсь на те поступки, которые я совершал после этого дня, мне кажется, что я просто не думал о том — может, просто не понимал, по словам Зоненшейна — что этот смотр я не смогу забыть. Как бы я ни старался.

ВОЗМУЖАНИЕ

1

Вернувшись, мы расположились в том же самом доме железнодорожников, в тех же комнатах над подвалом. Разве что на сей раз Покер действовал резво и дальновидно: первым ворвался в здание, захватил самую большую комнату для себя и других "напарников" из роты, отправился пошляться по окрестностям и не возвращался до тех пор, пока не нашел в одном из оставленных домов самый настоящий стол, взвалил его себе на голову и притащил в комнату, успев до наступления вечера слямзить лампочку в какой-то конторе, и приготовился к первой "молитве". Должен же быть порядок, — заявил он. Здесь мы проторчим довольно долго, так пусть хоть играть будет удобно.

Так и все мы. Мы знали, что теперь нам нечем будет заполнить время, и стали передвигаться как-то тяжело и осторожно, словно расхаживая по воде, стараясь растянуть наши немногочисленные занятия на как можно более долгий срок. Мы выходили задолго до завтрака, лениво двигались в направлении столовой, терпеливо дожидались раздачи; ели с удовольствием, трепались, поджидали один другого и направлялись утомленным строем в обратный путь — но несмотря на все эти ухищрения, долгим июньским дням не было конца,

и вечера наступали с опозданием. Мы не занимались ни охраной, ни строевыми упражнениями; курсы, организованные в полку, еще не возобновили свою деятельность — и мы просто слонялись по двору, как голодные курицы, сидели на кромке шоссе, поглядывали на проезжающие колонны, на прибывший из-за границы поезд; играли в лапту, наблюдали, как наш сосед колет дрова и складывает их в подвал, готовясь к далекой зиме в этот вечерний час. Когда же тьма в конце концов заполняла землю, нам удавалось избавиться от грустных мыслей, мы убегали к Покеру в комнату, к электрическому свету, к болтовне, сопровождающей игру, к возможности усестся на подоконник, держа книгу и поглядывая на картежников, на звезды, свет которых становится все сильнее с наступлением ночи, прислушиваясь к звукам впустую уходящего времени.

Итак, на третий день после нашего возвращения я сидел на подоконнике, прислонясь спиной к одному косяку и упершись ботинками в другой, заставляя себя прочесть один из зоненштейновских журналов на английском языке, поглядывая в то же время на Покера, раздающего угрозы своим противникам, предупреждающего их о предстоящей катастрофе, рыдающего над отвратительными картами, которые пришли к нему на сей раз; вглядываясь в Штикфляйша, притащившего с кухни жестянку бутербродов с вареньем, в которые он вонзает широко распахнутые клыки, пожирая по полбутерброда за раз; гляжу на Бродского, который тихо посвистывает и выпускает ругательства, словно кольца дыма; на Аруси, вынужденного сидеть вместе с нами и сходить с ума, потому что понапрасну пропадает его накрахмаленный костюмчик и волнистая прическа, и все это из-за прачки, которая нашла себе другого за время нашего отсутствия, — сижу и размышляю о бессмысленной житухе, к которой я пригово-

рен и от которой я не в силах отделаться, решаю, что вечером — сегодня же вечером — я составлю прошение об-увольнении-по-семейным-обстоятельствам с приложением врачебного свидетельства, которое прибыло ко мне вместе с последним письмом из дома, принимаю решение и отказываюсь от него, решив сначала написать Ноге что-нибудь такое, чтобы она ответила со всей ясностью — что же там произошло; и пусть она не жалеет меня, а положит конец этому неожиданному молчанию, наступившему черт знает почему. Напишу. Обязательно напишу. Этим же вечером. Как же ты можешь так — целый месяц без единого слова живого? Даже больше — два месяца. Но допустим, допустим, что все-что я наговорил тебе — это самое страшное, что только может быть. Так полагается мне, по крайней мере, ответ. Пусть это будет обида, пусть возмущение — но чтоб все это было сказано открыто, смело, а не так, как ты делаешь, трусливо используя тот факт, что я не могу добраться до тебя; да, трусиха, потому что как же иначе объяснить это неожиданное исчезновение, начисто оторвавшее меня, словно я стек с твоего пальца растаявшей снежинкой. Нет, дорогая, я не дам тебе закончить все это так, обиженной вроде бы. Я напишу тебе, Нога. Сегодня вечером. Я заставлю тебя сказать правду. Да будет тебе известно: я не верю, что это могло так тронуть тебя, если бы я не задел чего-то уже вполне созревшего, так что достаточно было легкого прикосновения, чтобы оно раскачалось и рухнуло. Что верно, то верно, я дал тебе эту возможность, помог тебе освободиться от меня, и не очень уж ты ошибалась, Нога, когда у тебя создалось впечатление, что это я настаиваю на разрыве, испугавшись вечной привязанности к некой единственной точке. Есть в этом что-то, в моем стремлении прочь, в желании походить на тот сладкий лимон, который выращивался в нашем дворе:

только он прижился, молодой тонкоствольный саженец, как вонзают с четырех сторон в песчаную землю лопаты и отрезают тысячи тонких волосков, которые уже связывают его с этим местом, отрезают его от корней и несут; комок песчаной земли зажат в его корнях, завернутых во влажный мешок, а его уносят далеко, на новое испытание — дерево, которое и не думало, что сможет приносить плоды. Это верно и по отношению к тебе. Как я могу убежать от тебя, Нога? Как мячик на резинке, я ухожу, но чем дальше я ухожу, тем с большей силой тянет меня назад — к тебе. Я люблю тебя из-за самолюбия. Ты единственная, любившая во мне то, что не нашел во мне никто другой. С тобой я смею мечтать о горных вершинах. Без тебя я как этот вот сорняк — кто там помнит, как он называется, ну, ты конечно знаешь, что я имею в виду, — эти колючки, которыми был заполнен весь наш двор, и мы с папой жгли их в конце лета — не то репей, не то чертополох, не то колючка, не то терновник, а может просто ослиный корень — короче, кому это важно, Нога, на какие там проклятые колючки я похож. С тобою я — как наша зима, как это здешнее лето — зеленое, под цвет лучших надежд. Как мне убедить тебя, что ты для меня — совсем не то, что мой дом, из которого я убежал и в который я не вернусь, ни за какие в мире соблазны, даже если придется гнить в этой осточертевшей армии еще пять лет. Никакие болезни, никакие врачебные свидетельства, никакие ухищрения не помогут. Я ушел для того, чтобы обрести новую жизнь. Но к тебе, дрянь ты моя дорогая, к тебе бы я помчался, словно зернышко одного из тех бородатых сорняков, немедленно, сию минуту, в тот час, когда ты уже сдала, разумеется, все свои экзамены и получила все "отлично", — я пришел бы, сидел в твоей комнате и смотрел бы на тебя, или взял бы твою прохладную руку, и мы

вместе ходили бы по нагретым городским камням, может быть в сторону Долины Креста, а может, как раз наоборот, стояли бы там, наверху, на кромке шоссе, и за прокаженными плешивыми скалами, за окаменевшими маслинами видели бы далекую стену, всегда чужую мне, словно из другого времени, из жизни, соприкасавшейся с чудом. Я напишу тебе, Нога, назло тебе, вопреки твоему желанию. Теперь же. Теми же словами, которые я говорил сейчас себе. Военная цензура наконец-то отменена, писем больше не вскрывают, и нечего мне больше бояться какого-нибудь незваного читателя, который заглянет мне в душу; и тебя я больше не буду стыдиться. Всегда ты спрашивала, почему мои письма настолько сухи и информативны. Ну вот, сегодня я призыву все те слова, которые обычно прятал, побаиваясь твоих умных глаз. Легко тебе от меня не отделаться, а если сумеешь справиться — останется в тебе вроде ожога сознание того, что так, как я, не будет тебя любить никто другой, и так, как я нуждаюсь в тебе — никто не будет нуждаться. Этот ожог останется на твоём теле, Нога...

Я уже слез с подоконника, охваченный бушующим чувством, как вдруг со двора, снизу, послышался голос:

— Шалом, товарищ!

Еще я не высунул голову в окно, поглядеть, кто это зовет, как уже потрясла меня глубина этих простых слов. Я глянул наружу. Всюду была кромешная тьма, и только из нашего окна выпадал во двор квадратик света. В этом квадрате стоял человек, запрокинув голову назад, лицом ко мне. Первый же взгляд подтвердил то, что я почувствовал сразу же, каким-то шестым чувством — человек этот не был ни одним из наших солдат, это был гражданский, в черной шинели, с косматой гривой, наподобие татарской шапки сидевшей

над его узким лисьим лицом. Разом я увидел все, как во встрече со злым духом: темные, сильно выпяченные глаза, тени на глубоких висках, впавшие щеки, нос, выходящий согнутым пальцем из узкого лица. Человек, пришедший издалека.

— Шалом, — прошептал я удивленно.

— Ответь-ка, товарищ, как мне добраться до командования еврейской боевой бригады?

Звуки его голоса были подчинены деловому характеру вопроса, словно появление этого незнакомца у нас — дело будничное как для нас, так и для него. Он не ожидал никакого выражения радости с нашей стороны, только бы мы указали ему дорогу.

— Простите, — сказал я, — но кто вы? Откуда вы явились сюда так поздно?

— Издалека, издалека, — мне показалось, что он отвечает на мои мысли, но голос его, глухой баритон, был сух, как и прежде. — Сколько километров отсюда до командования?

У окна уже столпились все, кто был в комнате, и всех как и меня потрясал вид этого человека, стоящего внизу, на высвеченном пяточке. Его одежда, внешность, его иврит — не только слово "командование", но и употребление полного наименования "еврейской боевой бригады" — все говорило о том, что он "оттуда". То есть действительно издалека, из тех мест, из которых пока еще никто не приходил. Но как же появился он здесь ни с того ни с сего, в такой час, и именно в нашем батальоне? Со всех сторон на него посыпались вопросы, мы выбежали во двор — но он не ответил, а только снова спросил — как ему поскорей добраться до "командования".

— Отсюда до штаба далеко, — ответил ему Зоненшейн. — Да и как вы туда ночью доберетесь?

— Как? — произнес незнакомец. В его вопросе и

был ответ. Таким же способом, каким добрался сюда.

— Мы сообразим тебе транспорт, — заявил Аруси. — Я заскочу к Рахмани. Он его запросто подвезет.

Это обещание, о котором он и не думал, выходя в путь, неожиданно успокоило его, и он согласился войти с нами в комнату — пока не прибудет машина, за которой помчался Аруси.

Та минута, когда мы столпились в комнате, окружив незнакомца, севшего за стол с разбросанными картами и жестянками, — та минута относится к разряду событий, которые мы воспринимаем, как события совершенно невозможные. Я вижу этого человека, среднего роста, если не ниже. Даже в облегавшем его тело пальто, которое давно потеряло свою настоящую окраску, он выглядел чрезвычайно тощим. Но не была это ни худоба изголодавшегося человека, ни худоба аскета. Его выпирающие из скул глаза были направлены к какой-то отдаленной точке, и казалось, что все его тело служит только черной горячке, заполняющей эти два круга. Он молча сидел там, куда его усадили, мусолил обеими руками свою шевелюру, не говоря иначе как в ответ на вопрос, да и то очень скупю.

— Ну скажи же что-нибудь? — не мог сдержать своих чувств маленький Остерайхер. — Чего тебя вдруг сюда занесло?

— Не вдруг. Я послан к вам.

— Как? Откуда?

— Из бригады уцелевших.

— Что это? — спросил Покер.

— Уцелевшие, товарищи. Партизаны. Лесные люди. Спасенные головешки. Остаток беженцев.

— Откуда ты иврит так здорово знаешь? — задал Лэйзи вопрос, который занимал и меня. Вроде бы все ясно и понятно, разумеется, он один из членов "Тарбута", но только сейчас это отвлеченное знание покрыва-

ется корочкой действительности — этот незнакомец, вышедший к нам из темноты, при всем своем странном виде — один из нас, в самом деле, говорящий на нашем языке, идет прямо к нам из лесу, направляясь к этой точке границы, словно ведомый звездой.

Губы незнакомца расплылись в улыбке, и только сейчас я заметил, что у него толстые, несколько выпяченные губы, на внутренней стороне которых сохранилось слабое подобие красноты. Сколько ему лет, этому человеку? Пока улыбался, он казался совсем юным, но вот он снова всем существом собрался в своих лихорадочных глазах, в руках, теребящих щеки, и резким движением оторвался от ящика, на котором сидел прежде.

— Я не могу здесь задерживаться, товарищи. Я должен добраться до командования как можно скорее.

— Жаль, что нет здесь Тамари, — сказал Зоненшейн.

— Кто такой Тамари? — с деловым интересом спросил тот.

— Один из деятелей. Он бы проводил тебя, помог бы тебе найти тех людей, которых ты ищешь.

— Людей я найду. Пойду-ка я лучше...

— Не пойдешь ты пешком, — крикнул маленький Остерайхер.

— У русских научишься ходить, — неожиданно произнес Бродский.

— Точно, — глянул на него незнакомец, — ходить мы умеем.

— У нас ты поедешь на машине, — сказал Зоненшейн, взяв его за рукав своим любимым жестом. Было видно, что хотел обнять, но удержался. — У нас ты — дома. Товарищ дорогой, мы так ошеломлены твоим появлением, что не спросили тебя, и ты сам не сказал — кто ты, и что это за бригада уцелевших, из какой стра-

ны ты идешь, сколько ты пробыл там... расскажи нам что-нибудь...

— Чтобы что-нибудь рассказать, — ответил тот, — чтобы рассказать хоть что-нибудь, я должен просидеть здесь всю ночь, и весь день, и еще одну ночь... — тут только его глубокий баритон дрогнул. Он говорил медленно, и каждое слово рассыпалось о стены комнаты. Протянул руку Покеру, тащившему "Лаки-Стрэйк" из лежавшей перед ним пачки. Покер поспешил протянуть пачку незнакомцу. Только теперь я разглядел его пальцы, тянувшиеся из ладони, узкой, как само запястье. Они были очень тонкими, из-под прозрачной кожи выпирали суставы. Как может такая красивая, такая нежная рука служить такому мужественному лицу. Он поднес сигарету к губам, и когда затянулся, рука его дрожала. Он поспешил убрать ее и спрятать в карман шинели. Но дрожь эта не ускользнула от глаз присутствующих.

— Парень, — спросил Зоненшейн, — когда же ты ел в последний раз?

— Поем, когда доберусь до командования. Я боюсь, что машины не окажется... — поежился тот.

— Сколько ты времени в дороге? — прорычал Штик-фляйш, сидевший все время за столом, возле жестянки с хлебом. — Так будет еще полчаса. На, возьми-ка хлеба.

Пришелец быстро глянул на хлеб и, казалось, всем телом склонился к жестянке. Но с места не двинулся. С улицы послышался сигнал грузовика.

— Ну вот, — закричал Лэйзи, стоявший у окна. — Вот они и приехали.

— Счастливо вам, товарищи, — сказал незнакомец, зажав сигарету между пальцами. Он задержался на секунду и прошептал. — Братцы мои, храни вас Господь. — И помедлив еще немного, словно не слыша

сам, что говорит. — Хоть вы и запоздали малость.

Резким движением он направился к двери и больше не оглядывался. Мы все направились вслед за ним. Аруси уже шагал к дому, а шофер, Рахмани, стоял возле кабины доджа.

— Это ты? — спросил Рахмани. — Говоришь на иврите?

— Даже думаю на иврите, — ответил тот.

— Прекрасно. Ну давай, залезай. Предстоит нам еще покататься.

Пришелец направился к кабине, но тут его задержал Штикфляйш и сунул ему в руку кусок хлеба, завернутый в газету.

— Бери. Бери, тебе говорят. Не повредит тебе, если съешь что-нибудь, мэнч.

Рахмани уже завел мотор, но незнакомец все еще стоял среди нас, с сигаретой в зубах и куском хлеба в руках, словно не решаясь на что-то.

— Я уж и не знаю, — сказал он, перекрикивая рев мотора, — нужно ли мне ехать в командование. Послали меня спросить вас, что нам теперь надо делать, нам, уцелевшим. Теперь-то я знаю, что вы ответите. Мы встанем и будем идти. К вам. Наши братья ждут нас на границе. Этот хлеб я возьму с собой — на память о первой встрече... До свиданья, мы доберемся досюда.

2

И вот они начали пересекать границу — точно так, как расписывал Тамари в тот день, на складе, перед тем, как мы вышли на смотр; как предсказывал тот незнакомец. Граница прорвалась неожиданно, то есть, мы не знали, что колонны уже едут к границе, и только услышав песню, доносившуюся с шоссе, песню, столь

знакомую и вместе с тем приводящую в изумление, мы поняли, что они уже здесь.

Даже не совсем так. После обеда шел дождь, и сердце наполнилось зимними радостями и печалью. Летом все внешне, сухо, а зимой все углубленно; шелковый темноватый воздух, вода стучит по черепичной крыше, стекая, собираясь в лужи вокруг барака, а я стою у забрызганного окна и гляжу на землю, залитую водой до небес, и мое сердце наполняется всеми видениями, витающими среди дождя. Но этот дождь прекратился — словно и не начинался. Туча скрылась за горой, зеленое стало еще больше зеленым, чистое — еще более чистым, и снова — середина июня, в комнате у Покера горит белая лампочка, картежники мусолят карты, мы с Лэйзи сидим на подоконнике ногами во двор, а внизу — у входа в дом — Аруси пытается свое счастье у итальянской партизаночки, приехавшей погостить у своей тетки на третьем этаже. Так это было в тот вечер, возможно и не в первый раз.

Просто колонны не стоят того, чтобы глядеть на них. Днем и ночью они гудят и снашивают шины, двигаясь с юга на север и обратно. Семьдесят восьмая дивизия — та, к которой приписаны и мы. Десятый корпус, к которому приписана эта дивизия. Немецкие военнопленные, продолжающие двигаться на юг, черт его знает, зачем. А утром проехала особая в своем роде колонна — русские пленные, направляемые на родину, все в новых американских гимнастерках, развалились на сидениях американских "джи-эм-си", и только что красные знамена вьются над кабинами водителей. Колоннами нас не удивишь.

Но вот мы слышали песню, словно ветер принес нам отголоски из другого места, из другого времени. Колонна "доджей" шла неспешно и, войдя в город, выставила дерзкие снопы фар. Водители сигналили. А

из кузовов, затянутых брезентом, отчетливо слышалось пение, из каждого грузовика к нам долетало по обрывку: арца алину, арца алину... хевейну шолом алейхем¹ ...зог нит кейнмол аз ду гейст...²

Грузовики продолжали двигаться степенно — закрытые, при полных огнях, а из-за брезентовых стенок фургона доносились голоса невидимых людей. Мы с Лэйзи вскочили и выбежали во двор. Чувствовалось, что им позволили вести себя свободно только после того, как они успешно переехали границу, потому что у некоторых машин уже были отвернуты края брезента, и мы видели лица людей, сгрудившихся у задней двери. Они были освещены фарами идущего вслед за ними грузовика, но я не сумел разглядеть ни единого лица. Беженцы. Разнообразнейшие одеяния. Поднятые воротники, закутанные в платки головы. Пониженные лица. И только руки, протянутые к нам, только громкие голоса:

— Шалом, шалом, шалом, шалом...

Вот и все, что было. Мы насчитали больше двадцати грузовиков, все из нашей бригады. А другие ребята, бегавшие той ночью к шоссе, насчитали тридцать и больше того. Откуда они приехали — этого мы не знали. Куда их везут — об этом мы могли только догадываться. На юг, как можно ближе к Эрец-Исраэль.

Назавтра мы узнали немножко больше: неподалеку от нас устроен перевалочный лагерь для беженцев, — там им дают горячую пищу, оказывают медицинскую помощь в случае срочной необходимости, после этого они пересаживаются на транспорт другого подразделения и продолжают двигаться на юг. Мы поговаривали,

¹ Мы приехали в страну... мы принесли вам мир (ивр.).

² Не говори никогда, что ты идешь... /в свой последний путь/ (идиш). — Гимн партизан-евреев.

что стоит сходить туда разок и поглядеть, что там делается, на этой перевалочной станции, но как-то не нашли ни подходящего времени, ни попутной машины. Майор Сандерс восстановил распорядок дня в батальоне, и старший сержант Изаксон внимательно следил за его соблюдением; капрал Куперберг тренировал нас каждое утро на станционной платформе, а лейтенант Фройнд-Поцовский проводил упражнения в стрельбе по программе для начинающих. Тот, кто не ходил на занятия, получал наряд на кухню, а кто не соглашался чистить котлы — отправлялся в ночной караул. В послеобеденные часы нас накачивали общим образованием, и уже на четвертый день после нашего возвращения из казармы стали отпускать людей в увольнительную на три дня, в Милан и Венецию. Вывоз беженцев осуществляли по главной дороге, а нас просили только об одном — не мешать. Мы знали, что нам урезают пайки — и были довольны. Нам сообщили, что мы добровольно отказались от недельной порции шоколада, и мы радовались. Нас попросили выделить по одному из наших одеял, пожертвовать лишней одеждой, и мы с радостью исполнили эту просьбу. Большого от нас не требовалось. Ни от меня, ни от кого другого из батальона, за исключением Тамари, который, разумеется, оказался ни кем иным, как одним из руководителей перевалочной станции. Недоставало еще Боби Майнца и Гершлера, которые так и не вернулись из проводимого в Милане отпуска. Лишь спустя несколько дней нам стало известно, что Боби временно причислен к другому подразделению, а Гершлер и вовсе исчез в Милане. Неизвестно, откуда доходили слухи, что он отправился искать своих родителей в Будапешт.

Зоненшейн тоже оставался с нами, но обычное спокойствие покинуло его. Он уже не сидел в уголке, набивая свою трубку и разглядывая журналы. В полдень,

сразу по окончании занятий он исчез и допоздна не возвращался. Наши кровати стояли рядом; когда он вошел в темную комнату и стал готовиться ко сну, я спросил его, где он был.

— Там, — ответил он.

— Ну и как?

Зоненшейн был человеком вежливым. Точнее сказать, он верил в силу разговора между людьми, не брезгуя ни людьми, ни темами. Но каждый из нас обнаружил вдруг, что он всегда беседует с Зоненшейном весьма почтительно, возможно потому, что он сам относится так ко всем. На сей раз он вел себя иначе. Он уклонился от моего вопроса, разделся и лег. Я боялся повторить свой вопрос, боялся, что он выплеснет на меня все то, что вынес за эти часы, проведенные среди людей, привозимых с севера. Мы остерегались слишком углубляться во все это.

Однако назавтра, когда он вернулся из перевалочного лагеря, а мы еще сидели у Покера в комнате, я скользнул вслед за ним в спальню и повторил свой вопрос.

Зоненшейн молчал. Все то время, что он стелил свою кровать, я сидел на своей, и только покончив с этим занятием и раскурив трубку, он сказал:

— Элиша, читал ли ты такой рассказ, который называется "Прокуратор Иудей"?

— Нет. А что?

— Жаль. Стоит прочесть этот рассказ. Он не идет у меня из головы в последние дни, — и не дожидаясь моей просьбы, рассказал, описывая во всех подробностях встречу Понтия Пилата с его другом, гордые воспоминания двух старых римлян, перечисляя все события, достойные упоминания, до того самого места, в котором-то и есть вся соль рассказа: Иисус из Назарета?... и никак Понтий Пилат не может припомнить, что было

у него какое-то дело с назареянином...

— Какую мораль я должен извлечь из этого рассказа, Зоненшейн? И кто здесь Пилат?

— Не он меня интересуется. Мелкие и значительные детали. Когда я размышляю о себе и о времени, в котором я живу, я вспоминаю о выводах из этого рассказа. Сегодня я стоял там и повторял про себя: никогда не забудь это место. Это — история.

Назавтра отправился туда и я. Почти случайно, можно сказать. В полдень мы сидели на обочине и ели, когда около нас остановилась снабженческая машина. Вдруг мы услышали, как снабженец говорит, что он едет к беженцам. Я предложил Бродскому использовать эту возможность, но он только пожал плечами. Я оставил ему свой котелок и забрался в кузов. Минутный порыв, можно сказать.

Я не знаю, что там раньше было, на том месте у подножия горы, где разместился лагерь беженцев. Может, лесопильня или маленький завод. Там стояло одно двухэтажное здание и еще несколько длинных, черных, немецкого типа барачных. Между зданием и бараками располагалось что-то вроде площади, на которой кишело множество народу. Сначала мне на глаза попались солдаты, собравшиеся со всех подразделений. Некоторые из них находились здесь постоянно — это было видно по их действиям. У входа в здание раздавали обед длинной цепочке людей. Вторая очередь — кучка столпившихся беженцев — протискивалась к какому-то сержанту, который записывал имена. Эти солдаты сновали между бараками, что-то крича друг другу, людям, заполняющим весь этот двор, и было видно, что они тщетно пытаются навести порядок. Остальных солдат они рассматривали как помеху, потому что вокруг тех время от времени образовывались новые кружки. Все спрашивают обо всем — об именах, о раз-

ных краях, а может, это мне только кажется, и не сходить ли нам — посмотреть список новоприбывших, висящий здесь на видном месте. Руководители просят любопытствующих не мешать, но никто не обращает на них внимания. Все пытаются свое счастье, это ведь в первый раз они видят вернувшихся с того света.

Я стал в стороне, чтобы никому не мешать, и уже сожалел о том, что помчался туда, где мне совершенно нечего делать. Некого мне искать. Радоваться мне никто не станет.

Да и не только это. Только теперь я разглядел беженцев. Не разношерстную толпу, а отдельного человека, живое лицо, от которого не в силах оторвать взгляд. Может быть, потому что он высоченный, и его голова выделяется из всех других. Непокрытая голова, поросшая щетиной, но щетина эта была ничем иным, как пучками поредевших волос, словно он только что вылез из огня. Его залысины, уши, губы с какими-то пятнами ржавчины вместо кожи. Я гляжу на него издали, я не вижу открытых ран с вьющимися вокруг них мухами, он не вонзает пальцы в собственное тело, чтобы выдрать из него боль. Он не чувствует ни тела, ни полосатой одежды, которую он еще не успел сменить. Его гигантские пальцы словно кормятся собственными ранами, и он крепко сжимает ими миску с супом, который уже начинает остывать, приближает ее изредка ко ржавым губам, слегка смачивает их и снова пускается расхаживать среди солдат. Он задает всем один и тот же вопрос, и когда тот, к кому он обращается, вздрагивает от такого зрелища, он отправляется дальше, задавать все тот же вопрос, который я никак не могу расслышать. Только благодаря миске супа, зажатой в его пальцах, я вижу, что в нем есть еще что-то живое.

Я не могу отвести от него глаз, хоть вид его и наполняет меня отвращением и страхом перед той возможностью, что он подойдет и ко мне; а отвращение к нему наполняет меня и неловкостью перед самим собой. К чертовой матери, почему это ему позволяют слоняться здесь, почему никто им не занимается, не кладут его в больницу, не дают ему человеческой одежды? — спрашиваю я себя, стараясь отвести взгляд от этого покрывшего коростой человеческого существа. Я хочу глядеть на кого-нибудь другого.

Женщина. Видимо, молодая, но это только предположение, потому что вообще-то она какого-то неопределенного возраста, со стертыми чертами лица.словно пригвожденная к своему месту, она стоит среди всей этой суеты, и выглядит спящей. Толкнут ее с одной стороны — стоит, с другой — продолжает стоять. Одна сплошная, жуткая опухоль. Ее отекающие ноги с трудом втиснуты в солдатские башмаки без шнурков. Черное сатиновое платье плотно облегает раздувшийся живот, разлезаясь по швам. Поверх платья — американская гимнастерка, эмблемы и пуговицы оторваны; голова тонет в американской шляпе — колпачок с широкими полями, спадающими на лоб и уши. Эта женщина — а может быть, девочка — продолжает стоя засыпать. Только полосочки глаз виднеются над щеками, распухшими, как тесто. Но вдруг — совершенно безо всякой причины — зажигается улыбка на этом неподвижном лице. Может, увидела что-нибудь, или это все, что осталось от того существа, которого уже нет? Она протягивает руку к шляпе и незастегнутый рукав съезжает к локтю. Ее пальцы скользят по шляпе, словно это ее прическа. Если я не убегу от этого зрелища, то брошусь плакать, или припаду к распухшим ногам этой девчонки — о! да ведь она девчонка, совсем девочка — спрячу за пазуху эту бессмысленную улыбку, этот ко-

кетливый жест. Как вообще можно глядеть на такие рожи? Почему никто не заберет ее отсюда, не выделит ей кровать в тихом укромном месте, чтобы ей не нужно было стоять здесь на своих отекающих ногах? Может, мне пойти, постоять вместо нее в очереди за обедом, найти ей какую-нибудь одежду вместо узкого бального платья, которое кто-то стащил для нее во время ее долгих странствий.

Я не двинулся с места — отвращение не позволяет мне приблизиться к ней, а совесть не дает отвернуться и уйти. Когда я, наконец, решил пересилить себя и подойти, увидел, кому она улыбается. К ней подошел Зоненшейн с обеденной миской и ломтиками белого хлеба в руках. Разом все лицо ее расплылось в улыбке. Я опасаюсь, что Зоненшейн обнаружит мое присутствие, но меня так и тянет поглядеть, что же будет дальше. Из общего шума я вылавливаю голос Зоненшейна. Он говорит по-чешски. Она вкладывает свою руку в его ладонь и тяжело, словно на костылях, ступает вслед за ним. Они направляются к ближайшему бараку, и я тоже срываюсь с места и путаюсь в толпе на маленькой площади, проталкиваясь к ним. Я хочу убедиться в том, что эта девчонка в самом деле жива. Она несколько выше Зоненшейна, вдвое толще его, но опирается на него всем телом. Вдруг с их стороны послышался острый и прозрачный, как у ксилофона, смех. Она прижимается к нему, как дочь или любовница. Они добираются до деревянного крылечка барака и не спеша поднимаются — он впереди, а она — повиснув на нем. Я приближаюсь ко входу, и со стороны разглядываю нутро барака. Тесный ряд нар, застеленных соломой и нашими одеялами. На лежанках — поникшие лица: высохшая, словно обугленная голова старика, сбоку от него — круглоголовый, мягколицый мальчик, без какого-либо физического недостатка, который

ковыряет пальцами ломоть белого солдатского хлеба, извлекая малюсенькие крошки и отправляя их в рот, словно лузгая семечки. А над ними, на верхней лежанке сидит женщина — платье приподнято до колен, на груди — круглый вырез, и она энергично чешет свои груди привычными движениями, не обращая внимания на окружающую суматоху.

Я вернулся на прежнее место — в стороне от всеобщей сутолоки. Стоя в сторонке, я воспринимал поток видений, вонзаемых в меня одно за другим, глядел и ничего не чувствовал. Я шептал себе, что об этих вот людях мы и говорили все последние годы, но жестокое чувство отчуждения отгораживало меня от них, словно колючей проволокой. Были там молодые люди откуда-то с востока, они выглядели как палестинские ребята. Они говорили на том же идиш, который я слышал у нас дома, знали несколько слов на иврите и помогали наводить порядок. Но и они были другие, и даже наши солдаты выглядели сейчас не такими, какими я привык их видеть. Слишком много целовались, обнимались и суетливо выражали свои чувства, как это принято у говорящих на идиш. Товарищи! Хавейрим! Мир вейнен мит гликлехе ойген! Ам Исроэль хай! Ло-мен дех кушен, идишер солдат!... Мир велн бойен ун кемпен!¹

Те успели запастись американским виски в одном из лагерей, из которых их привезли сюда, и теперь сбегали, принесли бутылку и передавали ее по кругу, сопровождая каждый голоток криками "лехаим", благословениями, пожеланиями, рукопожатиями и поцелуями на русский манер. Меня тоже потянуло в

¹ Мы плачем от счастья! Жив народ Израиля! Дай мне тебя поцеловать, еврейский солдат!.. Мы будем строить и сражаться! (идиш).

эту компанию, я хлебнул виски из влажного горлышка бутылки, и пел вместе со всеми те песни, которые пели их предшественники, проезжая в закрытых грузовиках, и те, которым мы пытались их научить. Я старался изо всех сил быть причастным к происходящему, к общей взволнованности, но отчужденность не смыли ни виски, ни песни. Неожиданно появился Тамари, отсутствие которого все это время озадачивало меня, и разогнал эту компанию возмущенными криками:

— Товарищи, здесь не пьют алкогольных напитков. Я просил вас, я повторяю свою просьбу... И мы не примиримся с этим пережитком...

— О-о-о... — ответили ему молодые ребята с востока. — Мы свободные граждане... За здравие!...

— Свободные, но сознательные. А кроме того — готовьтесь к поездке. Через два часа подадут машины, и все, кроме больных, отправляются дальше, на юг... Крук! — обратился он вдруг ко мне. — Чем ты здесь занимаешься?...

— Я пришел поглядеть...

— Нечего здесь разглядывать, дорогой... Это только мешает... Всех, кому здесь нечего делать, просят покинуть территорию лагеря новоприбывших...

Тамари был очень энергичен, и чувствовалось, что сейчас его деятельный характер нашел себе применение. Его рубашка с закатанными рукавами была пропитана потом под мышками и на спине; лоб его тоже блестел, словно это происходило в долине Иордана. Его сверкающие глаза обгоняли крепкое тело, и не было такого человека или предмета, который не был бы направлен в организационное русло с помощью Тамари. Сержант, занимавшийся записью имен, выполнил свою работу, и Тамари велел ему перепечатать этот список и повесить копию на доске объявлений. Это самое главное. Каждый день кто-нибудь находит остав-

шихся в живых родственников или земляков. Кухонный капрал, присланный из какого-то полка, подошел и сообщил Тамари, что хлеба не хватает и никак не может хватить. Люди прячут хлеб куда придется — тащут и тащут.

— Поймали одного, — говорил кухонный капрал, — спрятал целых две буханки в соломе у себя на кровати.

— Что значит "поймали"? — вспыхнул Тамари.

— Увидели, что он возвращается и снова лезет в очередь — ну и прижали его.

— Что значит "прижали"? — почернело темное лицо Тамари. — Что вы с ним сделали?

— А что ему сделали? Ничего ему не сделали, сказали только, чтобы кончал воровать.

— Я просил вас не пользоваться словом "воровство". Они до сих пор не могут поверить, что завтра у них тоже будет хлеб.

— И в самом деле не будет, — ответил кухонный капрал. — Если так будет продолжаться. Целая дивизия столько не съедает.

— И все-таки не называйте это воровством, — повторил Тамари.

— Хорошо. Не воруют. Берут.

Тамари не ответил, пожал плечами и побежал дальше. Тамари сможет сказать, что делал здесь что-то полезное, а большего ему и не надо. Тот, кому нечего делать, пусть не мешает.

Я не ушел оттуда, а продолжал расхаживать по двору, стараясь сократить расстояние, отделяющее меня от этих людей, вернувшихся из ада. Вот напишу я отцу, что был здесь и видел их, расскажу ему о колоннах, о горячей пище, которую получают эти люди, о том, как заботливо к ним относятся, а отец — уж я-то знаю — он поспешит мне в ответ с вопросом: а из родственни-

ков — из родственников нашел ты кого-нибудь?

Я стоял около стены, на которой был вывешен список прошедших через этот лагерь с первого дня его существования — имена и места их довоенного проживания. Джипы и грузовики продолжали привозить солдат из наших подразделений, и все первым делом бросались к этой доске; меня тоже потянуло постоять среди них, робко переходя от имени к имени, от листка к листку, стараясь извлечь из памяти имена всех тех родственников, которые когда-нибудь упоминались в нашем доме. Это все, что было у меня — имена и обрывки домашних легенд. Сам-то я с этими родственниками никогда не был знаком. Дедушка с бабушкой — это давно поблекшие снимки, и так уж им повезло, — говорил папа, — что скончались они своевременно. Других дедушку и бабушку я не знал даже настолько, потому что после них — из-за религиозной фанатичности — не осталось и фотографии. Было еще множество братьев и сестер с обеих сторон. Но только фамилия Крук — моя фамилия — сохранилась в памяти, а фамилию мамы я как назло не могу вспомнить. Фамилий всех теток по мужьям я тоже не знал, потому что у нас их называли только по именам, а я и вовсе поспешно смывался каждый раз, когда собирались папины-мамины знакомые пересказывать бесконечные рассказы о стране, которой я не видел, и о людях, которых я не знал. Всегда говорилось, что родом они из каких-то малюсеньких городишек с единственной улицей. Если я найду здесь какое-нибудь название городка из упоминавшихся в этих рассказах, я смогу узнать — есть ли среди этих людей кто-нибудь из наших.

Никого я не нашел, и мне стало очень грустно. Меня переполняло странное чувство, и я даже сказал себе с усмешкой, что я мальчик Мотеле наизнанку; и то, что я стою здесь, не имея отношения к отчаянному стрем-

лению других вернуть себе кого-нибудь из пропавших, придает мне сходство с сиротой: я не нахожу никого потому, что не терял, а не терял потому, что с роду у меня не было родственников.

Я решил было смыться из этого лагеря, как вдруг увидел компанию подростков, собравшихся позади главного здания. В этом месте кончалась узенькая долина, и вздымалась укутанная лесом гора; там начинали как-то строить внушительных размеров строение, может, какой-то завод, — но успели только заложить бетонный фундамент. Около этого фундамента, среди железных столбов, торчащих наподобие черных антенн, столпились эти ребята; и хоть мне еще не было ясно, что тянет меня к ним, я приблизился к их кружку, несколько прижатому к земле. Их было человек шесть или восемь, младший выглядел лет на десять, а старшему можно было дать пятнадцать. Они играли в орлянку, ту самую, в которую играли австралийцы на тельавивском пляже, а мы называли ее "орел или решка". За каждым броском следили с глубочайшим вниманием, сопровождая его победными воплями или вздохом разочарования. У всех ребят в руках были монетки и бумажные деньги, которые они передавали друг другу с обстоятельностью людей опытных, и только азарт у них был детским азартом. Младший обернулся ко мне и спросил на идиш, хочу ли я сыграть. Я подмигнул ему и ответил, что боюсь оставить здесь все дедушкино наследство. Мой нескладный идиш развеселил их, и они предложили мне сыграть на сигареты, спрятанные, разумеется, в моем кармане.

— Я не курю, — ответил я им.

— А чего ты еще не делаешь? — рявкнул мне карапуз, собирая свое добро. Намек рассмешил всех, в том числе и меня. Так как малыш наклонился к земле и держался только на кончиках носков, я ухватил его за

пояс и перевернул, обхватив левой рукой поперек живота.

— Соплякам выпендриваться не позволю. Вот, например, чего не делаю. Малыш болтался в воздухе, лягаясь изо всех сил, переполненный внезапным возмущением. Остальные катались со смеху. Я поставил карапуза на землю и отпустил его. Он сжал свой кулачок и послал в мой адрес звучное польское ругательство. Это тоже рассмешило компанию, следящую за тем, как же я поступлю теперь.

— Я к тому же и не ругаюсь, — улыбнулся я малышу, примирительно протянув ему руку. Он отрицательно мотнул головой.

— Здешние солдаты — слащавые, как в меду, — ответил он. — Не вам, уж конечно, с немцами воевать. Монашки в штанах.

— Монашки-то знают то, чего он не знает, — сказал один из старших.

— Ты мне будешь рассказывать! — вякнул малыш.

Он выглядел меньше, чем на десять лет. У него был широкий, несколько сплюснутый лоб, а черные глаза — косоваты и посажены далеко от вздернутого носа. Только узкий рот с отвращением подергивался, как у человека бывалого. Он был одет в новую блузу и брюки типа формы гитлерюгенд, затянут поясом, на пряжке которого было выдавлено по-немецки "с нами бог". Другие ребята тоже были одеты в новые одежды, запятнанные и замызганные в долгих скитаниях. Я пригляделся к ним, и смех застыл у меня на губах, растянувшихся было в ответ на брошенное малышом: "ты мне будешь рассказывать!" Только теперь я понял, почему меня тянуло к этой компании: во дворе не было видно ни одного ребенка, ни младенцев, ни подростков. Именно смех притащил меня сюда. Шайка шалунов, развлекающая сама себя. Мне было девят-

надцать лет, и только десять недель тому назад я держал на своих руках человека, чье дыхание покидало его на моих глазах. Впервые в жизни я прижимал обрывок бинта к застывшим кускам, разбросанным по человеческой груди, не понимая, что человек тот уже мертв. Нечего детям ходить на похороны, — говорил папа. — А кохен не должен приближаться к кладбищу, — сказал он как-то с таинственной улыбкой, хотя мы, к глубокому сожалению, и не вполне коханим. В детстве это самое "не вполне" страшно возмущало меня, мне было горько, что мы потеряли связь с первосвященничеством. Спустя некоторое время мне стало ясно, что это была просто шутка, но все равно кладбища вызывали во мне возбуждение, и я обходил стороной наше поселковое кладбище. Теперь я стоял на этом дворе, и люди рассказывали с погасшими лицами о том, что пришлось им пережить. Стоит ли теперь повторять все то, что рассказывали те, кого впервые мы увидели своими глазами в июне сорок пятого? Наши сердца уже переполнены этими рассказами, как верблюжьи желудки, но так или иначе, нам никогда ничего не узнать об этом. Не их рассказы собираюсь я здесь восстанавливать, и не тот могильный ужас, который охватил меня, когда глаза мои перебегали с копченой рожицы на угрюмую физиономию, когда названия лагерей, лесов и убежищ коснулись моих ушей вместе с выражениями: взяли нас... стояли мы там... лежал я так от случая к случаю... чего нам было терять? Как припустились. Вот видите, теперь-то я здесь...

И вдруг эта шайка за углом дома. Скачущие глазки. Кредитки стран-победительниц шелестят в детских пальцах. Они смеются. Сами по себе. Так же, как клетки их тел продолжали делиться и обновляться сами по себе. Дети — и все тут.

Я уселся на бетоне фундамента и сказал им:

— Попробуйте спросить. Может быть, я все-таки что-нибудь знаю.

— Что теперь с нами сделают? — спросил старший.

— Отвезут вас в Эрец-Исраэль, — улыбнулся я.

— Посмотрите-ка на этого героя, — затянул малыш. — Он уже довез нас до места. А с англичанами ты уже все уладил?

Это слово — "организи́рен" — они повторяли каждую минуту. Все оценивается по способности "уладить" — то есть взять, стащить, отнять, надуть, любым путем достичь единственной цели — спастись от смерти. Этих вокруг пальца не обведешь, — подумал я, а потому отвечал на их вопросы, словно исповедываясь. Они были ребята дотошные, и никакой ответ не воспринимался ими как окончательный. И только тогда, когда они вдруг обнаружили, что я родился в Эрец-Исраэль и есть мне что рассказать о тех временах, когда я был таким же маленьким, как они, о нашем поселке, о моих похождениях в школе, о сказках в саду, о миндальных плантациях, о скачках в конце сбора урожая, о том, как обманув англичан, я сделался вроде как подсобным полицейским в четырнадцать лет, о том, как обманув весь свет, я подделывал документы, чтобы попасть в армию, когда мне еще не исполнилось семнадцати, — когда я рассказал им ничтожную часть всего этого, я увидел, как разгорелись, словно угольки на ветру, их глаза. Они тоже начали рассказывать, все как один — много, быстро, столпившись вокруг меня, как малыши, касаясь меня, напяливая мой берет, моля дать им примерить мой пояс, рассказывая и рассказывая...

Я не стану пересказывать теперь, спустя много лет, что поведали мне дети в тот зеленый и прохладный июньский день в итальянских Альпах. Смеясь, они рас-

сказывали, а я клонился все ниже и ниже, и слова скребли мое тело, словно ржавые гвозди. Я узнавал об их жизни, а перед моими глазами стояла наша жизнь. Где я был девятнадцать лет — я, любящий, ненавидящий, побеждающий и терпящий поражения, несчастный, счастливый, иными словами, надутый пузырь, полный никчемных слов. Дети, дайте мне поцеловать ваши раны! Позвольте мне убежать с ваших глаз долой, дети, забыть вас поскорее, немедленно, — залепить замазкой царапины от ржавых гвоздей. Возьмите шоколад. Возьмите деньги, все, что есть у меня. Возьмите себе в подарок мой ремень. Только дайте мне уйти отсюда.

— Я должен идти, ребята.

— Она подождет тебя, — подмигнул мне младший, — посиди еще немного. Доставай монету, сыграем.

— Мне надо бежать. Я приду к вам завтра.

— Завтра мы будем уже в другом месте, — ответил один, как раз из старших, но такой тщедушный, что форма гитлерюгенд, затянутая кожаным ремнем, висела на нем, словно пустой мешок. — Хорошо бы встретить тебя в Эрец-Исраэль.

— Много там таких же, как я, — смеялся я. — Гораздо лучших.

— Но тебя-то мы уже знаем.

У меня не хватило сил распрощаться с ними. Бросили монетку. Мы ржали, рычали, и я проиграл им все лиры, которые у меня были. Они снова пришли в возбуждение. Старший сбегал в барак и минуту спустя вытащил из-под блузы бутылку виски.

— Откуда у всех у вас виски? — удивился я.

— Не задавай глупых вопросов, — ответил младший. — Пей!

Со двора слышались сигналы грузовиков и голоса более громкие, чем обычно.

— Кажется за вами машины приехали.

— Подождут. Выпей одну за здоровье. Пей! Что же ты за солдат?

Я глотнул первым, и каждый из ребят, от пятнадцатилетнего и до чертенка десяти лет, пососали из горла. Сержант — тот, что прежде записывал имена, крикнул что-то ребятам издалека. Старший спрятал бутылку за пазуху. Они по очереди обняли меня и расцеловали в обе щеки. Я не мог сдержать слез.

— Пошли, пошли. Я провожу вас до машины.

Большие "доджи" выстроились двумя рядами в поле, носами к шоссе. Отправляемые уже стояли поблизости со своими немногочисленными вещичками — тирольскими сумками, рюкзаками, неожиданно новый чемодан из свиной кожи, сумка из оленьей шкуры. В несколько минут все уже сидели на своих местах, кроме слабых и больных, которых управление лагеря на сей раз задержало. Тамари продолжал носиться, словно подключенный к генератору. Сержант вел подготовку спокойно, проверил список остающихся, прошел между грузовиков, шепотом наставляя руководителей колонны. Я вижу того долговязого, пораженного экземой; молодых крикунов, прибывших с востока; отекающую девочку, которую и теперь сопровождает Зоненшейн до забронированного для нее места рядом с водителем, моих ребяташек. Они продолжали прощаться со мной и залезая в кузов, но за ними вползали другие, и я потерял их из виду. Видимо, они раздобыли себе местечко на полу кузова и боялись его потерять.

Только теперь я заметил значок подразделения, нарисованный на заднем борту каждого грузовика: да это ведь снова рота Пинека. Часы, стрелки которых показывают девять ноль-пять. Снова меня охватила мальчишеская надежда, как в тот день, который мы провели вместе с Бродским в Болонье. Хорошо бы

сейчас найти Пинека. Как это я не знал, что "девять ноль-пять" стоит здесь поблизости?

Нет Пинека в колонне, — ответил мне один из водителей. Он работает сейчас в ротном гараже, в городке неподалеку от Венеции.

— Легко там найти его?

— Если придеешь в рабочее время. После этого он очень занят, — добавил водитель, и его рот растянулся в хитрой улыбке. Да не желаю я слушать сплетни о Пинеке.

— Передать ему привет, или ты уже передумал? — спросил водитель. Он сам выглядел, словно из иностранного легиона, как, впрочем, и все в водительских ротах. Шелковый жакет, как у американских летчиков, промасленная офицерская фуражка, спортивные башмаки, а кроме того, длинные бакенбарды и роскошные усы.

— Передай ему привет от Элиши Крука. Племянника.

— А, это другое дело. Очень приятно. Пинек — отличный парень, не прислушивайся к сплетням.

— А кто о нем сплетничает? — удивился я.

— Не прикидывайся. Ты, мальчик, прекрасно все слышал. Пинек отличный парень, вот что я тебе скажу. Сходи, сходи, повидайся с ним... Найдешь себе тоже какую-нибудь... У них там целый комплект, у него и его ребят, ого-го... — и он схватил меня левой рукой за плечо, сунув ладонь правой мне в руку. — Скажи-ка, и чего это тебя в армию понесло после войны?

— Я уже два года в армии, — сердито ответил я.

— С четырнадцати лет? — и он засмеялся, выставив два ряда безукоризненных зубов, которыми гордился так же, как и тощими усами.

— Будь здоров, — сказал я и пошел прочь.

Моторы уже рычали, джип закачался по полю в сто-

рону грунтовой дороги. Один за другим джипы срывались с мест и скользили к шоссе. Тени гор уже вытянулись, заполнив долину. На вытоптанной площадке между зданием и черными бараками стояли солдаты, и те немногие, кого оставили здесь, — провожали глазами чернеющие вдалеке грузовики, похожие на деревья, подступающие к шоссе. На мое плечо легла рука, от нее шел запах зоненшейновского табака. Мне показалось, что он хочет говорить со мной, я повернулся к нему, но он молчал, не отводя глаз от колонны, пока она целиком не скрылась за склоном горы. Я не выдернул плечо из-под руки, хотя такое продолжение вчерашней беседы вызывало во мне чувство неловкости. В моем воображении Зоненшейн все еще — актер, как Вальтер Пиджен в "Мисс Минбер", например. Безмолвно возложенная рука. Сладкий табак и гаснущий альпийский день. И я знаю, что он прядет свою судьбу в тишине, в стороне от чужих глаз, в запертых комнатах.

— Ну, — сказал Тамари, подойдя к нам сзади, и не дожидаясь нашего ответа, добавил:

— Колонны идут. Этой ночью ожидается еще одна.

— В Священном Писании сказано, — произнес Зоненшейн, поглядев на меня. — Может, Крук помнит, он учился в религиозной школе...

— Ты учился в религиозной школе? — глянул на меня Тамари, словно увидев меня впервые.

— Есть место, в котором сказано: "червь Иакова"... — снова начал Зоненшейн.

— Есть такое дело, — ответил Тамари. — И в молитвеннике тоже, если я не ошибаюсь.

— Я не дока ни в том, ни в другом. Это только колонна вызвала в моей памяти такое сочетание: червь Иакова.

Неожиданно стих целиком возник перед моими глазами:

— Не страшись, червь Иакова, множество Израиля, — так там написано, как мне кажется.

— Bravo, Крук, — шлепнул меня Тамари по плечу. — А я и не знал, что ты такой умница.

— Этот самый стих, — обрадовался Зоненшейн. — Точно.

— В самом деле очень здорово. Господа, надо продолжать работу, — и уже уносил ноги в сторону дома.

Зоненшейн протянул руку и направил кончик трубки на запад, к горам. Они были черны, как и кучи облаков над ними, но в промежутке тянулась узкая лента сияющего небосвода.

— Красиво, — произнес он. — Этот уголок. В этот час, — и безо всякого перехода: — Если ты удержишься здесь еще ненадолго, то будет тебе попутка. Я тоже поеду.

Работавшие в лагере разошлись по своим делам. Приезжие солдаты разъехались. В воротах зажглась белая лампочка. На кухне уже подавали запоздавший ужин. Я остановился у доски, заметив, что вывешен новый список, и стал проглядывать его, фамилию за фамилией. Несколько человек из оставшихся в лагере собрались на пяточке, вычерченном лампочкой у входа в дом. Все сызнова проглядывали имена, от самого первого списка и до этого вот, вывешенного незадолго до вечера, охваченные надеждой, не сбывшейся при предыдущем просмотре. Свет и списки связывают воедино обрывки бесед, и я тоже оказываюсь в этом кружке, задаю вопросы, отвечаю кому-то. И вот, вдруг, случилось со мной одно из тех редчайших событий, которые были последней надеждой для многих. Среди прочих, стоял в этом кружке парень, который привлек мое внимание резкими, скачущими движе-

ями всех конечностей, словно они приводились в движение кем-то невидимым, тянущим за нити. Постояв, склонив вытянутую голову, в одной группке, он вдруг срывается с места и бросается в самый центр другой, боясь упустить что-либо из сказанного, а глаза уже следят за тем, что происходит в третьем кружке. Вся его внешность способствовала этому стренному впечатлению: низкий рост, худоба — такая, что все конечности его выглядели сухими и спичкообразными, а поверх всего этого был нацеплен новый шерстяной костюм с засученными рукавами, обнажающими белую подкладку. Когда он не занят ничем другим, он подтягивает свои штаны, которым не на чем держаться. Услышав какое-нибудь название, он приподнимается на кончиках носков и распахивает рот, беспомощно, возбуждая к себе жалость, и вместе с тем с удивительной, неутомимой пылкостью. Я спросил его — откуда он, и он тотчас же приподнялся мне навстречу и с готовностью улынулся:

- Из Польши. Ты тоже?
- Отец и мать. А из какого города?
- Из-под Петрокова. А ты тоже?

Я уже запутался. Это название я слышал часто, у нас там были знакомые или родственники, как раз оттуда, но и папина, и мамина семьи жили в других местах. Я перечислил все, что сохранилось в моей памяти.

— Нет, это не наши, — печально качнул он головой, но тут же бросился на поиски в другом направлении. — А этих, из Петрокова, может ты помнишь, как их звали?

Хотя лицо его было очень узким, и при свете единственной дворовой лампочки тени перекатывались по многочисленным рытвинам его лица, все же глаза его были весьма далеки один от другого, глаза бегали по глубоким впадинам, готовые в любую секунду к дале-

кому зову. Я перечислил все имена, которые могли иметь отношение к этому городу.

— Нет, это не наши. А у нас ведь есть родственники там, в Палестине.

— А тебя как зовут? — задал я вопрос, который следовало задать с самого начала.

— Крохмаль. Ты знаешь каких-нибудь Крохмалей?

Ну конечно. Я улыбнулся через силу. Эта фамилия смешила меня с тех самых пор, когда одна из наших родственниц, еще прибывших до войны, вышла за иерусалимского фраера в шляпе и галстучке — по фамилии Крохмаль. Всегда, когда в нашем доме упоминался Крохмаль, я видел маму, кипятившую липкое крахмальное желе, выливающую его в кадку с бельем, погружая туда же пакетик с синькой.

— Ой, — вытянулся парень на цыпочках и вцепился в меня. — Я думаю, что это...

Я копнул поглубже в своей памяти, извлекая все подробности, случайно запечатленные в мозгу, касающиеся мужа моей дальней родственницы. Подробности всплывали одна за другой, и мой Крохмаль-собеседник энергично копошился в них, словно найдя клад, пока не исчезли все сомнения в том, что эти два Крохмаля — настоящие родственники, хотя и не этого нашего Крохмалю он подразумевал, утверждая, что у него есть родственники в Палестине.

Это была очень странная минута. Радость паренька перешла ко мне, словно именно его пришел я сюда искать. И вот я уже не случайный гость на чужом празднике, и у меня тоже нашелся здесь родственник в силу того счастливого совпадения, которое совершенно исключено, но на которое только и приходится рассчитывать. Я сиял, я был готов сделать для него все, что в моих силах. Начал расспрашивать его о скитаниях в годы войны — где был, в концлагере ли, как имен-

но поступали с заключенными, а те, что спаслись, — как, как это им удалось?

Он отвечал охотно, многословно, словно давно ждал этой возможности. Продолжая говорить, он вложил свою руку в мою и прислонился ко мне, словно прячась за моим телом. Эта близость была мне неприятна, но вместе с тем я испытывал огромное удовольствие от своей способности предоставить покровительство этому пареньку, уже не просто пареньку, а Крохмалю, плоть от плоти иерусалимского Крохмаля, мужа моей родственницы. Я сказал ему, что сегодня же вечером напишу домой и сообщу о его спасении; спросил его, не нуждается ли он в чем-нибудь таком, что я в состоянии сделать для него, не нужно ли принести завтра что-нибудь.

— Ничего, ничего, — прижимался он ко мне, — достаточно того, что я нашел одного из наших. — И снова я стал просить его о том, чтобы он рассказал мне о своих скитаниях.

— Освенцим, — сказал он и потянул вверх широченный рукав своего нового пиджака, показывая номер, выжженный на живом теле у локтя.

Теперь это слово уже прочно вошло в людской словарь, и воспринимается так же, как и другие отвлеченные понятия, такие как преисподняя, ад, инферно, Стикс, потоп, Судный день и множество других слов, устрашающее действие которых удалено настолько, что человек спокойно живет в их тени. Но это был июнь, 1945 год. И я, казавшийся себе тогда стреляной вороной, был всего-навсего мальчишкой, сбежавшим из дома, где жили наивные, богобоязненные люди из поселка, в котором было два пьяницы — один ашкенази и один сефард, один вор-любитель, который, как и я, отправился на войну и попал в германский плен, да еще двое полицейских. Да был еще страшный случай,

как рассказывали у нас, с одним извозчиком, который запер своего престарелого отца в курятнике. А теперь я стою напротив этого сморщенного паренька, который говорит мне, посмеиваясь и раскачиваясь слева направо:

— Разумеется я был там. В Закопане нас не посылали.

Я засыпал его вопросами, нудными и дурацкими, а он отвечал — фактами, эпизодами, анекдотами, подкрепляя свою скудную речь резкими, как у Буратино, движениями. Как же это могло быть? — спросил я. Он объяснил. Очень деловито. Пластично. Стремясь посвятить во все подробности своего вдруг найденного родственника. Он еще рассказывал, а я уже пытался взглянуть на него иначе, тщетно стараясь увидеть этого парня — двадцати трех лет по словам, низкорослого, тощего — во всех тех переделках, о которых он сейчас рассказывает.

— Но как же тебе все-таки удалось спастись? Где ты там трудился?

— В крематории, — ответил он, кивнув головой.

— Что?!

Ему показалось, что я не знаю, что это значит.

— В крематории, — повторил он, сопровождая это слово сгребаящим жестом. — Людей-то сжигали в печах после того, как морили газом. Если бы не эта работа, а ты глянь-то на меня, каким я гляжусь богатырем — если бы не эта работа, не видать бы тебе меня сегодня.

Много я хитрил над этой минутой, чтобы стереть ее из своей памяти. Но многие годы не сделали ее более тусклой, не украсили этой жути, за тем, разве что, исключением, что сейчас я нахожу в себе силы рассказывать об этом, а тогда я старался скрыть это даже от себя самого. Но и сегодня, в абсолютной тишине, на-

едине с самим собой, я не освободился от этой дрожи, отвращения и стыда, охвативших меня, когда я услышал от своего родственника, которого только что приобрел, произнесенное с деловитой обстоятельностью:

— В крематории.

Я не прошу прощения. Я рассказываю. О себе самом.

Июнь 1945. Хрупкий парень стоит рядом со мной в свете единственной лампочки и говорит: я пришел отсюда. И вот — он Крохмаль, и я вцепляюсь в него, влияясь во всеобщее веселье. И вдруг — эти вот слова. И еще этот гребущий жест. Больше всего я боялся сопричастности. Дело тут было не в страхе, не в отвращении. Только бы поскорее убежать отсюда, не вспоминать больше этого дерганого человечка. Не глядеть ему в глаза. Не дышать с ним одним воздухом. А он еще говорит: не видать бы тебе меня сегодня. Да кто хочет видеть тебя, к чертовой матери. Вообще ничего не хочу. Ни родственников здесь искать. Ни спрашивать, ни выслушивать ответы. Только бы не присутствовать здесь вообще — не видеть, не слышать, не помнить, не судить. Искал ты здесь родственников — вот тебе и родственничек.

Парень не прекращал говорить, разрабатывать планы: если я буду писать домой, то когда? Сколько времени пройдет, пока придет ответ? И если его уже не будет здесь, то как они найдут его? И не написать ли ему немедленно коротенькое письмецо, чтобы я вложил его в свой конверт? А может, иначе: он возьмет мой адрес, и когда придет на какое-нибудь постоянное место — вышлет мне письмо. Да и нас ведь тоже собираются переправить в другое место, а если так, то не лучше ли будет, если я дам ему адрес моих родителей, и он прямо им и напишет? А, кто бы мог поверить,

что такое чудо случится с ним, да еще сегодня? Вообще-то, он верил. Совершенно уверен был. По правде сказать, эта уверенность не оставляла его ни на секунду...

Он говорил и говорил, спрашивал и отвечал, а я качал головой, желая только — не быть, растаять, исчезнуть. Наконец из-за барачков показались Зоненшейн и сержант. Я поспешил им навстречу.

— Двигаемся, Крук, — сказал Зоненшейн. Они шли к офицерскому джипу, ждавшему их около дома.

— А письмо? — Крохмаль побежал за мной, схватил меня за руку, приподнимаясь на кончиках носков. — Всего несколько слов... полсекунды дело...

— Они не станут меня ждать, Крохмаль, — ответил я, продолжая шагать в сторону машины. — Все будет в порядке. Положись на меня.

— Может, придешь завтра?

— Ну да, разумеется, приду, — соврал я.

— Шалом! — сжал Крохмаль мою кисть пальцами прохладных рук. И когда я уже забрался в машину — крикнул сзади: "Ну, до завтра!... Не забудь меня, дружище!"

— Не забуду, — ответил я, и мне показалось, что заливающая меня краска заметна даже в темноте.

3

Мое письмо к Ноге затерялось в пространстве, или, как сказано, растворилось в дыму. Свой зарок насчет того, что не стану писать ей ни единого слова до тех пор, пока она не возобновит связь, я обошел под тем предлогом, что мне нужны три—четыре книги. У нас здесь все мрут от скуки, писал я ей, и никому не известно, когда придет наша очередь демобилизоваться, и сколь-

ко нам до тех пор предстоит слоняться. Как раз в эти дни вывесили демобилизационные предписания, основанные на продолжительности службы и возрасте каждого солдата. Если мы действительно включены в эту всеимперскую очередь, то ты должна представить себе цепочку из сотен тысяч солдат, во главе которой стоят старики, отслужившие по пять—шесть лет, а в хвосте — мальчишки, вроде меня, едва окончившие второй год службы. Стоя в этой очереди, я подучусь немного. У нас организуют курсы подготовки к аттестату зрелости, в которых я, собственно, не нуждаюсь, так как давно уже учусь, учусь, а толку с этого никакого, но, с другой стороны, теряться мне нечего, почитаю немного, как-нибудь проведу время. В любом случае — Ляховера не забудь. Он не менее скучен, чем те книги, о которых он пишет, зато он, по крайней мере, укорачивает их. Да, кстати, Нога, вкрадчиво вставил я, ведь уже шесть недель я не получаю от тебя писем. Я знаю, что были неполадки на почте, но все-таки: все ли у тебя в порядке? Как прошли выпускные экзамены? Здоровы ли ты? Ответь что-нибудь. Пропали ли твои письма, или, может быть...

Убогая уловка, провал которой обернется для меня двойным позором. И все-таки я не мог привыкнуть к мысли, что Нога потеряна для меня. Наоборот, по утрам я выдумывал новые объяснения долгому молчанию Ноги, делал заметки на будущее и ждал письма, которое, конечно же, уже в дороге, придет не сегодня—завтра; я упрямо топтался среди окружавших ротного чиновника и дожидался того, как он передаст последний конверт в чьи-нибудь чужие руки. Только тогда я отворачивался: обиженно, утомленно. Один только возглас, Нога, — крик, проклятие, — в доказательство тому, что ты еще жива, что ты не призрак, созданный мною в одиночестве!

Мне казалось, что это видение стало туманиться и у меня, что я не помню уже ничего, кроме воспоминания. Я дошел до того, что по ночам лежал в темноте, накрывшись с головой одеялом, охваченный одной упрямой мыслью — пытаюсь увидеть ее. То есть, прямо-таки, как заклинатель духов. Если бы в полиции от меня потребовали восстановить черты ее лица, я бы сказал, что она тонка, и даже когда прическу она делает наподобие башни, завивая локон надо лбом, даже когда на ноги она надевает сандалии на высоких каблуках (в последние месяцы перед моим отъездом начала вдруг модничать, неизвестно зачем) — я могу спрятать ее голову у себя под подбородком. Да вот еще: прохладные руки. Теплые глаза. И смеется она как-то так, по-особенному... как?... В том-то и дело, что она как раз не смешлива, совсем наоборот, но зато когда вдруг слышен смех — две секунды за вечер — это разом и всклокоченная шерсть и точеный кристалл, это альпийские воды, бегущие по скользким камням, здесь, внизу, это...

Это еще одна высокопарная фраза. Ничего-то ты не видишь!

Я напрягаю в темноте все свои чувства, и все-таки не слышу ее смеха. Я не чувствую запаха ее волос. Мои пальцы забыли упругость ее грудей. Стоит порыться в памяти — и я вспомню родинки на ее теле, шрам, оставшийся с детства на коленке (на какой?), но ее саму, всю, мне никак не удастся увидеть. Нога не выходит из тьмы. Страшно не то, что я связан путами любви, говорю я себе, страшно то, что оскорблено мое мужское достоинство. Только того, что она бросила меня, только этого я и не могу забыть. Этим и только этим я непрерывно занят. Испугавшись этой мысли, я использую тот час, когда все выходят из комнаты, достаю из рюкзака пачку писем и снова проглядываю их.

Больше шести месяцев я получал от нее письма, и иногда случалось так, что два письма были помечены одной датой. Я читаю, и сразу же ее живой голос начинает гладить мне лицо. До того, как встретил Ногу, и никогда не слышал такого голоса, шепчу я в темноте, и вот она — предо мной, забралась с ногами на кровать, из-под белой шелковой блузы видны узкие плечи, она сдержанно шепчет, перечитывая письмо:

— Сегодня у нас был трудный день. Уже неделю в стране продолжается траур по погибшим... а сегодня провозглашен всеобщий пост. Жизнь прекратилась — застыл транспорт, закрылись лавки, фабрики, кафе.

— На улицах царила мертвая тишина.

— словно камень лежал на сердце каждого. С утра до вечера я валялась на кровати, не вставая. Постилась, конечно же. И не потому, что было объявлено, а потому что чувствовала какую-то внутреннюю необходимость. Было у меня такое ощущение, словно совесть моя не вполне чиста. Спокойная жизнь, учеба, домашний комфорт. А с другой стороны: все те... там...

— В этот день я хотела быть вместе со всеми бесчисленными погибшими, с немногими выжившими... Ужасные картины мелькали в моем мозгу. И это были не одни лишь плоды моей фантазии. Много слышала, много читала, и сегодня продолжала читать...

Мои глаза перебегают со строчки на строчку, но я уже не читаю. Горло мое сжимается при мысли о том, что Нога, прекраснейшее из существ, уже не моя, и никогда больше не будет моей. Я тут, она там. Я вижу, как она достает пачку моих писем, если только она вообще их хранит, пытаюсь отыскать меня в ужасном почерке, в обрывках фраз, кривых строчках, в удушливом, нечленораздельном стиле. Вот это Элиша, говорит она себе. Сейчас он солдат, а я ученица, но завтра, когда он снова наденет синий комбинезон, не завтра,

а может, через несколько лет, каково будет тогда его "место в жизни"?... Ну да, такой конец предполагался с первой же минуты, говорю я и снова пытаюсь перехитрить самого себя: а если она все-таки ответит на мое последнее письмо, если она уже послала — обычной почтой — те книжки, которые я просил, я всерьез возьмусь за учебу, скрипя зубами. У меня хватит сил, Нога, поверь мне. Мне нужно только любящее сердце и верная рука. Напиши — одно только слово...

— Я подвела сегодня итог прожитой жизни. Чем я занимаюсь в последнее время? Разве то, что я сижу на школьной скамье, освобождает меня от всего остального? Иногда мне кажется — что правда на моей стороне, что человек, который хочет действовать, должен быть готов к этому, а я все еще не готова... все еще не готова. Но иногда мне кажется, что это не так. Какая тебе нужна подготовка? Дай то, что ты можешь дать. Погляди вокруг, и ты увидишь, что можно сделать теми силами, которые уже есть у тебя...

Если ты не готова, сжимается мое горло от сознания вынесенного приговора, то я, я-то что?... Когда я верну эти годы, растраченные на заводе, в армии, когда я смогу восполнить... Что, собственно, я хочу восполнить? К чему я хочу себя подготовить? К чему? Даже в таких пустяках я не в состоянии разобраться... "Я все еще не готова", странно, я чувствую чуть ли не ненависть к Ноге за то, что она была мечтой, которой такие люди, как я, не удостоиваются дважды. И все-таки, если бы...

Писем не было, зато я получил живой привет, если можно так выразиться.

Из Палестины прибыла очередная партия новобранцев. С организацией Бригады прошлой осенью возобновился вдруг армейский набор, почти полностью прекратившийся в два последних года, но и сейчас, несмо-

тря на все барабаны и горны, на великие чудеса — число добровольцев было невелико. Их сгруппировали в несколько подразделений и тренировали в Египте. Первые из них прибыли к нам, когда мы покидали линию фронта, а когда явились последние — мы уже торчали здесь, на границе. Перед отъездом они провели короткий отпуск дома, и поэтому мы ринулись поглядеть на отделение новичков, приписанных к нашему полку, послушать, как тем дела.

Они сидели на своих вещичках в станционном бараке, у входа в штаб полка. В наборах прошлых лет было всякой твари по паре, а здесь, с первого же взгляда, были заметны всего две категории — подростки, в глазах которых горело пламя энтузиазма и тлел огонек большой авантюры, и представители "организованного населения" — взрослые, дисциплинированные, замкнутые парни, в уверенном молчании которых было нечто большее, чем высокомерие. Мы, мол, не "рекруты", вроде тех гимназистиков, что копошатся у нас под ногами. Мы — сплоченная группа, посланцы, — просим воздержаться от недоразумений. Что дома? Все в порядке. Что вы можете нам рассказать? А ничего. Что это вас вдруг в армию потянуло? Да так вот и потянуло. Откуда вы? Молчание.

А после обеда подошел ко мне один из молодых, городских. Высокий, бледный парень, что называется, из хорошей семьи.

— Мы с тобой знакомы.

С ним? Откуда? Такой утонченный парень, блондин, может даже на скрипке играет. Нет у меня в Палестине таких друзей. Может, он из Тель-Авива? Может, в гимназии учился с кем-нибудь из моих родственников?

— Нет, из Иерусалима. Встречались как-то на вечеринке.

Словно шумные птицы встрепенулись в моем сердце. Знаю, где именно — на вечеринке студентов и семинаристок. Точно помню — он и тогда был в форме, в форме добровольной полиции, учился на гуманитарном факультете, на втором курсе. Он учился в гимназии с братом Ноги, то есть был старше, чем я. Ему известно, что мы с Ногой...

— Если не ошибаюсь, ты пришел на эту вечеринку с Нехемией, — сказал он.

Я не возражал. Поговорили о Нехемии, связующем звене между моими школьными деньками и этим парнем, и Ногой. Я хотел спросить его о ней, но вооружился терпением. Неосторожный вопрос мог только помешать. Я ведь не знаю — что именно ему известно, и что сейчас там делается, и в каких он отношениях с ее братом. Подожду. Прибывших уже начали готовить к отправке в батальоны, к которым их приписали, а он все еще ничего не сказал. Он ничего не знает. Как бы между прочим я спросил его, не знаком ли он с девчонкой, которая тоже была на той вечеринке, девчонкой по имени Нога.

— Резник? — закричал он. — Приятная девочка. Я учился в одном классе с ее братом. Ты общался с ней?

— Виделись как-то...

— Через Нехемию?

— Вроде этого. Как у нее дела?

— Полным ходом, как я понимаю. Кончила школу, на отлично, разумеется... Теперь-то я припоминаю — вы втроем там были, на этой вечеринке...

— Верно. А ты видел ее в последнее время?

— Видал. Как раз когда в отпуске был. Выглядела очень поэтично, окутана дымом тайн. С папашей Резником ты знаком?

— Не-а, — соврал я, чувствуя, что от меня сейчас зависит, скажет ли он что-нибудь или замолчит.

— О, это человечина — кипит жизнью, бурлящий поток... Скажи-ка, — он подозрительно глянул на меня, — поговаривали, что у Ноги был какой-то парень, солдат. Не ты ли это, случайно...

— Я? — посмеялся я. — Дал бы Бог. По правде сказать, произвела она на меня впечатление. Да не много я успел. Встречались всего раз-другой. И то с Нехемией. А девчонка толковая.

— Да и не страшненькая, хоть и ничего особенного. Может, я это потому, что знаю ее с двенадцати лет. Мы соседи, а с Ади, ее братом, мы были когда-то хорошими друзьями... Столько духа в таком хрупком теле! И такая серьезная, всегда получала "отлично" по сочинениям. Ребята ее сторонились, хотя и признавали, что она — личность. Довольно одиноко ей было. Все, впрочем, вопрос вкуса. Отличная девчонка.

— Ты ее так рекомендуешь, словно я на ней жениться собираюсь. Я ведь просто так спросил.

— Даже если бы ты хотел — момент упущен... Нога хоть и очень поэтична, но только до определенной границы. Это так же, как у папаша Резника: деятельный сионизм, высокие идеалы, но — просторная, превосходная квартирка... Когда я встретил ее, она была с женихом. За хрупенькую Нogu будь спокоен. Сын Ривкина.

— Так у тебя на самом деле есть новости, — растянул я губы в улыбке, сгорая от желания услышать все, до конца, хотя все и так было ясно. — Наилучшие пожелания. А что это за Ривкин?

— Сразу видно, что ты не из Иерусалима. Просто Ривкин есть только один. Контора "Ривкин и Компаньоны". Адвокат. Член лондонской коллегии. Вопросы земельного права. Бесконечные процессы. "Дайте Израилю законную свободу". Одно ясно — за Нogu Рез-

ник можешь не беспокоиться. На всю жизнь обеспечена. Ну, пока, дружище...

4

Мы отправлялись на денек в Венецию — одним отделением, рассевшись на скамейках двух грузовиков, в выглаженных рубашках и брюках. Жарко там, говорят, как в Тель-Авиве. Отправились рано утром, чтобы провести четыре часа в дороге туда и пять — обратно, чтобы насладиться шатанием стада солдат со скептическими минами с площади Сан-Марко к Риальто, пробежаться по торговым переулочкам, чтобы успеть приобрести "сувенир", проплыть на гондоле по Большому каналу до Лидо и возвратиться, высунув язык от усталости, на вокзальную площадь. В десять часов вечера двигаемся обратно. Ровно в десять.

Я с самого начала решил, что не поеду — ни в каком случае. Осточертела мне вся эта компания — как липкая одежда. Нет мне теперь никакого дела ни до дождей, ни до гондол, ни до шелковых платков, ни до муранского стекла, нет у меня никакой охоты бегать целый день плечом к плечу, среди неукротимого энтузиазма других. Пусть себе едут, и в доме будет тихо, а я полежу на кровати наедине с собой, или покарабкаюсь по горам куда ноги донесут. Не интересует меня Венеция, мне бы только чуток тишины.

Так решил я вечером, когда мы отправлялись спать. Лэйзи перевернулся на бок, лицом к моей кровати, и утомленно прогнусавил:

— Все-таки добрались и до Венеции, а?

И я сразу же почувствовал, что он продолжает тот

разговор с Боби, который они вели, когда мы ночевали на подступах к Венеции. "Мотай удочки, — издевался над ним Боби. — Я тебе увольнительную оформлю". Когда Лэйзи лежит в кровати, укрывшись до подбородка, и не видно ни того, какой он длинный, ни его витых мускулов, то оказывается, что он всего-навсего подросток. Будучи светловолосым, он не слишком тщательно бреется, и его угреватые щеки покрыты волосяными черточками, похожими на пучки иголок, краснеющих на спелом кактусе. На секунду мне показалось, что и сейчас в его узких глазах клокочет смех, но у Лэйзи никогда нельзя понять, то ли развеселило его что, то ли дремота слепляет ему глаза. Если он вспомнил Боби, то трудно предположить, что его что-то смешит. С того опознавательного смотра остался Лэйзи без товарища, и я знаю, что он не простил Боби обиды.

— Я не поеду, — сообщил я ему, не знаю зачем.

— Чего это ты вдруг не поедешь? Не будь занудой. Все едут.

— Мне не хочется.

— Чего это тебе не хочется, идиотина! — выступил Аруси со своей койки. — Да ты знаешь, что там делается, в Венеции? Таких блондинок нигде больше в Италии не увидишь.

— Откуда ты знаешь? — спросил Лэйзи.

— Интересуюсь по этой части. Рассказывал Рахмани, мой дружок; только ты глушишь мотор, не успеваешь еще из машины выйти, они так на тебя и набрасываются. Это у них от моря такой аппетит. Ишь ты, Крук, не хочется ему!

— Это же уникальный город, Венеция, — вцепился в меня Лэйзи, словно только мы вдвоем и едем. — Стоящая поездка.

— Нет, я не поеду, — заупрямился я, хотя уговоры

Лэйзи уже поставили мою уверенность под сомнение. С тех пор, как Боби перевели в другое подразделение, Лэйзи пытается подружиться со мной, и мне это приятно.

— Да брось ты его, — рассвирепел Аруси. — Это ведь придурок такой, Крук. Когда это тебе в другой раз подвернется случай отодрать венецианочку, интеллигент!

— Он поедет, поедет с нами, не волнуйся, — чертики плясали у Лэйзи в глазах. — Утром я скину тебя с кровати, Крук, если ты не встанешь со всеми.

Утром проснулся и я и прекрасно слышал лихорадочный звук побудки, хоть и лежал, завернувшись с головой. Лэйзи качнул меня два-три раза и, видя, что я не двигаюсь, стащил с меня одеяло.

— Иди к черту, Лэйзи, — заворчал я и укрылся сновом. Не говоря ни слова, Лэйзи приподнял мою кровать за деревянную планку и опрокинул ее вместе со мной.

— Кончай нам тут капризничать. Или ты одеваешься, или мы потащим тебя в машину в подштанниках.

Лэйзи — дикарь, и чувство юмора у него всегда проявляется с помощью его огромной силы. Но на сей раз было что-то теплое, очень дружеское в этом его упорстве не позволить мне остаться здесь. Когда в последний раз было кому дело до того, чем я там занимаюсь, весело мне или грустно? А ведь изо всего отделения именно на Лэйзи мне больше всего хотелось в глубине души быть похожим, хоть и не удавалось. Теперь он заботится обо мне, как о младшем брате. И хотя я продолжал упираться, его победа была предрешена. Мы с Лэйзи едем в Венецию, пелось в моей душе. Я оделся, сунул в сумку сигареты, свитер, плавки и полотенце и присоединился к ребятам.

Мое настроение вывернулось наизнанку. Почему это не поехать? За какие это грехи я снова казню себя?

Или, может, Нога заплачет-зарыдает, когда дойдет до нее слух, что я отказался от поездки в Венецию? В самом-то деле! Ко всем чертям собачьим, нет больше Ноги! Я чист ото всех долгов, свободен от всех запретов, безо всяких там страданий молодого Вертера. Боже мой, мы едем в Венецию, тебе девятнадцать лет, ты здоров, как бык, все твои инстинкты напряжены, как гончие псы, в сумке полно английских сигарет, горы мчатся в обратном направлении, небеса высоки, как скрипичный стон. Рви ее, последнюю нить, связывающую тебя с поверженным отцовским мирком, с боязнью греха, с привязанностью к чистоте, с книжной любовью-из-романов; дай лопнуть этой нити и стань вдруг легким, как воздушный шар, безо всяких забот, и все тебе просто, смешно и легко. Ох, эти осточертевшие слова — по тонне чувств на слово, и вся тяжесть мира на наших плечах, и какова с этого польза обществу, и что нужно родине в данный момент, и что сам ты сделал, да еще Константин Симонов: жди меня, и я вернусь, только очень жди... Чечевика-с-виною, дорогой. Теперь я такой, каким всегда хотел быть, стою на том самом месте, к которому стремился всегда, с семи лет, когда меня побили линейкой в талмуд-торе у нас в поселке, с десяти лет, когда надоели мне кипа и цицес, с тех пор, как я смылся из дома, ушел с завода, вырвался из паутины обязанностей и скуки, опутавшей меня со всех сторон, заключившей меня в невидимую клетку. Я сам по себе, я бегу, как мячик по склону горы, по дороге к Удине, на подступах к Венеции. Пусть Нога выходит за сыночка Ривкина и Ко. Я возьму этот жребий с собой туда, где я всегда хотел находиться — в одиночестве, в летней жаре, в Венеции.

В одиночестве, вместе с Лэйзи.

Аруси болтал всю дорогу, подготавливая нас к тому, что он натворит с венецианскими девочками, охот-

но отвечая на вопросы Покера, рассказывая, как он вернул себе вдовую прачку благодаря своим телесным достоинствам, которым нет равных во всем полку, в чем мы можем убедиться, услышав собственными ушами, что говорила эта прачка в это самое время, слово в слово. Мы сидели, развалиясь в грузовике, обтянутом брезентом, одетые по всей форме, а не так, как в нашей поездке на север, усмехались, слушая затянувшийся диалог Покера с Аруси, испытывая некоторое отвращение к такому обилию легенд о разврате, иногда получающих подтверждение из глубины кузова; но вместе с тем была какая-то напряженная молчаливость, словно всех нас ждала такая участь. Кроме Гилеади, разумеется. Ну, и Зоненшейна. Смешно подумать о них в болонской роли Бродского. А сам Бродский, который сидит в глубине фургона, напаялив берет на глаза и тихо посвистывая, словно вздыхая? Почему только он? Лэйзи, например, с усеянным прыщами лицом. Я уверен, что он тоже не находит себе места, совершенно так же, как я. Я хочу один раз, один только раз побыть с женщиной безо всяких страхов и самоограничений, без молений и раскаяний, без поэтизации и осквернения — просто так, телом к телу, в чужой стране: окутан тайной, свободен от излишнего морализма, оторван от болезненного пуританства отцовского дома. С Лэйзи я бы запросто пошел. Он не Бродский, он здорово отличается и от него и от меня. Я уверен в этом. Он ведь не из религиозной семьи, а это уже кое-что. Родился без шапки, без четырех кисточек. Учился в смешанной школе. Не боялся касаться девочек, и они не боялись того, что он их коснется. Мощное тело, пляшущие мускулы: как великолепно он бросает гранату, сжимает автомат, преклоняясь перед насилием. Так же он и к женщинам относится, я убежден в этом. Срывает и пожирает, и глупостей не гово-

рит. Не то, что я. Я ведь до сих пор не знаю, по правде сказать, что было у нас с Ногой, и как, и вообще было ли... Ох, мамочки...

Венеция и впрямь пылала и парила, как Тель-Авив, а мы вели себя так, как это и предполагалось: бегали-прыгали по мостам, по набережным каналов, по площадям, небольшими кучками, торопясь нахвататься впечатлений на скорую руку — прежде всего сфотографироваться с голубями у медных столбов Сан-Марко, прежде всего закупить шелковых платков, нет, шелковых носков, нет, пшеничный колос, сделанный из стекла во всех подробностях — а это очень важно для того, чтобы, когда мы приедем домой, никто не усомнился бы, что мы собственными ногами упирались в венецианские острова. Мы с Лэйзи, едва сойдя с грузовика, решили, что оторвемся от других и пошляемся сами по себе, но в какой бы переулочек мы ни забирались — навстречу нам топала орда преследуемых не на жизнь, а на смерть, туристов. Есть у нас меньше десяти часов, и когда же свершится все то, что предлагает Венеция своим гостям? — Не покататься в гондоле? Не побывать в Риальто? Не пососать мороженого? Не съездить в Лидо? А девочки? Когда же мы займемся этими девочками, с которыми ты вечно попадаешь впросак?

В конце концов мы остались одни, повертелись по городским извилинам, проходя по мостикам, следя за узкими лодками, скользящими по водной глади, вдыхая вонь узких каналов в просветах между домами, оказались на шумном рынке, вернулись, натрудив пятки, и очутились на другой стороне моста Риальто, возле пристани Сан-Марко. Было уже около трех, а поездка на неторопливом катере отсюда до Лидо займет, как сказали нам, эдак с часок. И все же мы затесались в толпу восходящих по трапу — только бы

ничего не упустить. Только бы не торчать на одном месте. Чтобы разом и прокатиться и отдохнуть.

И не только это.

С самого утра я ждал того часа, когда мы останемся наедине. Вот ведь и Лэйзи, которому я всегда завидовал из-за его способности сходитья со всеми теми, которым, казалось бы, больше подхожу я, ведь и ему одиноко. Может, проведем вместе денек, сблизимся, погогочем вместе, поболтаем, откроем друг другу частицу того, что скрыто в нас, то есть того, что мы на самом деле из себя представляем, то, что даже после двух лет в одном батальоне, в одной палатке, остается запрятанным под кожурой мундира. Я упрямо возвращаюсь к мысли о том, что человек — это не только то, что открыто нашему взгляду. Вот, Лэйзи: тело, которое природа оделила удивительными возможностями, сложенное для успехов в спорте и полевом труде, тело, которое запросто справится с любой задачей. Лэйзи, который в узком кругу себе подобных — хозяйственных ребят, выпускников сельских школ, обитателей рабочих общежитий — болтун с избытком юмора, — вне этого круга всегда молчалив, сонлив, печален, высокомерен, может, даже растерян. Мне это не ясно, С тех пор, как он стал искать общения со мной, я начал разыскивать в Лэйзи глубину. Я радовался тому, что он заставил меня поехать в Венецию. Есть скрытые тайники за этой прозрачной оболочкой.

Я ожидал увидеть это весь тот день, проведенный в Венеции. Но никакая завеса не поднималась, никакая тайна не открывалась. Если он говорил, то только о том, на что натыкались его глаза, — взвешивал и раздавал оценки:

— Потрудились они над этим городом, честь и хвала!

Или:

— Может, это и красиво, все эти дворцы, но только чтобы побывать тут разочек, а не для жилья этот город. Все рассыпается от старости, доходит. И воняет. Как они могут жить среди такой канализации?

Плавание ему тоже в конце концов надоело, и я заметил, что у него слипаются глаза от скуки:

— Давай считать, что на все дворцы мы уже поглазели. Надо нам теперь пожрать чего повкуснее и отдохнуть немного.

За пределы этих тем наша беседа не заходила. Нам сказали, что в Лидо — в клубе Черчилля-Рузвельта — мы отлично перекусим почти что даром, и поэтому мы взобрались на прогулочный катер вместе с ордой штатских и военных и отправились в этот известный игорный дом. Мы набили себе животы пирожными, венецианским мороженым и прохладным пивом и захватили два мягких кресла в просторном салоне, сияющем мрамором и хрустальными люстрами. Не терзает нас жара, одежда обсыхает от пота, а ноги по-королевски растянуты на мягком ковре. Может, ботинки скинуть, — усмехнулся Лэйзи, уставившись на хрустальную люстру. Хлеба пожрать — нет у них, но мрамору — сколько душе угодно. Я отсюда не тронусь, пока солнце не сядет.

Не для этого я присоединился к Лэйзи. Что в нем есть, в этом парне, если есть вообще? А Боби, был ли он по сути таким же, как Лэйзи? И если да, то почему он выбрал именно Гершлера, а не взял с собой Лэйзи? Много раз я собирался спросить об этом Лэйзи напрямик, и все не смел. Все, что произошло в тот день, долгий спор и опознавательный смотр — не желает забываться. Если бы меня попросили объяснить, что именно не дает мне покоя и не желает забываться, я бы не знал, что ответить, но в том, что случилось в тот день нечто неизлечимое, я был уверен.

— Не видал ли ты Боби?

— Видал разочек, — глаза его были полужакрыты, но ответил он немедленно, словно ожидал этого вопроса.

— Ну... рассказал он тебе что-нибудь?

— О чем?

— Как он объясняет то, что сделал? Почему, зачем вообще пошел к этим немкам?

— Никак не объясняет, — ответил он почти что враждебно. Через силу я продолжал задавать вопросы.

— Все-таки очень странно...

— Что очень странно?

— Что его понесло именно в этот дом? Когда он успел прослышать, что они нацистки — мать с дочерью?

— Слышал, верно, что-нибудь.

— Он не рассказывал тебе?

— Я его не спрашивал.

— Как это он ни с того ни с сего встал и пошел на такое дело? В самом деле мстить собирался?

— А ты что думал?

— Я тебя спрашиваю: зачем же Боби пошел, если все, что он сделал, это...

Молчаливая пропасть между нами росла. Лэйзи не ответил — может потому, что я надоел ему, а может потому, что хотел спать. Но я все еще жаждал ответа.

— Лэйзи!

— А... — он растянулся в кресле и оперся щекой о спинку стула — лицом ко мне.

— Он говорил с тобой когда-нибудь... об этом? — я предполагал, что он поймет, к чему я клоню.

— Говорил. Но не в последнее время, — он зевнул во весь рот, и его глаза затерялись в складках лица. — Боби человек скрытный. Когда мы решили вдвоем смыться из училища в армию, и споров было до небес, то он говорил вроде как Гилеади о том, что мы долж-

ны отомстить немцам. Какую-то книгу он цитировал в этих разговорах, русскую книгу, как мне кажется, ну ты знаешь, как по московскому радио — кровь за кровь... У него ненависть к немцам была очень личным делом. Вот оно что.

— Меня вот что удивляет — собирался ведь он что-то другое сделать, а в последний момент раздумал...

— Да брось, что тебя здесь удивляет? — неожиданно грубо и сердито заговорил он. — Пойди, спроси его, если это тебе так важно. — И когда стало казаться, что разговор уже окончен, и Лэйзи спит, вдруг добавил: — Я точно знаю, что там произошло: нудник этот, Гершлер — в штаны наклал.

— И все-таки это не объясняет...

— Все прекрасно объясняет. Говенные еврейские душонки, — впервые послышалась злоба по отношению к Боби, накопленная у Лэйзи в душе. Но он тут же смягчил свой голос. — Чего это ты вдруг задумался об этих вещах, Крук?... Умираю, спать хочется. Покима-рим чуток...

Продолжая говорить, он опустил подбородок на плечо, сложил руки на пузе и ушел в небытие. Единственный разговор, который я затеял с Лэйзи, запнулся на том же месте, с которого начался, и я снова остался в одиночестве.

5 "ЭЛИША!.. ЭЛИША!.."

Из бесконечных пространств снизошел на меня голос, следствием сотен причин, вплетенных одна в другую. Он был чужим, требовательным, и я сжался, захлестнутый его звуком, словно был застигнут старшим сержантом. Этот голос был близким и теплым, и он обтекал меня, словно западный ветер в наступающей темноте. Я лежу, распластанный, в нашей комнате под

широкой двуспальной кроватью, между прохладными плитками и пружинами, в спиральных которых скрыта безмерная сила. Вот сорвется одна из этих пружин да как прыгнет мне в лицо, размышляю я про себя, оттягивая пружину вниз, придавая ей большую силу, но она только смеется надо мной и даже не скрипит, как в те часы, когда папа с мамой ворочаются во сне. А я лежу на спине, вцепившись пальцами в пружины, вытягиваю паутинки, заплетенные в них, и прислушиваюсь к голосам, появляющимся из бесконечных пространств — в темноте под кроватью каждый голос слышится сам по себе, словно ночью, — колокольчик на повозке, свистящий кашель старика в соседнем дворе, голос молочной кастрюли, коричневой эмалированной кастрюли, которую мама поставила на керосинку, собачий лай — это немчура поселилась во дворе Зелигмана. Но и под кроватью недостаточно темно, и я закрываю глаза. Только теперь я слышу эти голоса, они живут сами по себе, словно духи, словно ангелы. Они витают в темноте над пропастями.

— Элиша!.. Элиша!..

Голос не был чужим, но не был и просто знакомым. Это голос, от которого я хотел бы укрыться, и вот я сжимаю веки, чтобы ни один луч света не проник мне в глаза, я вцепляюсь в пружины матраца, чтобы, если и поймает он меня на свою удочку, не смог стронуть с места. Пока я все еще сжимаю глаза, события налезают одно на другое, словно зацепленные парой вязальных спиц, и я вправе не узнавать обладателя этого голоса, о котором я уже знаю точно — кто он. Кто-то касается моего плеча и трясет меня. Я сижу в кресле, в солдатском клубе, но тело мое что-то очень тяжелое, и сознание затуманено. Я не сплю, но и не вполне бодрствую, однако уже знаю, что это Пинек стоит сейчас надо мной.

Может быть, вначале зазвучал его голос, словно радиоволна, очищенная от соседних волн, налезających на нее, а может быть, еще раньше возникло его лицо, в тот миг, когда сошел туман с моих замутненных глаз, словно в наведенном на резкость бинокле. Не это важно. И когда я уже твердо знал, что надо мною стоит Пинек, я не вскочил с места, охваченный внезапной радостью, а только совершил все движения, помогающие пробуждению, словно на плацу, протер глаза, потянулся, пробормотал что-то невнятное, стараясь оттянуть еще хоть на чуточку встречу с Пинексом, от которой я берегся вот уже столько дней, стараясь выглядеть удивленным и застигнутым врасплох.

Я распахнул глаза.

— Пинек! — закричал я и вскочил на ноги. — Чем ты здесь занимаешься?

— Хорошо, что есть на свете Лидо. Иначе, ты бы приехал в Венецию, да так бы и уехал, не попытавшись найти меня. От чего это ты так устал, скверный мальчишка?

— Я и не заметил, как уснул, — на другом кресле все еще спал Лэйзи, свесив над коленями голову, словно тяжелое яблоко. — Я страшно рад тому, что мы встретились.

— Так рад, что даже отправился в Лидо поспать.

— Я знал, где нужно спать, — я почувствовал, что голос мой глохнет, как в те далекие годы, когда я был его любимцем. — Представь себе, сошел бы я в Местре, а ты здесь...

— Хорошо, что такая мысль не стукнула тебе в голову, — Пинек положил руку мне на плечо и глянул на меня в упор с какой-то теплотой. Странно, печально заметил я, Пинек-то ниже меня. — На сколько дней ты приехал?

— Часов, а не дней, — за окном заря уже выпустила горизонтальные стрелы, и окна, кровельные листы, люди перед домом, — все запылало заревом дня, сплещенного и смятого между небом и морем. — В десять едем.

— В десять вечера? — и в теплых глазах Пинека загорелись светлые огоньки. — Уже?

— Я все еще на службе Его Величества.

— Ну, если так — я продляю тебе отпуск. Скандал: торчишь в Италии — сколько? — восемь месяцев — и не получается у нас повидаться ну просто ни разу. На ночь ты останешься у меня, Элиша.

— А вернусь — прямо в тюрьму.

— Да ничего тебе не сделают. Найдем какое-нибудь оправдание... Стоит тебе, мальчик, остаться. Погуляем, как следует, а завтра поедешь со мной. Мы движемся на север. Ну! — Пинек радовался встрече, и его радость при виде меня передалась и мне самому. — Гляжу я на тебя и не верю: это Элиша, который сидел тогда рядом со стиральной кадкой, чернявый младенец, босой, в черных шароварах, и таскал картофелины из огня?..

— Ты помнишь?

То утро, перед Пасхой, возвещало начало великого переворота в моей жизни. Как он ясен, этот час — по тропинке, протоптанной между сорняками, выросшими за зиму, и грядками, которые папа только что перекопал, проходил высокий и очень худой парень с двумя огромными чемоданами в руках. Он был одет в короткую кожанку, а на его курчавом затылке сидела спортивная кепка. Я сразу понял, что это и есть дядя Пинек, который приехал к нам из Польши. "Мама!" — закричал я, и мама, которая вылавливала обратным концом метлы из чана дышащую паром простыню, застыла на месте, словно водрузив потешное знамя.

“Чоча!” — закричал Пинек, отбросил чемоданы и поцеловал маму в пылающие щеки, повернулся ко мне, схватил меня за локоть и принялся раскачивать во все стороны. Он был сильным и жизнерадостным, не то что другие новички, которые всегда набивались в наш дом накануне Пасхи, — и с самой первой минуты я всем сердцем привязался к нему.

— Помню ли я! — Пинек вонзил пальцы в мускул моей руки и выставил подбородок вверх, ко мне. — Ты был маленький и круглый, как черная маслина, а глаза у тебя были еще чернее, немножко трусливые и немножко вороватые. Теперь все наоборот — я гнусь к земле, а ты тянешься вверх.

Он вытянулся передо мной во весь рост. Вообще-то, я был не выше него, разве что совсем чуть-чуть, но Пинек — что-то случилось с ним, и следа не осталось от высокого худого парня из моего детства — он располнел, завел брюшко, кожа лица распухла и обмякла, поблекла, а нос, толстый, как у всех маминых родственников, был испещрен черными точечками, словно его кололи иголками. И это был кумир моего детства, наполняется горечью мое сердце. Передо мной стоял совсем другой человек, плешивый старик из батальона водителей с линялой внешностью и неприятными жестами, а тогда, десять лет назад, он принес с собой на наш двор все крепкое, дерзкое, бунтующее. Безо всяких стонов, не надрываясь, он сделался опытным строителем. Он выселился с веранды нашего барака и отправился жить в рабочее общежитие на краю поселка. Шерстяные брюки и кепка исчезли, он приходил навещать нас по вечерам в коротких штанах цвета хаки, в закатанных до щиколоток носках, с непокрытой головой. Он воодушевленно говорил о вещах, о которых до этого и слыхом не слыхали в нашем доме, — и только теперь, благодаря ему, я начал к этому прислуши-

ваться. Каждый разговор его с папой кончался ссорой, и у меня не было сомнения в том, что справедливость на стороне Пинека. Фашизм вонзает когти в глотку мира. — Против "фа", — говорил он. Не уберег я своего виноградника, отвечал папа стихом из Писания, а Пинек усмехался и пел русскую песню, чтобы восстановить мир. Иногда Пинек приходил с каким-нибудь товарищем, а на сторону папы вставал кто-нибудь из соседей. Тогда словесная перепалка охватывала весь двор. Народный фронт, — говорил Пинек. Не рассказывай мне, кто такие большевики, — кричал ему папа. Видал я их в двадцать втором году. Ни меда ихнего, ни жала. Был я в Минске: горе такой революции, которую устраивают хохлы и жидки. У тебя только один рассказ и есть — Минск, — вспыхивал в ответ Пинек. Весь мир в огне. Только антифашистский фронт... Ты меня бесишь, Пинек, — возмущался папа, вставал и уходил со двора в дом. Пинек смеялся во весь рот и снова пел какую-нибудь русскую песню. Он был прекрасен и шаловлив, справедливость непременно должна была быть на его стороне. Я любил приходиться к нему по вечерам или по субботам, сидеть в сторонке и слушать его, листать наваленные по всей комнате книги — рассказы в темных обложках, еще пахнувшие типографией, издания "Мицпе" и "Давар". Вот встало передо мной сейчас то утро, когда я смылся из синагоги во время чтения Торы и отправился к Пинеку, так как знал, что приехали какие-то родственники из Тель-Авива: они сидели на балконе — босиком, в майках, курили сигареты, резали колбасу и придавливали ее пахучим хлебом, — ага, слишком поздно я обнаружил, что ел колбасу с маслом, а огонь с неба не снизошел...

— Что означает эта улыбка? — спросил Пинек.

— Я улыбался? — смущенно выговорил я. Как всегда, лицо выдает мои мысли.

— А может, это глаза твои круковские сами по себе смеются? Бери сумку, Элиша, и двигаем.

— Я очень сожалею...

— Будешь жалеть, если не пойдешь со мной. Поверь, мне, отлично погуляем, — он подмигнул мне и заржал во весь голос. При этом обнажились его верхние зубы, они остались такими же, какими я их запомнил, большие и кусучие, когда он разрывал ими апельсиновую кожуру, грыз орехи, вонзал их в спинку стула, переворачивал его и раскачивал в воздухе без помощи рук, ужасая этим маму и папу. Этот смех звенел во мне, словно будильник. Чего это он намекает на "отлично погуляем"? Тот шофер, которого я встретил в Мальбуретто, о чем он рассказывал — не о Пинеке ли с девушками? Меня передернуло. Именно потому, что Пинек, стоящий передо мной — тот же самый, что и в моих воспоминаниях, и в то же время полная противоположность его. Я останусь с Пинексом. Кто бы мог поверить, что мы с ним, в одинаковых мундирах, в Венеции...

— Я-то хочу, но... — чтобы оправдать свои колебания, я указал на Лэйзи, который продолжал спать, как принявший снотворное.

— Брось его, — Пинек поднял мою сумку и зашагал к выходу. — Он не пропадет.

— Нет, я должен ему сказать, что пошел с тобой, — я уже во весь голос соглашался с мыслью о том, что поддался на уговоры Пинека.

— Ты прямо, как папа, Элиша: порядочен до конца — в любом случае, любой ценой.

Я удержался от ответа, который уже срывался с кончика языка. Напротив — чуть не сказал — а хотел-то я быть таким как ты. Когда я вырасту, грезил я, я буду таким как Пинек. Прямая противоположность папы.

Но мы стояли в зале, полном мрамора и стекла, мы были солдатами в чужом городе, лицами к пьянящему адриатическому вечеру, встретившись на подступах к тому дню десятилетней давности, и в самом деле совершенно другие, никогда не видевшиеся, глядящие в неизвестное.

Я разбудил Лэйзи и сказал ему, что по счастливой случайности встретил двоюродного брата и пойду вместе с ним. Я постараюсь во-время поспеть к вокзалу, но если опоздаю, то пусть они постараются покрыть меня. Как-нибудь доберусь. По заспанному лицу Лэйзи я не мог определить, задело ли это его, но та минута, когда я ушел с Пинеком, а Лэйзи остался, была сама по себе наслаждением.

6

Я не знаю, как выглядит этот остров в нормальные годы, и вообще не представляю его себе иначе, как таким, каким он нарисован на карте Венеции. Красные тряпки, которые тянулись по краям небосвода, словно тигиановские мантии, обратились в черную пыль. Мы шли по широкой дороге прямо вдоль берега. Солдаты шагали широкими рядами по пустому шоссе. Ленивые волны проползали меж столбов покинутого кафе. Немногие уличные фонари агонизировали, подкрепляемые желтым электричеством. Прогулочный катер уже отправился обратно в город и мурлыкал издали. В полдень, когда мы приехали сюда, его палуба была полна народу, а теперь улица была совершенно пуста. И куда это они все подевались?

Пинек свернул вправо, в темную улочку, тянувшуюся среди деревьев, склонившихся над нами, словно

арки. Может, и в самом деле не было там домиков с садами, а только большие дома, отличные пансионы, выплеснутые на тротуар кафе, музыка, туристы и постояльцы; а может, эта ночь сохранилась такой в моей памяти потому, что такое уж особенное было у меня настроение. Я не видел этой улицы иначе, как с приходом ночи и с уходом ночи, и я помню, что мы оба ступили на эту улицу, словно разведчики — в оставленный город.

Пинек говорил без передышки, но не о том, что нас ожидает. Только теперь, по ходу беседы, он сдирал кожуру простоты и очевидности с нашей случайной встречи, возвращаясь к далеким годам, и то, о чем он говорил, вызывало во мне воспоминание, хранившееся в моем сердце.

— Ты просто мальчик, — повторял он. — Чего это ты вдруг помчался в армию? Чего ты искал в армии и что нашел?... Я помню, как ты разучивал главу из Торы. Ты пел превосходным сопрано, а я стоял за окном и слушал. Когда я входил в комнату, ты сбивался и начинал фальшивить... Этого ты уж точно не помнишь, а?... Помнишь?... Ну, если так, то я расскажу тебе еще кое-что: когда ты объявил, что собираешься стать пролетарием, я устроил твоим папе с мамой грандиозный скандал, это тебе известно?

— Да, — улыбнулся я.

Пинек застыл на месте от удивления.

— Это они тебе рассказали?

— Нет, но у меня были длинные уши.

— Это я знал и раньше. Я всегда тебя остерегался.

— Недостаточно, Пинек, — смеялся я, — весьма недостаточно.

— Что это ты подразумеваешь? — защитные интонации слышались в этом вопросе, и я понял, что намек удался. Мое решение бросить гимназию потрясло роди-

телей, и они решили, что это связано с разрушительным влиянием Пинека. Папа даже заявил мне, что я как попугай повторяю пролетарскую болтовню Пинека. Пустозвон! И на Святой Земле, — возмущенно говорил он мне, — и на Святой Земле, человек должен что-нибудь знать, приобрести специальность, иметь на руках диплом, если он хочет быть чем-нибудь, а не чепухой на постном масле, вроде меня. Я упал с лесов, я сломал себе ногу, и что, что мне осталось?... А сам Пинек, большая умница, погляди на него: когда к застою в строительстве прибавилась катастрофа садоводства, не он ли больше двух лет слонялся наполовину без работы, а теперь, очень здорово, шатается по лагерям, я уже не говорю о других вещах (и мама вонзает в папу суровый взгляд, чтобы он замолчал, а я-то прекрасно знаю, на что он намекает, на историю с его девочкой)... Мама была менее решительной, и потому, что Пинек был ее родственником, и она обязана была его защищать, и еще потому, что ей было неясно, какая польза от гимназии, когда сейчас и так полно работы, и можно немножко вылезти из долгов... Она не говорит этого прямо, а только замечает: "Что ты морочишь голову? Чего это вдруг Пинек — большевик! Он очень хороший парень..." — "А кто же наполнил его голову такими мыслями?" — "Не каждый должен быть профессором!" — "А кто же нужен? Рабочий со сломанными ногами, вроде меня — вот это нужно?"... Развитие дискуссии между отцом и Пинексом я восстановил по обрывкам бесед и обмолвкам, и я знал, что Пинек, хоть и заявлял, что он ни в чем не виновен, чувствовал себя очень неловко, потому что знал, насколько велико его влияние на меня. Он не только пытался удержать меня от исполнения этого плана, но — это вытекало из того, что произошло в дальнейшем — выдвигал против них самих другое, и не менее верное, обвине-

ние, что, мол, именно папа с мамой выпихивали меня на работу постоянным оплакиванием своего бедственного материального положения. Больше того, — говорил он (взвинчивая тем отца до самих небес!), — он готов принять участие в издержках, связанных с продолжением моей учебы. Дело доходило до жуткого скандала, и только мое решение, быстро ставшее непреложным фактом, положило конец этим препирательствам. После того я не раз раскаивался в этом поспешном шаге, после которого уже не было пути к отступлению, и винил про себя и Пинека, и родителей. Если бы они тогда чуть-чуть поднажали, я бы не стоял сейчас здесь. Потому-то я и выпалил, почти что против воли:

— Весьма недостаточно, Пинек!

— Что это ты подразумеваешь? — он же прекрасно знает, что я подразумеваю.

— Ничего особенного. То, что у меня были длинные уши, и я слышал все, что пытались скрыть от меня.

— Ты вообще был немного странным ребенком...

— Немного?!

Мы дружно рассмеялись. Шагали мы по темной улочке, и шелест деревьев сливался с шепотом моря. В эту минуту Пинек казался мне таким же, как в детстве, и я был благодарен ему за то, что он не вспоминает о той свадьбе-на-крыше, когда я позорил его перед всей семьей и друзьями.

— Ты знаешь, что меня раздражает, Элиша?

— Что?

— Что когда я приехал к вам, я был мальчишкой, совершенно таким же, как ты сейчас.

— Нет, Пинек, ты был другим, другим...

— Как это другим?

— Тебе хочется тянуть меня за язык?

— И все-таки?

Мы уже стояли у ворот. Щебень скрипел у нас под ногами. Из открытого окна шел свет, доносились звуки танцевальной музыки. Пинек потянул шнурок, и за дверью брякнул колокольчик. Он тянул еще и еще, а колокольчик отвечал ему, словно в церкви. Музыка оборвалась, громкий женский голос спешно приблизился, закатывая кончики слов воинственным смехом. Разом распахнулась дверь. Хохот выскочил за порог, а вслед за ним — высокая резвая женщина. Еще суетясь и выкрикивая итальянские нежности, ни секунды не сомневаясь в том, кто это звонит, она сразу же повисла на шее Пинека. А может наоборот, она прижала Пинека к себе, словно к высокой и плотной колонне. Этот неприкрытый восторг поразил меня, но и разрешил мои сомнения, так как я всю дорогу недоумевал — куда именно тянет меня Пинек, и что именно он имел в виду, когда сказал: "отлично погуляем". Странно, она видит меня, незнакомого солдата, стоящего прямо возле них, и мое присутствие нисколько ее не смущает. Что это за дом такой?

Другое дело Пинек. Он ответил ей сдержанным поцелуем, положил ей руки на бедра, не с тем, чтобы обнять, а чтобы отстранить, и громче, чем следовало, объявил, что он привел с собой гостя, молодого парня — родственника. А итальянка слушается его, словно давно к нему привыкла, — сделал я еще одно умоЗАКЛЮЧЕНИЕ. А что именно у него с ней?

Женщина выпустила его шею и обернулась ко мне. Выражение ее лица быстро менялось. Прекратив смеяться, она словно стала ниже ростом. Даже при слабом уличном свете была видна ее тучная красота, темнота кожи и обилие волос, собранных в пучок на затылке. Она слегка кивнула и жестом пригласила меня войти.

— Пошли, — сказал Пинек и вошел первым. Женщина задержалась у входа, и пока я проходил мимо нее,

не то недоуменно, не то иронично глянула на меня и лишь затем заперла дверь. Так начиналась неожиданная ночь.

Мы стояли в комнате, заставленной настолько, словно в нее втиснули мебель из целого дома — тяжелую, темную, старую мебель. Всю середину комнаты занимал вытянутый стол, окруженный со всех сторон отличными стульями с высокими спинками. У стены стоял буфет, за гранеными многоугольными стеклами которого предполагалось обнаружить сервизы, но полупустые его полки занимали только продукты из армейских складов. Пухлыми матронами стояли у окна два кресла, а все остальное множество вещей по сторонам выглядело так, словно было какое-то несоответствие между ними и самой комнатой, а может, это и была типичная внутренность приличного итальянского дома. Меня никогда еще не приглашали в настоящий дом. В Риме мы забирались на ночь в какую-нибудь случайную нищую квартиру, ночевали в комнате, которую целиком занимала пара гигантских кроватей и иконы над ними. В прифронтовой полосе мы шлялись по оставленным и разрушенным домам, но такого дома, окруженного садом, с тяжелой мебелью и молодой тучной женщиной, которую звали Фелицией, а не Анна-Марией...

Я не определил возраста Фелиции, потому что в те времена двадцатипятилетняя девчонка казалась мне взрослой женщиной. В ярком комнатном свете она уже не казалась такой великаншей. Напротив, она кружилась перед моими глазами, и ее тело, столь гибкое, резвое и крепкое, распаляло мои страсти так, как встряхивают бутылку. Меня усадили в кресло возле окна, Пинек извлек сумку — и вывалил ее содержимое на стол: настоящий черный рынок. Каждая банка вызвала бурю слов, ласки и смех. Бедра Фелиции стяги-

вала узкая юбка, грудь теснилась под сатиновой блузой со множеством пуговиц. Всякое движение напрягало ее тело, вздымало бедра, колыхало грудь. Она так женственна, что я не могу отвести от нее глаз, отказать от влечения к телу, которое вручает себя Пинеку. Чего это он потащил меня сюда, что я, по его мнению, должен здесь делать между ним и ней? Хотел показать мне, что он теперь за Пинек — добывает себе бабу в любом городе? Но на что же я ему нужен в этом семейном гнездышке? Чтобы я поужинал с ним? Чтобы я написал домой, что Пинек совершенно оправился от того, что устроила ему подружка в те дни, когда он шлялся на юге по лагерям? Как ему не стыдно? Да ведь я Элиша, мальчик, в глазах которого Пинек был сказочным богатырем, Боже мой! И сейчас, сказал я себе, и сейчас еще не поздно удрать отсюда, просто сказать, что я передумал, что я боюсь неприятностей и хочу застать полковую машину, пока еще не поздно...

Я мог бы встать и уйти — если бы в самом деле хотел. Но я раздумывал о том, чтобы смыться, как раз потому, что страшно хотел остаться. Я страшился того, что должно произойти здесь (а мои инстинкты говорили, что в этом гнездышке вылупятся очень странные птенцы), но разрывался между страхом и жадной прокрасться за пределы дозволенного. Я не двинулся с места.

Некогда было мне и раздумывать, потому что все уже пришло в движение.

Феличия собрала все консервы, сигареты и пирожные, которые принес Пинек, и вышла из комнаты, а Пинек — вслед за ней. Я огляделся по сторонам. Неприкрытая лампочка свисала с потолка. На окне не было занавески. В углу, за вторым креслом, были свалены чемоданы. Один на другой. Это не собственный дом этой Фелиции.

Пинек тотчас же вернулся и сообщил мне, что нас ждет горячая ванна, и пока Феличия будет накрывать на стол, мы оба успеем помыться и переодеться.

— Переодеться? — засмеялся я. — Во что?

— Не волнуйся, Элиша. Это очень приличный дом, и прием гостей здесь на самом высоком уровне. С другого конца дома слышался живой смех Феличии, к которому примешивался голос еще одной женщины — приглушенный, словно шепот. — Получишь новое белье — станешь другим человеком... Что ты на меня так смотришь, Элиша?... Нет здесь ничего таинственного или криминального. Наш батальон стоит неподалеку отсюда, и мы решили, что нам тоже раз в жизни полагается буржуйское лето в Венеции, в Лидо. Добыли себе этот дом и превратили его в приличную, обставленную дачу, и... Понятно?

Феличия вернулась, неся в охапке стопку выглаженного белья. Она велела мне подняться и сунула мне в руки белье, расплескивая в то же время длинную хохотливую фразу по-итальянски. Все-то время она смеется.

— Ты понял, что тебе Феличия сказала? — спросил Пинек.

— Я ничего здесь не понимаю.

— Это для тебя, говорит, мавр ты распрекрасный... Ты знаешь, кто такой — венецианский мавр?

Феличия приложила ладонь к моему лбу, словно измеряя температуру. Она что-то сказала Пинеку, и оба рассмеялись. Он — сдержанней, чем она.

— Иди мыться, Элиша, — сказал он, и я почувствовал в его голосе раздражение. Если он ревнует ее, это неплохо.

Дом все еще оставался для меня загадкой; его наполняли полутьма и дух заброшенности. Но ванная говорила кое-что о прежних хозяевах. Стены, ракови-

на, ванна и унитаз были покрыты чем-то сиреневым. Запахи женской косметики перемешивались здесь с запахом солдатского пота. У стены стояли две пары солдатских башмаков, а на крючках висели промасленные комбинезоны транспортного батальона. Мы с товарищами, — сказал Пинека. Что значит — добыли себе дом и превратили его в дачу? Мне стало стыдно размышлять таким вот образом, и я решил, что все то, в чем я подозреваю Пинека, заложено, разумеется, во мне самом. Почему бы не воспринимать все так, как оно есть, в том числе и женщин? То, что здесь есть по крайней мере еще одна женщина, я понял, услышав тогда смех.

Наполнив ванну горячей водой, я скользнул в нее, продлевая пребывание в ней, насколько возможно. Это было редким наслаждением — плескаться в ванне, полной воды. В давнем детстве мама ставила жестяную ванночку посреди кухни. На примусе и на керосинке закипали огромные кастрюли, и мама нещадно терла и скребла мое тело. В ванночке была дырка, словно от гвоздя, и мама заткнула ее кусочком тряпки. Во время купания я забавлялся этой тряпочкой и вытягивал ее; тонкая струйка мыльной воли выскакивала наружу, а мама ругала меня и грозила отхлестать по голой заднице, хотя весь пол на кухне уже давно превратился в сплошную лужу. Когда я вдруг стал стесняться мыться в ванночке, я перешел в холодный душ, во двор. И только когда мне случалось зимой оказаться у наших родственников в Тель-Авиве — это случилось всего три-четыре раза — я тоже вкушал городской роскоши. С течением времени я, по правде сказать, начал даже питать отвращение ко всем способам умывания, кроме как под прямой струей, — в бассейне ли, в пруду, в раковине или в тазу. Но теперь, в комнате из сплошного кафеля, благоухающей косметикой, я вытянулся наги-

шом в клубящейся воде и почувствовал, что превращаюсь — как и говорил Пинек — в другого человека. Я все добавлял горячей воды, пока только можно было терпеть. Протер мочалкой тело и намылил спутанные волосы, так что поверхность воды покрылась пленкой грязи. Только тогда я улегся молча, с закрытыми глазами, и слушал, как стучит кровь в артериях, как прокатываются за дверью приглушенные голоса...

Видимо, я задремал в воде, или это был мгновенный обморок — но вдруг я пробудился от долгого и запутанного эротического сна, в котором участвовали и Феличия, и Нога, и молодая партизаночка из дома железнодорожников, и множество других женщин — виденных и не виденных, — проснулся и встал во весь рост. Из-за двери слышалась кутерьма мужских и женских голосов, разом говорящих и смеющихся. Я вытащил из ванны пробку, обдал себя сначала теплой, а потом холодной водой. Закутался в огромное полотенце, которое дала мне Феличия, насухо вытерся и стал таким красным и чистым, каким не был со дня выписки из санатория в Пезаро.

Только тогда я разглядел одежду, которую сунула мне в руки Феличия — коричневые синтетические брюки, наподобие американского летнего костюма, и желтую шелковую блузу. Я оделся и поглядел на себя в запотевшее зеркало: не Отелло, как сказала Феличия, а моложавый альфонс. Кому принадлежат эти красивые шмотки, пришедшиеся мне впору?

Когда я вернулся в главную комнату, там тоже все было по-другому. Стол был покрыт белой скатертью, плотно заставленной тарелками, мисками, бутылками и рюмками. А вокруг сидели люди, погруженные в то, что стояло перед ними, — ели и болтали о всякой чепухе. Пинек — где и когда он успел побриться и одеться

в гражданское? — Пинек первым заметил меня и приветствовал восклицанием:

— Пронто-пронто, сеньоре-и-сеньори¹, наш кузен восстал из вод...

Описывая ладонью левой руки круги в воздухе, он звал меня подойти к столу, а в правой держал ножик, которым позвякивал по посуде. Все обернулись ко мне — кроме Феличии там сидели еще две девчонки и два парня из наших, один в красно-желтом шелковом халате — цвета внутренностей спелого кактуса, а другой в американской блузе, на которой был накрашен целый зоопарк, — и приветствовали меня звоном посуды и дружескими воплями:

— Чири-о, Элиша!... Ке-белло²... Ба мир бисту шейн³... Он от мытья похудел наполовину... Где ты раздобыл такого славного родственника, Пинек?.. Боне-сера, бамбино!⁴

— Тихо! Тише, господа... Баста... — Пинек утихомирил компанию грозным голосом, и, поскольку я в смущении оставался стоять у дверей, встал, подошел ко мне и подвел меня к столу. Он снова был другим, отличаясь от моего Пинека и от того Пинека, которого я встретил в солдатском клубе. Он тоже был закутан в шелковый халат — густокрасного цвета, как вишневая наливка. Его редкие, еще не просохшие волосы были зачесаны назад, и он был похож на кинематографического гангстера (против воли я вспомнил семейную легенду об Аликуме, папином дяде, который отправился в Чикаго и сделался там предводителем известной банды, легенду, которую рассказывал папа каждый

¹ Внимание, дамы и господа... (итал.).

² Какой красавчик... (итал.).

³ Ты мне нравишься... (идиш).

⁴ Добрый вечер, мальчик! (итал.).

раз, когда хотел противопоставить наш образ жизни тому, что могло бы с нами случиться, если бы мы отправились в Америку, как это сделал, например, папин старший брат), или на актера, сбежавшего из римской оперы. Куда это притащил меня Пинек?

Он усадил меня на стул, который дожидался моего прихода, справа от Феличии, а сам уселся на свое место слева от нее. Похоже, что я и в самом деле вздремнул в ванной, потому что лица гостей пылали, а стол выглядел, как после уличного боя. Стаканы были красными от вина, но еще краснее были глаза выпивавших. По рыбным скелетам ползли спагетти, истекающие красной пастой, оставляя следы на белоснежной скатерти, в мисках посреди стола и на тарелках лежали кусочки мяса, обсиженные рисом и пропитанные томатным соком, жирный салат в уксусе, кружочки картошки и кольца жареного лука, ломтики американского сыра, битки с зелеными горошинами, половиночки персиков из австралийских консервов, — на всем лежала печать спешного разорения, словно их было не шестеро, а шестьдесят, и не час-другой, а целые сутки шло пьянство и обжорство вокруг этого стола.

Феличия еще накладывала мне в тарелку остатки яств, когда Пинек вытащил из-под стула бутылку виски — да, и виски тоже — привычным жестом наполнил мою рюмку и рюмки гостей и стал торопить меня выпить первым.

— Выпьем лехаим, словно мы только сейчас начинаем. Он простит нам, что мы не подождали его, а мы не будем спрашивать, чего он искал там в ванной битый час, — сказал Пинек.

— Нам как раз очень хотелось бы знать, — возразил обладатель звериной рубашки. Он выглядел, как один из футболистов нашего поселка — маленькие уши, прическа ежиком, на манер американских моряков, угло-

ватая нижняя челюсть, сужающаяся к подбородку, словно во рту у него шпатель, два холодных глаза — один прищурен, а бровь другого выгнута кверху дугой, как у Кларка Гейбла. В его шмотки меня и наряжали, если я не ошибаюсь.

— В ванной был, а! — сказал другой, в шелковом халате. Он был старше Пинека, но любил загорать, и его лысина, которую ото лба отделяла продольная морщина, сверкала, как витая булка на Рош-ха-Шана. — Это пехота, браток. Не каждый год случается им помыться...

— Кончайте это, — сказал Пинек, уже поднявший рюмку. — Подымай бокал, Элиша.

— Я не пью, Пинек, — такое решение созрело во мне, когда я увидел этот стол. Но уже раскрыв рот, я понял, как ответит мне Пинек.

— С каких это пор ты не пьешь, Элиша? — теперь он обращался ко всем остальным. — Он очень даже здорово пьет.

— То-то. Вкус того самого пьянства до сих пор у меня во рту. — Одной фразой я подтверждал свой отказ, раскаивался в том, что говорил на той свадьбе на крыше и перескакивал через пиццерию в Болонье.

— Одну рюмочку, чтобы удалить этот вкус, — настаивал Пинек. — Теперь все мы солдаты. Ты не мальчик, и я не уклоняюсь. Ну!

— Ну ты даешь, папаша, — крикнул тот, что был в кактусовом халате. — Одну рюмочку! Аванти!..¹

Феличия и две другие тоже издевались надо мной, подначивали и лопотали что-то непонятное.

— Он выпьет, — сказал Пинек. Он говорил то на иврите, то по-итальянски, обращаясь то к приятелям, то к девицам. — Этот мальчик выпил как-то, когда ему

¹ Вперед!.. (итал.).

было пятнадцать лет. Это была незабываемая ночь. Он говорил, как поэт. Как пророк... Тебе уже было в ту ночь пятнадцать лет?

— Почти шестнадцать, Пинек... — взмолился я.

— Почти шестнадцать лет. Стыдливый мальчик, не умеющий считать до десяти. А глотнул вина — и говорил такое, что возмутило стариков и расстроило целую свадьбу...

— Пинек, кончай.

— Так не рассказывай, что ты, мол, не пьешь. Стоит тебе выпить иногда — раз в три года — чтобы и мы могли насладиться поэзией, скрытой в темнице... — теперь он обращался к трем подружкам, которые переводили усталые глаза с тарелки на рюмку, стоящую между мной и Пинексом. Та, что сидела рядом с футболистом, была очень похожа на Феличию, может быть, ее младшая сестра, но тоньше и малокровней ее. Даже когда она хохотала или орала, все равно на ее лице прозрачной калькой застывало бессмысленное выражение. Та, что сидела напротив меня, вместе с лысым в кактусовом халате, была очаровательна. Я, впрочем, заметил это отнюдь не сразу. Хотя она тоже была загорелой, ее кожа была чистой и прозрачной, как текучий мед. У нее были очень светлые глаза, и несколько позже я вспомнил, что такие же глаза были у Боби, разве что в их голубизну вплелись паутинки меда. В те минуты, что она не ела и не редела вместе со всеми, я удивлялся — что она делает в этой комнате? Но об этом я раздумывал несколько позже. Теперь же — Пинек говорил по-итальянски, а они — послушно смеялись. — Этот юноша — темная пещера. В темноте он сочится словами. Кап-кап. Тип-тап. Сталактиты. Кап-кап ударяется о тип-тап и превращается в муранское стекло. В кристаллы. Но в пещере темно, и не видать ни "ке-белла поэзия", ни "музичче"... Только когда в него проника-

ет свет и наполняет его, только когда наполняют его вином — он начинает петь и изрекать, слова превращаются в красочный карнавал... Одну только рюмку, Элиша!

— Да брось, выпей уже и кончай все это, — сказал футболист. — А стихов не читай. Слова меня только нервируют.

— Он как раз очень любит стихи! — заорал Пинек, будто клад нашел. — Очень!... Была одна такая песня, ты меня все время умолял, чтобы я тебе спел... из "Веселых ребят"... Хорошие слова ей придумали — на иврите... Помнишь? — и не дожидаясь моего ответа, запел, подняв бокал, словно на сцене:

Все равно, поселюсь ли в хлеву я,
Иль дадут мне роскошный дворец, —
И хоть дерьма в нашем мире хватает,
Но мир еще не загажен вконец...

Все восторженно завопили, умоляя Пинека продолжать, а я — разом глаза мои наполнились слезами. Одним куплетом Пинек воссоздал целый мир, он пел с тем же молодым задором, со всей душой, — как в те незабвенные вечера, когда я сидел на горячей ступеньке, он с Хавивой и друзьями пели и пели, а я шептал: прекрасно, здорово, верно, так и надо, Пинек. Для чего он выбрал сейчас эту песню, — чтобы выдавить слезы из моих глаз, чтобы посмеяться надо мной? Над самим собой?...

— И эту! Эту ты тоже любил... — захлебывался Пинек от волнения. — Он был маленьким бесенком, этот Элиша!

По подземельям гулкий ветер воет,
И свет там не сочится из окон,
А человек там — плачет как ребенок,
А человек там — видит только сон...

— Я выпью, Пинек, — закричал я. — Только не пой!

Я выпил залпом. Все шестеро ответили мученическим воплем, радуясь удачной шутке, и выпили вслед за мной. Еще заглатывая напиток, я почувствовал, как, растворяясь во мне, он вонзает свои тончайшие жала — в небо, в кончики волос; как впитывается в мое тело расслабляющая теплота, такая сладкая, как та первая рюмка в болонском подвальчике. Человек там видит только сны. Не этого ли я хотел, не за этим ли я гнался с самого утра, когда мы спустились с гор.

— Закуси чего-нибудь, дружище, — сказал мне лысеющий сосед, и Феличия наклонилась ко мне, чтобы налить красного вина, и из-под ее розовой сатиновой блузы я почувствовал запах обильного тела.

— Осторожней с красным вином! — засмеялся Пинек. — В первый-то раз, на свадьбе, ты только от красного и захмелел.

— Не волнуйся ты за меня так, Пинек. Научился я кое-чему с тех пор, — ответил я, подняв рюмку. — За здоровье синьоры Фелиции и...

— Марчеллы, — пришла мне на помощь та малокровная девица, которая выглядела младшей сестрой Фелиции.

— И... — я повернулся к медовой красавице.

— Анны-Марии, — сказала та. Ее голос и был тем приглушенным до шепота голосом, который я слышал раньше.

— За Фелицию, Марчеллу и Анну-Марию, — провозгласил я и выпил. Вино было прохладным и бодрящим.

— Он так быстро меняется, — заметил футболист, выразительно скривив губы, словно возражая против такого изменения.

— Я же говорил вам. Элиша — это поэт. Зато его отец...

— Ты только отца моего не тронь.

— Твой отец — человек, перед которым я преклоняюсь. Но он никогда не делал ничего запретного. И это очень плохо.

— Оставь в покое моего отца, — я вдруг запыхался яростью и, хотя прекрасно знал, до чего же по-детски выглядит мое выступление в защиту отца, — меня так и тянуло говорить. — Обязан он, что ли, делать запретное только потому, что оно запрещено, или же напротив: нет ничего запретного?

— Философ, — обрадовался Пинек. — Разумеется, есть. Иначе нам нечего было бы нарушать!

— Пино, дай же бедняге что-нибудь поесть, — сказала Феличия. — Все остыло. Грех-то какой.

Я принялся за еду. Не от голода, а для того, чтобы остановить напиток, разливающийся по всему телу. Взгляд мой был ясен, руки тверды, но уже случилось то, что произошло в Болонье. Словно комочки ваты расплылись по моей голове, по всем конечностям, освобождая во мне что-то легкое и тяжелое в одно и то же время, притупленное, как при частичном замораживании, и видимое на огромные расстояния. Феличия здесь, поблизости, и я хочу коснуться ее, спрятаться в ее обильном теле. Анна-Мария сидит напротив меня. И тихим шепотом напевает какую-то итальянскую песню. По воплям двух других я заключаю, что песня не из самых приличных, но все же так соответствует ее целомудренному облику, что я не в силах отвести от нее глаз. Ее глаза, такие ясные, что из зрачков тянутся паутинки меда, глядят на меня через хрустальный бокал, зажатый в ее пальцах. В другом месте, в другое время, я бы вплеl свои пальцы в ее руку и спустился бы с ней к морю, слушал бы этот голос, опускал бы ее тело на землю и расцеплял бы одну за другой пуговицы ее летнего халата. И хоть все ее цвета совершенно иные, она такая же, как Нога.

Бокал, зажатый в пальцах Анны-Марии, снова полон, и мой — тоже. Ее глаза улыбаются мне, и она протягивает руку, чтобы чокнуться со мной бокалами. Не пей больше, Элиша, — предупреждал я себя. И пил. Пинек стоял за моей спиной, положив мне руки на плечо, словно старший друг. Все голоса сливались в общую неразбериху, и только то, что говорил Пинек, добиралось до меня с высоты. Как мог я преклоняться перед ним, верить, что нет никого прекрасней, сильнее и интересней, чем он? Он омерзителен. Они с товарищами наверняка воруют бензин и продают на черном рынке. Они занимаются частными перевозками. Они выделяют себе десятину, устраивают себе личный гарем в Лидо. Пинек и эти две рожи, да еще три шлюхи, и я с ними — для забавы.

Я вскочил, чтобы высвободить плечо из-под руки Пинека.

— Куда это ты направился? — спросил Пинек.

Я и не помышлял об уходе. Но вопрос направил мои мысли.

— Я должен идти. Я хочу застать нашу машину и вернуться с ними.

— В чем дело, Элиша? Снова в тебя какой-то бес вселился? Никуда ты ночью не поедешь.

— Я должен идти, — я выглядел нелепо в этой желтой блузе и узких брючках. Направился в ванную, чтобы переодеться.

— На меня-то ты можешь наплевать, но с часами этот номер не пройдет.

— Который час? — у меня часов не было. Никогда.

— Если бы даже паром отходил прямо сейчас, и если бы ты успел вскочить на него как раз в момент отхода, ты бы оказался на вокзале в пол-одиннадцатого, — и он пропел кусочек из своего любимого танго. — Не отчаивайся, милый, повстреча-аемся, милый, на

перекрестке двух миров...

— Ну все-таки, который час? — упорствовал я, не желая отступать. Мы с ним стояли у широкой двери, а все остальные тоже встали из-за стола и кружились перед моими глазами. А надо всем этим вдруг воцарился голос Тино Росси — над грузной мебелью, над уставленным столом, над слоняющимися людьми. Голос вырывался из запиленной пластинки так, как свистят на расческе, и все пятеро переживали вместе с ним: о, Мария Ма-а-а-агдалина...

— Полдесятого, — ответил Пинек. Он снова положил мне руки на плечо и притянул меня к себе. Его нос был толстый, раскругленный, а из прыщей на лице кустились длинные волосики. Глаза его, сохранившиеся в моей памяти черными, нагло скачущими, оказались дымчатыми, сидящими в морщинистых глазницах за поредевшими ресницами, как в запущенных гнездах. Я опустил глаза и попробовал выдернуть плечо, но Пинек не позволил мне. — Идиотом не будь, Элиша. Не будет у тебя больше никогда таких дней. Тебе девятнадцать лет. А тут — спелые плоды падают сами по себе. Сладкий запах гнили покрывает Европу. Жри, Элиша... Молчи! Ни слова! Я забыл ту ночь. Был ты мальчишкой. Не мог ты знать, что тогда было у меня с Хавивой... Теперь-то ты знаешь? Рассказали тебе, а?... Ну и прекрасно... Мы все забыли... Пошли, Элиша, я тебя не испорчу, а если и испорчу...

— Я не умею пить — и пью. Я пьян уже, Пинек, и ты знаешь это.

— Я о тебе позабочусь. Хватит об этом.

— Как тогда. Тогда ведь тоже — ты меня напоил. Потешался надо мною. Я хочу уйти отсюда.

Позади — Тино Росси распиливал весь дом, и вдруг подошла Феличия и стала между нами. Словно обручем обхватила она и меня, и Пинека. Тучная грудь при-

жалась к моей руке, ее дыхание обдавало мне лицо.

— Вы хуже итальянцев — весь день говорите, говорите... Танцевать ты умеешь, печальный юноша?

— Поди, потанцуй с Фелицией, Элиша.

— Я не умею танцевать, — упирался я, позволив сильной руке Фелиции утащить меня обратно в комнату.

— Парами стройсь! — командовал Пинек. — Раз-два-три, раз-два-три.

Фелиция пыталась научить меня танцевать, но близость ее тела спутывала мои ноги, сбивала их с ритма. Мы продвигались по тесной комнате, задевая друг друга. Гибкий футболист танцевал с Анной-Марией, и видно было, что он в свое время имел дело с салонными кругами. Он выделял скользящие фигуры, мимо мелькали то угловатая нижняя челюсть, то приподнятая бровь, одна рука сжимала ладонь партнерши, другой он придерживал ее за спину, как носят официанты клубящийся поднос. Плешивый танцевал с Марчеллой — угрюмо, короткими шажками, словно скользя по рельсам. Фелиция пронеслась мимо Пинека, выхватила его бокал, глотнула сама и приблизила к моему рту, словно матушка, поящая свое чадо. Я выпил. Я заперт в этой комнате, я лишен свободы и смертельно хочу расслабиться, не думать о себе, а порхать, кружиться, раствориться в этом призрачном мгновении. Я пил. Анна-Мария выхватила меня из рук Фелиции и сказала, что будет учить меня с самого начала. Она — специалистка по начинающим. Ее уверенностью наполнился и я, как наполняется воздушный шарик. Я сделался легким, меня влекло ввысь. Тело Анны-Марии было тонким и прохладным, пальцами я ощущал ее ребра. Как Нога. Другая, к чертовой матери. Сам по себе ты пляшешь, сам по себе ты пьешь, прижимаешь ее тело к своему, не говоря ни слова, и все просто и

весело. Алкоголь становился во мне водородом. Патефон визжит. Мысли глохнут. Все смеются. Я танцую с Марчеллой. С Фелицией. С Анна-Марией. Кто-то приглушил свет. Мы скользим в другие комнаты, возвращаемся вновь. Фелиция целует меня, а может и наоборот — это я целую ее. Мои руки сильно сжимают ее тело, и она поддается, прижимается ко мне, что-то шепчет. Я склоняюсь к ее уху, целую в шею. Она смеется, щипает меня в бок. Как просто все. Как просто. Выпить еще немного. Потанцевать еще немного. Обнаглет еще чуть-чуть...

Та ночь была очень долгой, но события не вплетались разноцветными бусинками меж ее началом и концом. Время кружилось замкнутым кругом, цепочкой цирковых пони: удар бича — и вперед, удар бича — и назад, удар бича — и все становятся на задние ноги. Пожарный оркестр играет вальс — и каждый пони танцует сам по себе, вокруг какой-то точки. Я был пьян, выпендривался и похвалялся собственным опьянением. Как-то между прочим подбежал к Пинеку и попросил у него прощения. Забудь все это, — сказал мне Пинек, — это уже не имеет никакого значения. Нет, это очень важно, — ответил я Пинеку в полном сознании, безо всяких там потуг протрезвления, — у меня не было никакого права стоять там на крыше и толкать речь, словно я был лучше тебя. Кто сейчас помнит, что ты там сказал, оттолкнул меня Пинек, пойдй, потанцуй с Анна-Марией. Не говори, что ты не помнишь, Пинек, — сказал я ему, — если я в нынешнем подпитии помню, что говорил в том подпитии, не рассказывай мне, что ты все позабыл. Как вы можете устраивать свадьбы на крыше этим летом, со столами, груженными всяким добром, с музыкой, — когда немцы приближаются к Александрии, когда они поднимают свастику над Альберосом, подходят к Каспийскому морю? Я помню, в

какой день была эта свадьба, Пинек. Я служил в противодесантном батальоне. Мы спали тогда в гимназии, в конце летних каникул, в гимназии, в которой я уже не учился, и не знал, откроется ли она когда-нибудь снова. Роммель подошел к Нилу, на юге России немцы были около Сталинграда. Казалось, что в любую минуту с неба могут спуститься десантники, как спустились на Крит. Я получил разрешение съездить на один вечер на свадьбу. Город был затемнен, и на крыше висели синие лампочки. Снова работы хватало, и ты, Пинек, вернулся из Рафияха, загорелый, веселый, раздающий подарки...

— Забудь это все, Элиша.

— Я не могу. Я хочу объяснить тебе, что меня тогда взорвало. Я не мог понять, как можно в такой вечер, в конце августа, когда весь мир стоит на краю гибели...

— Отвяжись от меня, Элиша. Что ты ко мне пристал?

— У меня не было права набрасываться на тебя, но я хочу, чтобы ты понял, что я тогда чувствовал. Вы напоили меня. Крыша танцевала перед моими глазами. В газетах писали, что делают с евреями на оккупированных территориях. А здесь — вальсы, кармельское вино — как сейчас, в Лидо...

— Что тебе здесь не нравится, Элиша?

— Ты, Пинек. Что здесь — снова последний день Помпеи?... Я не успел рассказать тебе, Пинек. Там наверху, на границе, я встретил нашего родственника. Он отвозил трупы в крематорий. Наш родственник.

— Иди к черту, Элиша. Убирайся отсюда. Шалом.

Этот момент ясно выпирает из той смутной ночи. Пинек сидел на одном из кресел, а я топтался у его ног, выпрашивая у него прощение за тот вечер, но просьба о прощении превратилась в крик души, в новое обвинение. Я вцепился в его бедро, словно можно

было вернуть прелесть его лицу, выглядевшему сейчас как тушка ошипанной курицы.

— Не гони меня таким голосом, Пинек. Дай мне спросить тебя кое-что о тех людях, которые прибывают к нам колоннами. Я, поверь мне, я хочу полюбить их опаленные лица, и я не могу. Я хожу среди них, и никого не знаю. Они все чужие мне. Но ты-то, Пинек, твердивший мне ответы на все вопросы, певший мне о мире, который встанет на развалинах прежнего, учивший меня слово в слово — "кто был ничем, тот станет всем" — ты-то чего сидишь сейчас здесь? Зачем? Почему?

— Уйди от меня, глупый ребенок! — Пинек вытянул ноги и оттолкнул меня, встал и словно его не было.

Этот момент ясно сохранился в моей памяти. Я лежал на полу, уставший до смерти, умиравший от желания спать. Феличия склонилась ко мне, и я почувствовал, как скользят по лицу ее щеки, словно перо, как катятся по мне ее груди. Я вцепился в нее. Она собиралась поднять меня, но мне хотелось уснуть там, где я лежал, не двигаясь с места. И это все. Больше я ничего не помню, разве что отрывочно, безо всякого порядка, который устроил бы трезвого человека. Я сильно обнял Феличию и притянул ее к себе, и никому не удалось оторвать ее от меня. Так я и заснул.

7

Проснувшись, я все еще видел сон.

Мы были в той неприметной иерусалимской гостинице, в которую забрались в последнюю ночь. Теперь, больше чем в первый раз, в Хайфе, с первой же минуты я боялся остаться с ней наедине. Во сне (а в этом своем

сне я не спал) мы лежали, прижавшись друг к другу в незнакомой комнате с толстыми стенами и железными ставнями. За стеной из крана текла вода. Тихо смеялась женщина; ей, зевая, вторил мужчина. Я сильно обнимаю Ногу, ее прохладное тело. Элиша, обними меня, не спи, — шепчет Нога (во сне мне хотелось оторваться от нее, что и случилось на самом деле, но только во сне). Иди сюда, Элиша. А я замерзаю, как в те далекие ночи, в детстве, когда я оставался один в своей комнате, а шакалы забирались во двор, становились у окна и выли. Обними меня, Элиша, — шепчет Нога, — и я прижимаю ее к себе, чувствую, как отмирают мои конечности. Завтра ты уезжаешь, Элиша, — говорит Нога, и мне совершенно ясно, что она имеет в виду (во сне, но я упорно не желаю отделять мой сон от того, что там было на самом деле), и страх привинчивает меня к этой чужой кровати. Завтра я уеду, и у меня больше не будет Ноги. Напрасно она шепчет мое имя, напрасно прижимается ко мне. Иди сюда, — шепчет Нога (во сне, во сне), и слезы побежденного, предполагаемые изначально, зримые издавека, сползают струйкой из уголков моих глаз. Сталактиты, — орет Пинек, — сталактиты...

— Каро мио¹, слезы!

Ясный голос Феличии прорвал пелену сна, хотя мое сознание покинуло этот сон еще раньше и просматривало его со стороны, снизу. Я раскрыл глаза. Незнакомая комната, где я лежу в большой кровати. Сквозь щели жалюзи, слева от меня, сочились горизонтальные черточки очень белого солнца, и из-под сомкнутых глаз казалось, что они вытягивают блестящие полосы. Справа лежала Феличия.

¹ Милый мой... (итал.)

Совсем наоборот: когда раздался этот голос, женщина, запертая в моих объятиях, тоже оказалась живым существом, и я испуганно отпрянул, уселся на кровати, отвернулся влево и увидел солнце. Справа хохотала Феличия, приподнявшись на локтях, потом приблизилась ко мне и притронулась длинным пальцем к уголку моего глаза.

— Почему ты плачешь, красивый мальчик?

К сновидению и обратно протянулся мост. Я коснулся своих глаз. Они были клейкими и влажными. Что произошло в промежутке между вчерашним вечером и нынешним утром? Я помню: лежал я там на полу, вцепившись в Феличию, прижавшись к ней. А потом? Я помню: кто-то раздел меня, лил мне холодную воду на лицо, на затылок (я наклонялся к унитазу и блевал), укладывал меня в кровать. А потом? Как это оказалась Феличия в шелковой или сатиновой рубашке — в этой широкой кровати, вместе со мной?

— Дове тутти? Где все?

Феличия глянула на меня в упор и рассмеялась:

— Ты боишься меня? — она говорила по-итальянски, и я не понял ни слова. То есть, все было и без того слишком понятно.

— Дове тутти? Дове Пинек?

— Ушли. Все ушли с утра. На работу... Ох, что же ты плачешь?

Мы с ней лежали в широкой кровати, словно это каждую ночь у меня так — просыпаюсь, а у меня в кровати женщина. Феличия приподнималась на локтях, лицом ко мне, ее толстое бедро вздымалось над нами, а груди выплескивались из выреза в рубашке. Она с любопытством глянула на меня, безо всякого страстного тумана во взгляде, о котором я читал в порнографических брошюрках. Вытерла мне пальцем глаза, продолжая улыбаться. Ничего дурного не произошло.

— Отелло-молокосос, — засмеялась она.

— Который час?

Только за это я и мог зацепиться: я не вернулся в часть, исчез без спросу, а теперь еще и упустил машину, которую пообещал мне устроить Пинек поутру. Ну и дела.

— Время — все наше. Пино сегодня не вернется.

Так, значит. Стыда у ней нет, греха не боится. Ее тело наполняет мои глаза, мои руки наполнены тем, что минуту назад присутствовало в моем сне. Не сон, а эта вот мысль занимает меня все время: почему Нога ушла к другому? Это скрыто во мне: плод тощей земли, последствие засухи; скованные инстинкты, молчаливый страх перед неким животным, заключенным во мне, — обо все это мы бились, словно об стенку, даже тогда, когда, казалось, пали все преграды. Зачем ходить вокруг да около, когда я знаю, что дело именно в этом? Все запретно, запретно, запретно — сухая домашняя целомудренность, устрашающее видение — могила для страстей. А что такое — могилы для страстей? Я коснулся Феличии, прижался к ее телу, — а она смеется, смешливо ожидая, что я протяну руку и возьму ее тело.

Прежде, чем я почувствовал кончиками пальцев упругость ее плоти, она приблизилась ко мне сама, желая меня. Просто, просто, просто, отстукивал мой голос, празднуя победу над другим: свято, свято, свято.

Просто, просто, просто. Я стянул с нее рубашку, а она приподнялась на локтях, чтобы помочь мне. Она не отводила от меня глаз, и в свете ярких продольных полос я видел, что ее глаза фиксируют каждое движение моего лица. У нее толстые, слишком грубые губы, но что-то в них дрожит, словно записываясь и стираясь. Она подняла свои смуглые руки и обвила их вокруг моей шеи. Мосты сожжены. Крепость наглухо окруже-

на, всеми кончиками нервов я впитываю волны ее тела, открытого для меня. Как смешно: просто, просто, просто.

— Не будешь больше плакать, прекрасный мавр?

Толстые стеклянные стены сделаны из ничего, словно столб пыли, о который разбивается нахлынувшее солнце. Все страхи рассыпаются, как карточные домики. Зимой у нас сухое русло, что на границе поселка, переполняется водой. С юга приходят черные воды, гоняя щепки, картонные коробки из-под обуви, пустую масленую бочку. Дождь утих, сошли воды, а мы запускаем плоты и бумажные кораблики. Вода лижет корабли снизу, просачиваясь внутрь. Размягчаются стенки, падает мачта, распрямляются все складки, становясь размокшей тетрадной обложкой, тонущей в красноватой пене. Не буду я плакать, Феличия. Все просто, просто, просто.

Мое лицо утопало в подушке. Снова ударили мне в нос пары алкоголя из прошедшей ночи. Сладкий запах косметики Феличии. Жарко сегодня. Прошибает потом. Снова я не то пьян, не то печален, не то утомлен. Чего это мне вдруг так грустно, с чего бы это?

— Почему ты молчишь, мавр? Почему ты не поднимешь головы? Я хочу поглядеть на тебя, красивый мальчик.

Сильными руками приподняла мою голову и протиснулась между мной и подушкой. Ее тело было теплым и потным. Я уселся на кровати, свесив ноги на пол, спиной к ней. Чем я вообще здесь занимался — в кровати Пинека, с его женщиной? Как я добрался до этого обнаженного полдня?

— Ты снова плачешь, святая мадонна?

Спиной я почувствовал тяжелый скрип кровати. Феличия перевернулась на спину, подкатившись ко мне. Я не хочу касаться ее, я должен смыться, убежать

обратно, к исходной точке. В теле все еще шуршал умирающий ритм — просто, просто, просто, — но ему уже противостояло рыдание: разбито, разбито, разбито.

Феличия вцепилась в мою голову сильными руками, словно щипцами для орехов, и повернула меня к себе. Ее волосы, заколотые вчера за ушами, покрывали ее плечи, словно шелковой шалью. И сквозь них, как сквозь жалюзи, пробивалось черное солнце, и в волосах сверкали черные молнии. На ее толстых губах возникало и исчезало что-то, словно бесовские письма. Снова переполняла меня вода и желание пускать кораблики в этом пенистом потоке. Как просто — покорять, как сладко — просто, просто. Она поджала ноги под себя, склонившись ко мне, не стесняясь, словно нагота совершенно ничего не значит. Ее тяжелые груди виделись мне как через увеличительное стекло, все жилки, все складки кожи, обилие, прикасающееся к моему телу. Я ничего больше не хотел, только отвернуться и не глядеть. Не желаю я, после всех стыдливых терзаний, этой наготы — обильной и постижимой. Я хочу убежать, оказаться вроде бы перед тем, в чем я нахожусь теперь — и я знаю, что туда невозможно вернуться. Как я очутился в кровати у Пинека? Не знал, что ли, Пинек — что он делает, когда оставлял меня здесь одного? Как он мог не знать?

— Мне нужно идти, — сказал я и попробовал встать.

— Зачем? — засмеялась Феличия, — Пино не придет. Никто не придет. Они уехали в Германию. На четыре дня. Четыре дня ты пробудешь тут, Отелло.

Мои глаза рыскали по всей комнате, но одежды не было видно. Я постеснялся бегать нагишом по комнате.

— Если я не вернусь сегодня, меня посадят в калабуш — в тюрьму. — С тех пор, как мы оказались в Ита-

лии, мы стали употреблять немногие известные нам арабские слова. Все-таки иностранный язык.

— И ты не пойдешь в тюрьму ради Феличии? — Феличия надулась, еще сильнее прижавшись ко мне. Я знал, что должен приласкать ее, сказать что-нибудь приятное в знак благодарности, но у меня как-то язык не поворачивался. Мне все еще хотелось вести себя так, как будто ничего не произошло. Глаза искали — чем бы прикрыться.

— Хочешь идти — иди! Каждой минуты жаль! Иди!

Голос шел сзади, и вдруг оказался чужим и сухим, полным презрения. Так-то оно лучше. На полу, возле сундука валялись гражданские брюки, которые я носил вчера. Я вскочил с кровати, торопливо оделся и вышел.

Когда я снова надел мундир и кованные башмаки и стоял в темной и тихой прихожей, взявшись за ручку двери, — я снова пришел в себя. Нельзя так уходить. Феличия не жена Потифара, а я не Иосиф. И не Ионатан. Я попробовал меду, и прекрасно знал, что сам грешен. Я стоял возле большой комнаты, той, в которой мы вчера веселились, и глядел на следы разрушения — стол, заваленный грязной посудой, перевернутые стаканы, женские туфли, рубашка, расписанная животными. Теперь в доме стоит мертвая тишина. Ни шороха. Анна-Мария и Марчелла наверняка еще спят, а Феличия плачет, уткнувшись в подушку... Я не могу удрать так, словно сам я праведник. Загляну на секундочку — попрощаться с ней. Поблагодарить ее. Такое свободное ощущение — без прыжков души, без арий, без "аморе" — не этого ли я хотел. Всегда.

Я боялся войти, боялся, как бы вновь не захлестнули меня черные воды. Да ведь я не хочу уходить отсюда, Феличия, я страшно хочу снова испытать эту немую

ситуацию с двумя неизвестными — мужчиной и женщиной. Только не плачь, когда я войду.

Она не плакала. Укрывшись простыней до подбородка, повернувшись спиной к солнцу, уронив волосы на щеки — она спала. Ее тело выглядело умиротворенным, и выпукло покачивалось, словно на ветру. Мои каблуки стукнули о пол, и я побоялся, как бы не разбудить ее. Все же я подошел к кровати, нагнулся к Фелиции — пружины матраца скрипнули. Она спала с открытым ртом, и кончики волос дрожали возле ее губ. Я отвел волосы и коснулся ее щеки. Она не заплакала, не вцепилась в меня, не проснулась. Я хотел уйти, и мне было горько, что я ее больше никогда не увижу, разве что вспоминая эту ночь и этот полдень.

Я вышел из комнаты. Вышел из дома. Никто не бежал за мной, никто не звал вернуться. Я остался наедине с собой.

ЗЕМЛЯ ВРАГОВ

1

Мне повезло вдвойне. До Вероны я добрался быстро, в два прыжка, но тут, по дороге в Милан, я застрял. Я сидел в темноте, без гроша в кармане, и только сумка была полна товаром — сигаретами, которые я не продал в Венеции и из-за которых-то мне и пришла в голову сумасшедшая мысль продлить себе отпуск. Предполагаемого наказания мне все равно не избежать, так погляжу, по крайней мере, и на Милан. Кого вообще можно напугать четырнадцатью днями гауптвахты в нашем заброшенном альпийском городишке, и кому повредит лишение зарплаты, которой мы и так не получаем? На недельное жалование можно купить пачку сигарет в двадцать штук. Я еду в Милан.

Иначе говоря, я сижу на краю шоссе, вокруг меня сгущаются сумерки, холод пробирается под кожу, и нет никаких признаков приближающегося транспорта. Если и проезжают редкие машины, то и те в обратном направлении, к Венеции. Искуситель, который прекратил издеваться надо мной с тех пор, как я убежал от Феличии, шепчет мне в застывшее ухо: перейди на другую сторону дороги и возвращайся туда. Там ждет тебя кровать, там ждет тебя Феличия. Еще одну только ночь. Что это меняет?

Этого вообще никогда не было. Вычеркнул я Феличию, — отвечаю я искусителю.

Понюхай кончики пальцев. Ты полон запахами ее парфюмерии, обильной сладостью ее тела. Не будь ребенком. Как это Бродский говорит: ничего она у тебя не украла.

Слушать не желаю. Пинек, черт бы его побрал, отнял у меня последний из страхов, последний из запретов; подлец, с явным намерением оставил меня наедине с Фелицией, может, даже сказал ей, как со мной поступить.

Перестань строить из себя кошерную корову. Не будешь же ты отрицать тот факт, что все было просто, просто, просто.

Да не я там был, не я... Ох, Нога, ведь я так сдерживал себя — красотой, чистотой...

— Ну-ну.

— Правда-правда. Я...

— До смерти хочу вернуться к Фелиции.

— Я еду в Милан.

— А что там?

— Я ведь, в конце концов, свободен. Я ведь совершенно один, ни с кем не связан, плевал на все. Я хотел так вот разгуливать по свету — как вольный ветер.

Ветер застрял на шоссе. Попуток-то нету.

Я не вернусь к Фелиции.

Хорошо, ладно. Вернись в такое место, где ходят машины.

Не в Венецию.

Там посмотрим. Сначала перейди на другую сторону дороги.

Теперь я старался остановить любую машину — на запад ли, на восток ли. Стремительно пронесся джип, и уже проехав несколько десятков метров на восток, остановился. Я бросился к нему, а джип двинулся зад-

ним ходом в мою сторону. На заднем борту я разглядел бело-голубой значок нашей бригады. На переднем сидении, около водителя, сидел офицер. Я испугался и отдал честь. Будут у меня теперь неприятности. Они увидели значок на моем рукаве, оттого и остановились. На фуражке офицера была укреплена медная змейка медицинского корпуса.

— Куда тебе? — спросил офицер. Взгляд его был теплым. Он не выдаст меня.

— В часть, — ответил я. — Как можно ближе к части, сэр.

— Мне показалось, что ты направляешься в Милан.

— Нет, сэр. Чего вдруг?

— Милан — прекрасный город. Я только хотел сказать тебе, что бригада отправляется...

— Отправляется!... — задрожали мои колени.

— Через сорок восемь часов. И если у тебя нет увольнительной — а у тебя ее нету! — тебе стоит проехаться с нами!

— Благодарю вас, сэр!... Я...

— Не болтай. Забирайся в джип.

Это и было моим двойным везением. Без остановок, с бешеной скоростью мы покрыли это огромное расстояние. Ночью я уже лежал на собственной кровати, словно вернулся из сновидения. Милана на свете вообще не существовало. Утром Лэйзи сказал мне, что просто не возникало необходимости покрывать меня. Никого не проверяли, а с утра начались лихорадочные приготовления к отъезду. Моего отсутствия никто не заметил.

Куда двигаемся?

Никто не знает; может, во Францию, может, в Голландию, — неизвестно. Едем, по-видимому, через Германию, но там, разумеется, не задержимся, по всей видимости. Главное для них — это убрать нас с границы,

прекратить движение евреев на юг. Найдут нам какую-нибудь дыру, в которой мы ничего не сможем сделать.

То, что вдохновляло нас по выходе из Бризигеллы, не повторилось. Поминальный сбор, клятву у знамени, чувства, переполнявшие нас перед походом в стан врага, — все это каждый прятал в себе, словно под камешком. Поход, прервавшийся у границы, теперь не возобновить. Отправляют нас — мы и едем, остановят нас — будем стоять. Ряд за рядом выстроились на зеленом поле сотни машин, заминая траву, прочерчивая грязные колеи. Связисты подсакивали на своих мотоциклах. До вечера мы освободили станционные помещения и последнюю ночь провели в поле, в палатках. Все поспешно выбирали себе напарников, и Бродский предложил мне присоединиться к нему. С болонской поездки связь между нами оборвалась, и я обрадовался, что он протянул мне руку, не сводя счетов. Его общество меня устраивает. Он такой, каким его сделали дороги, по которым он шесть лет бежал от погони. В конце концов мы сходимся, разве что он не выдирает себе глаза по этому поводу.

Бродский уже успел занять нам удобные места в кузове и помог мне уложить вещи. Словно назло, как раз вчера я получил те книги, которые как-то просил у Ноги и уже не надеялся увидеть их: ищи вот теперь им место. Все эти недели, когда мы сходили с ума от безделья, — не было книги под рукой, а вот теперь со мною отправляется тяжелое снаряжение — Ляховер и Чериковер, Ладыжинский и Динготт. Даже учебник по химии из британского института обучения по переписке — который я оставил у нее — не забыла. Что это она так заботливо выслала все-все: успокоить меня или рот мне заткнуть? Или чтобы уничтожить воспоминания обо мне в ее комнате? Я говорю о "ее комнате", словно она еще не вышла за этого Ривкина или Белки-

на, или черт его там знает как... Но если все это так, если это действительно так, зачем же ты вернулась ко мне в этих книгах — и именно сейчас? То есть не потому, что — за день до отъезда, а потому что — на следующий день после Феличии. Я люблю тебя, Нога, ты нужна мне, и почему же ты не прибавила ни одной строчки от себя ко всем этим страницам, кроме твоих собственных тонких черточек под словами и замечаний на полях? Почему ты явилась так внезапно? Кому это нужно обновление мучений? Зачем?

Снова ползут цепочки машин по склонам гор — медленно и с долгими остановками. Крутые склоны расползаются по телу мягких долин. Итальянские слова уступают место рисованным готическим буквам. Снова как в тот единственный раз в Клагенфурте, разве что на сей раз мы едем по шоссе и тянемся на запад. Жала чувств затупились и размякли — и не боль, и не гордость, и не примирение, и не мстительность. Нас везут через вражескую территорию.

С наступлением вечера мы съехали на зеленое поле, выглядевшее, как плантация люцерны после поливки. Приехавшие первыми уже выделили квадратики стоянок для батальонов — воткнули в траву маленькие таблички, и военная полиция распределяла нас по местам. Примусы гудели. Самые резвые уже выпололи себе участки для лежанок. Мы с Бродским расставили свою палатку, сунули под брезент вещички, взяли миски и отправились к котлам. Там уже выстроился весь батальон и спокойно дожидался чая, хлеба с вареньем, мяса с овощами. Выдрессированы мы до кончиков ногтей. Оставили себе немножко теплой воды, чтобы смыть мясной жир, вытерли жирным посудным полотенцем миски и стояли без дела в нелюбезной тьме. Черное поле, черные горы, а мы пытаемся объяснить друг другу, что здесь — Австрия. Кто-то выскочил из

темноты и, гогоча, провозгласил, что на выборах победили лейбористы. Для нас это хорошо, — сказал один. Вот она, людская неблагодарность, — сказал другой, — Черчилль им войну выиграл — и вот уже его отправляют ко всем чертям. Есть у них здоровые чувства, — отозвались со стороны. А нам все равно. И те, и другие — одинаковые суки. Если есть какая-нибудь тема, которая их совершенно не волнует, так это евреи. Ну, орлы, пошли спать. Утро вечера мудренее.

Шесть недель, которые мы провели в солидных помещениях с высокими потолками, на матрацах, размягчили нашу плоть. Несмотря на то, что мы устелили землю срезанной травой, полосками резины и одеялами, уснуть было нелегко. Неровности земли вонзались мне в бок, я терся лицом о край палатки; воздух был тяжелый и скверный, да и такого не хватало. Я вертелся с бока на бок, обеспокоенный шумным дыханием Бродского, возвращаясь в мыслях к происшествию в Лидо, к неожиданно прибывшим книгам, к отцовским письмам, убеждающим меня возвратиться домой. Как только прибудем на какое-нибудь постоянное место, решил я, начну энергично добиваться демобилизации. Мне непременно надо вернуться домой. Не просто, не просто.

Сквозь сон я услышал шум, словно грохот пушек, словно нас закинули обратно — на войну. Было тепло, но я вкопался в одеяла. Длинные очереди рассыпались по краям палатки — равномерно, как из пулемета. Синие молнии раскалывали небо, громы осыпались где-то поблизости от палатки. Я терся лицом о край палатки, который был влажен, как полотенце. Я проснулся в разгар летней грозы. Дождь хлестал палатку тяжелыми струями, и маленький сухой треугольник, хранящий нас, казался ловушкой. Я сунул руку под край палатки и вляпался в грязь. Повернулся к Бродскому.

— Ты спишь?

— Как тут можно спать? — ответил он мне вопросом.

— Может, подбежим к машинам?

— Дураками будем. Это же летний дождь. Скоро пройдет.

Мы лежали под прогнувшимся брезентовым потолком, а дождь продолжал хлестать, как из пожарного крана. Было душно; палаточные опоры начали склоняться одна к другой, и намокшая стенка палатки опустилась мне на голову.

— Палатка падает, Бродский, — закричал я в темноту.

— Пусть падает, к такой-то матери!... Главное — это лежать и не двигаться. Под нами — резина, а над головой — брезент. Полежим в грязи, как мешок с почтой, и вылезем сухими.

Но в ту же минуту я вскочил с места. Омерзительный жучище нашел время залезть мне под одежду и ползти по спине. Я сунул руку под куртку, чтобы поймать его и раздавить. Это была вода. С краев резиновой обшивки или черт ее знает откуда вода стекала тонкой струйкой прямо мне на спину. Это был ужасный момент, чуть ли не обморок, словно я снова оказался в той далекой ночи, когда я лежал на своей кровати, под клеенчатой простыней; кругом стоял запах резины и талька, меня охватывал страх, что я закрою глаза и не смогу управлять собственными поступками; словно вновь наступила та ночь в госпитале, когда меня одели в загаженную пижаму. Я решил, что все-таки стоит попробовать добраться до какой-нибудь машины. В поле, вокруг нас, слышались крики и смех. Черт бы их побрал, поставили нас в низине, вот к нам вся вода и стекается. Я стал на четвереньки и направился к выходу.

— Надо что-то делать, Бродский!

— Не шевелись! — заорал Бродский.

Слишком поздно. Пока я полз на коленях в этой кромешной тьме, я утащил за собой всю палатку, — выскочили крюки, опоры обвалились, и потолок лег мне на спину.

— Еще лучше, — заржал Бродский. — Теперь мы обложены со всех сторон.

— Я не собираюсь стоять на коленях до утра и держать на себе палатку...

— Наоборот: дай ей упасть на нас. Будет сухо и тепло.

Так мы и лежали, окруженные водой, задыхаясь и рыча по-индейски со всем батальоном, разбросанным по полю, словно по большой луже. Дождаясь утра, я засыпал и просыпался, спасаясь от воды. В конце концов дождь прекратился. Мы снова приподняли края палатки, как Ной на Арарате, — и поле засияло зеленым снизу и прозрачным сверху. Бродский извлек свою винтовку, завернутую в одеяла, мы вдвоем выставили ее вертикально и подняли ею края палатки, тяжелые от воды, становясь на колени и приподымаясь постепенно вместе со всей тяжестью, пока не оказались стоящими во весь рост на оголившейся лежанке, а над нами развевалась наша палатка. Резким движением мы скинули ее с себя, словно плащ, и остались на своем относительно сухом пятачке — и тут нашим глазам открылась картина полного замешательства, творящегося на поле. Солнце еще не взошло, на всем лежал молочно-голубой свет — не то день, не то ночь. На небе не было ни облачка, словно все, что обрушилось на нас за ночь — не с небес нисходило. По влажной траве слонялись несколько десятков солдат; вымазанные в грязи, полунагие, закутанные в одеяла, груженные своим добром, — все искали дорогу к машинам и к шоссе. Боль-

шая часть палаток обвалилась, и тот, кто еще не успел выбраться, болтался под брезентом, словно в ловушке. Визги раздавались со всех концов поля — одни покатывались со смеху при виде других. Так и мы. К нам подошел Лэйзи, на котором не было ничего кроме длинных подштанников, — весь в грязи, на спине связка одеял, рюкзак под мышками, и шнурки ботинок в зубах. Выделывая босыми ногами огромные дуги, он мчался к шоссе, скача, как верблюжонок, проваливаясь в ямки, скрытые, словно мины, в зеленой траве. О, такое утро оправдывает все неудобства!

Тут же на месте мы начали раскладывать свои вещи — промокшие в одну кучу, сухие — в другую. Не только нижние части обеих сумок, но и все, что лежало в нижней половине рюкзака — промокло. Книги, которые я получил от Ноги всего два дня тому назад, — погибли. Когда они прибыли, я не знал, что с ними делать, но теперь у меня защемило сердце, как будто это был знак свыше. Если бы мы пробыли здесь день-два, может быть, мне и удалось бы их спасти, но если их уложить в таком вот сыром виде — совсем сгниют. Надо оставить их на этом поле, да как же так можно?

В одну из наших прогулок на вершины гор мы наткнулись на какую-то заброшенную гостиницу. Там было полно германских газет, обеды и другие признаки того, что кто-то здесь был. Там я нашел простыню, и с тех пор спал на ней. В эту простыню я завязал книги, чтобы отделить их от промокшей одежды; мы кое-как оделись и поплелись в сторону шоссе. Полевые кухни вышли из строя, кроме того, несколько машин застряло в грязи, — это задержало нас с отъездом. Мы воспользовались этой задержкой, сели и развесили мокрые шмотки на веревках, которые протянули в кузо-

ве, и вылезли погреть свои кости подоспевшим солнышком и опоздавшим чаем.

Вдруг я увидел кучку солдат, собравшихся поблизости. Судя по их толкотне и сосредоточенности, чувствовалось, что там творится нечто незаурядное: слухок, или новость, или потрясающее известие. Я направился туда и, к своему удивлению, увидел Гилеади в центре тесного кружка. Спросил, в чем дело, и мне ответили: Гершлер убит.

Из многочисленных вопросов и ответов Гилеади вырисовывалась картина во всей полноте. Гилеади принимал участие в экспедиции, которая проходила по разным местам и искала уцелевших. Вчера он вернулся из Вены, чтобы присоединиться к нашей колонне. Я был настолько погружен в свои дела, что только теперь, когда он вернулся, узнал о его отсутствии. Он рассказал, что Гершлер, исчезнувший в Милане — когда его с Боби отправили туда, сразу после опознавательного смотра — двинулся, как и передавали по слухам, искать своих родственников в Будапешт. В Вене — так рассказывал Гилеади — он нашел связь с нашими тамошними людьми, занимавшимися переправкой евреев, и они помогли ему документами и деньгами, и вообще ввели его в курс дела. Через две недели он снова появился в Вене, рассказал, что нашел своих родителей и что он собирается снова ехать в Будапешт, переправить их через границу. Люди, которые рассказали все это Гилеади, почувствовали по словам Гершлера, что он не все им рассказал и что, наверно, его родители не рискуют идти вместе с ним, а может даже он рассорился с ними. Он отказался от предложения воспользоваться помощью наших людей и сказал, что еще вернется к ним. Он не вернулся: как появился, так и пропал. Все были заняты многочисленными делами и о Гершлере просто позабыли. Только случайно один из них

услышал, что какой-то палестинский солдат погиб в дорожной катастрофе. Из документов, найденных при погибшем, выяснилось, что это был наш Гершлер.

— Утверждали, что он погиб в катастрофе, — рассказывал Гилеади, — и круг около него теснился и разрастался. — Говорили, что споткнулся и упал с подножки трамвая. Этот рассказ казался мне неубедительным с самого начала. Мы-то знаем Гершлера, да и товарищи из Вены рассказывали, что он вел свои дела обдуманно и осторожно, и был охвачен желанием спасти своих родителей. Такой человек с трамвая не падает. Я решил лично проверить этот случай. Проглядел отчет в полиции, почитал показания свидетелей...

— И дали тебе? — прервал его Покер почтительным тоном. Тонкая улыбка обозначилась на изысканном лице Гилеади, лице кассира:

— Не забывайте, что я — майор! Я был специально послан в Вену для проведения следствия...

— Ну и пройдоха! — глянул Покер на слушавших. — Так что же ты выяснил?

— Убили его. Ехал как-то вечером в полупустом трамвае, и прицепилась к нему шайка нацистов. Подрались. Гершлер был парень не слабый, но их-то было больше. Немногочисленные свидетели смылись. Нацисты избили его до потери сознания и сбросили — сбросили его под колеса встречного трамвая.

Мы были потрясены. Невозможно поверить, что просто так, в оккупированном городе, полном солдат из стран-победительниц, убивают солдата.

— Ты уверен?... Откуда можно узнать все эти подробности?... Они отняли у него что-нибудь?... Может, было что-нибудь до этого?...

Гилеади никак не реагировал на эти вопросы. Его бархатное лицо потускнело, но мы уже не ошибались на его счет. Крепкая сталь протянута под этим барха-

том. Он говорил страстно, чуть ли не с презрением:

— У вас еще есть вопросы, после всего, что было? Вы спрашиваете, зачем убили еврейского солдата, одного, ночью, в пригороде?... Только это? А после того, как убили, разве было проведено настоящее следствие? Пытались ли найти убийц?... Ничего подобного. Записали показания кондуктора. Тот рассказал, что Гершлер вскочил в трамвай на ходу, споткнулся и попал под колеса встречного трамвая. Полиция записала это и закрыла дело. Военная полиция тоже не поинтересовалась.

— Так как же все-таки ты узнал, что там на самом деле было? — упрямо допытывался кто-то.

— Нашли кондуктора. Мы уж с ним поговорили, не волнуйтесь, — сказал Гилеади, глядя куда-то в сторону. — Но Гершлеру-то, ему это уже не поможет.

2

Легко представить себе, какой вид имела наша колонна в тот день, когда мы пересекли границу и вошли в Германию. Вдоль кузовов мы протянули веревки и ремни, и вывесили наши одежки на просушку; на себя же мы надели то, что осталось сухим. Выглядели мы как цыганский табор.

Но только на первый взгляд. Не цыганами шатались мы с одного места на другое, в то время как все наши мысли были прикованы к этим вот краям. И спустя четыре дня, выходя через другую границу, западнее Рейна, мы были уже не такими легкокрылыми.

Мы ехали по Тиролю, прижимаясь к границе. Шоссе петляло по перевалам, карабкаясь с горы на гору, возвращаясь и пересекая итальянскую границу на подступах к Бреннерскому перевалу; тут мы в последний раз

выехали из Италии и оказались в самой середине Тироля. С выходом в этот второй поход уже не раздавалось ржание победителей и оккупантов — шесть недель, которые нас продержали на границе, а теперь выгнали с явной целью закрыть единственные ворота, открытые волей и необходимостью, — все это сдавливало победные вопли. Не знаю, что происходило в сотнях других грузовиков в то время, когда мы перешли через перевалы, — знаю лишь то, что происходило в нашем грузовике.

Да почему во всем грузовике? Скажем, я. Мое детство проходило в радиусе двадцати километров — сады, побережье, склоны Эфраимских гор. Когда я в первый раз отправлялся в Иерусалим, я словно карабкался на крышу мира; когда я в первый раз спускался на грузовике из Бет-Шеана в Иорданскую долину, я словно забирался в подземный рай. Кто видел такую реку, кто видел такое море! А теперь мы перебираемся через высокие горы, среди безграничной толщи леса, над безмерными пространствами. Вокруг нас — горы сползают в пропасть, они смыкаются вокруг озер, в прозрачных водах которых смешивается бескрайний лес с полированным небосводом. Сказочная страна, ночные тролли, йодли, кожаные брюки и шляпы с перьями. Боже мой, да вот же они, наяву — древние старики у дверей избушек посасывают длинные трубки, а там, у входов в пивные бары — мужчины, угловатые, словно рубленные, Гансы, Греты. Ни одним снарядом не поранило эти великолепные стены, ни одна пуля не расколола эти вычищенные стекла. Именно здесь устроил себе Господь заповедник, и война не смешала здесь времен года.

Когда мы оставили Инсбрук позади, уже в Германии — открылись раны по всей длине колонны. Не по команде, не организованно — снова развернули помя-

тые знамена над кабинами машин, снова написали мелом на темно-зеленом брезенте:

Дойчланд капут!

Кайн райх, кайн фольк, кайн фюрер!

Ди юден комен!

Все выглядело так же, как и в первой поездке — от фронта к границе, только теперь мы не пели, не буйствовали. Сидели молча, с закрытыми глазами, и тихий голос, словно на гипнозе, твердил: ненавидеть их, ненавидеть, ненавидеть...

Как возненавидеть высоту небес, величие гор, запахи леса, поющие ручьи? Во что, во что вцепиться нашей ненависти? Редеют горы, распахиваются долины, среди вырубленных лесов тянутся поля — только что после жатвы. В поле стоят снопы, сдвинутые вместе, как остроконечные шляпы, стянутые к шестам. Много мы сегодня проехали, и хоть утром замешкались, наши командиры упорно стремятся добраться до того места, которое было нам с самого начала предназначено для стоянки. Мягкий день агонизирует в обильном закате, в темных веточках леса, башенках церквей, взлетающих как копья; над далекими деревнями висит тонкий, словно вуаль, дымок. Где, где процарапано здесь отмщение железным ногтем войны? Где лужи кипящей крови? Что за жестокая и незабываемая минута — среди всех развалин, которые мы видели от Таранто и дальше, на север, — уцелело именно это!

Я сидел рядом с Бродским, а напротив, возле заднего борта, сидел Зоненшейн. С того часа, когда мы въехали в Германию — что-то с ним случилось. Он не вынимал изо рта трубку, а когда она гасла — спешил разжечь ее снова. Он затягивался короткими, нервными затяжками, не отводя взгляда от пейзажа, выбегающего из-под брезентового навеса. То мудрое спокойствие, которое покоряло мое сердце, исчезло теперь из его

глаз, и даже цвет их казался другим, чуть ли не черным. То и дело мускулы его лица напрягались в напряженном ожидании чего-то такого, что должно было открыться, и только ему известно об этом. Вопреки своим правилам, он много говорил, заранее рассказывая о тех местах, к которым мы приближались. Баварию я знаю хорошо, — сказал он. В юности я много пошлялся по этим краям. Немножко учился во Фрейбурге — это намного западнее — а потом застрял в Мюнхене. Вот оно, — закричал он вдруг, не скрывая своих чувств, — мы подъезжаем к развилке. Еще чуть-чуть. Дорога направо — к Мюнхену.

Мы поехали налево, и Зоненшейн поспешил сообщить, что неподалеку отсюда расположен Оберамергау. Было что-то удивительное в этой бдительности, в этой радости всякий раз, когда обнаруживалось, что память не изменяет ему, что любой уголок, любая дорога врезаются в его сердце, хоть и прошло с тех пор — так он говорил — шестнадцать или восемнадцать лет. Это не только воспоминание, подумал я. Я полагаю, что он был тогда молодым, почти таким же, как я сейчас, а теперь он вновь проходит через те же бурные испытания, что и в молодости. Это не только воспоминание, на поверхность всплывают глубокие чувства, и только по лицу Зоненшейна можно видеть, как он сейчас переживает заново все то, что было тогда, опуская все, что произошло после. Все географические названия он выговаривал на чистом немецком языке. Пражские евреи были большими знатоками немецкой культуры.

— Что это за Оберамергау? — я подражал его произношению, грассируя и нажимая на долгие гласные.

По взгляду Зоненшейна я понял, что до него дошел и насмешливый тон, и причина, вызвавшая его. Напряжение мускулов лица ослабло, и взгляд его смягчился.

— Это маленький городок, или большая деревня, в

которой вот уже триста лет, если не больше, проводится "Пасьон шпилле". Религиозное действо, в котором принимают участие только жители Оберамергау. Это не спектакль, а что-то вроде мистерии, в которой и исполнители, и зрители сопереживают Иисусу Христу, мученику, которого распяли евреи. Я был здесь. Один раз. И это величественное зрелище, в котором участвовали сотни крестьян, охваченных экстазом, потрясло меня, — Зоненшейн продолжал смотреть на меня, но обращался ко всем нам. — Тысячи людей: студенты, вроде меня, любители народного искусства, просто приличные люди, — сидели и проникались этим видением. А я — в течение всего зрелища, которое продолжалось несколько часов — чувствовал, как я наполняюсь стыдом. За свое еврейство. И страхом. Вот обнаружится на моем лбу некая каинова печать — и потащат меня на Голгофу, обращенную к чудесному пейзажу Оберамергау... Только спустя несколько лет я понял, что хранится в этом страшном месте... Принято считать, что нацизм зародился в мюнхенских пивных барах. Может быть и так. Но глубокий корень желания убивать евреев — здесь, на границе Тироля и Баварии, в Оберамергау... — и его палец застыл, упершись в распахнутый пейзаж.

Мы ехали дальше и дальше, почти без остановок. Тут солнце начало клониться к лесам, но сумерки, совсем не такие, как у нас, застыли надолго. Вечер не желает наступать, а колонна не желает останавливаться. Зоненшейн дал моим мыслям толчок и еще больше спутал их этим. Дай мне ненависти, Господи, вонзи ее в мое тело, словно гвоздь, чтобы она так глубоко вошла в мое тело, что я закричал бы и не смог бы от нее избавиться...

Вдруг мы остановились.

— Концлагерь! — закричал Остеррайхер; мы повска-

кали со своих мест и бросились смотреть.

Зеленое лето выплескивалось на шоссе, а вдали чернели леса. Но прямо отсюда, от дороги, тянулась высокая ограда из колючей проволоки с башнями из черного дерева. За оградой стояли двухэтажные дома, казавшиеся в сумерках кристалликами угля. А может, там были и бараки. Не знаю. Колонна не остановилась, но и не уезжала. Наверно, водители головных машин сами замедлили ход, а командиры подгоняют их ехать дальше. Десятки грузовиков ползли, как против ветра, а на краю дороги, на протяжении десятков метров стояли люди, машущие руками, шапками, платками, кричащие надорванными голосами. Эти люди появились внезапно, и только когда наш грузовик проезжал мимо лагерных ворот, мы увидели, как их много. Ворота были открыты, и из глубины лагеря выбегали все новые и новые люди. Я не могу восстановить то короткое мгновение в стране черного леса, потому что мы оказались в нем неожиданно, на исходе такого вот дня. Общим волнением были охвачены и мы, и они. Может быть пели, может быть говорили, но среди звуков песни и криков звенели два слова – "шалом" и "Израиль" – то есть не то, чтобы их снова и снова выкрикивали, а тянули одним продолжительным криком, начавшимся с появлением первых людей на шоссе и длившимся до тех пор, пока расстояние не поглотило последние звуки.

Может так, а может иначе. Кто может помнить, как и что было там на самом деле? Потоки чувств хлынули из нас, грохоча водопадом в воротах лагеря. Мы кричали им, как сумасшедшие, а кто-то вспомнил о пустых коробках из-под боеприпасов. Горки конфет, давно нам опротивевших, пересыпались в опорожненные коробки. Теперь каждый из нас пробивался к выходу, чтобы бросить собственную пригоршню этой кучке

евреев, случайно появившейся и уже исчезающей вдали. Два дня мы едем по вражеской территории с каменными лицами — и вдруг можно улыбаться, видеть любящих тебя людей, подростков, вытупивших на нас глаза, плачущих от радости женщин. Берите, дети, берите конфеты. Люди, возьмите эти сигареты. Эй ты, друг, лови пачку. И тебе будет, и тебе — на вот. Берите все, что мы успеем дать вам, пока еще не истекла эта минута.

Многого мы не успели. Колонна двигалась медленно, словно к забору привязанная, но вот последний из наших грузовиков прошел мимо последнего из малышей, машущего изо всех сил хвостовой машине. Не успели даже все конфеты раздать, а теперь снова валяемся — каждый на своих промокших пожитках. Как мечом отрубило нас от этого зрелища; странная тишина наполняет наш кузов, словно увиденная картина еще нуждается в том, чтобы запечатлеть ее без помех.

Мы продолжали ехать, уже почти в кромешной тьме. Мы подъезжали к городу и почувствовали, что здесь-то мы и станем. Долгие остановки и медленное продвижение говорило о том, что головные машины уже располагаются на стоянке. Все происходит с той привычной покладистостью армии на колесах, и думать тут не о чем. Наша машина съехала в открытое поле, мы разобрали свои узелки и соскочили на влажную траву. Днем тут прошел дождь, а из облаков, повисших на краю небосвода, грозит новый потоп. Старший сержант Изаксон стоял и рычал во тьму, а капрал Куперберг отвел нас на край поля и сообщил:

— Здесь будут наши палатки. Выстраиваемся и идем ужинать.

Иными словами: после того, как разгрузилась последняя машина, на землю начали сбрасывать свернутые палатки, на двоих выдали по куску мокрого из-

мызганного брезента и отправили искать себе уголок на траве. Веселиться тут не с чего. А какой сладкий вечер вокруг! Странный же конец июля — влажные запахи поля, с этой стороны — лес, а с той, на краю поля, — рядки двухэтажных домов с острыми крышами. Маленькие окна светятся на чердаках. По дороге едут мужчины на велосипедах; у ворот стоят женщины, глядя в поле, сложив на груди руки. С ума здесь все походили: втыкают крюки в сырую землю — спать, что ли, здесь собираются? Неподалеку виден какой-то большой амбар; может, там можно сухой уголок найти?

— Здесь мы спать не будем, вот что я могу тебе сказать, — решил Бродский. — Они там в домах будут спать, а мы еще ревматизм подхватим на этой чертовой земле!...

В мое сердце закралось тревожное предчувствие. Я точно знаю, на что он намекает, и я пойду с ним. Да, черт возьми, это наша ночь, может быть последняя, в двух плевах от германского, и нет больше никаких оправданий. Мы здесь, на промокшем поле, да еще вся эта пастораль вонючая, да книги, которые мне прислала Нога, книги, которые мне не позволили сердце оставить в таком поле, да еще смерть Гершлера, и все, что говорил Пинек в Венеции... Когда это я там был? Всего три дня тому назад?

Рыжий Куперберг бегал впотьмах, подгоняя всех расставлять палатки и, захватив миски, идти за горячей пищей. Через полчаса — батальонный смотр. С территории никто не выходит.

— С территории никто не выходит, а? — проворчал Бродский. — По-русски про таких, как он, говорят... — и он добавил несколько слов по-русски.

— Переведи мне, Киршенбойм! — само по себе соскочило с языка это имя, вместе с воспоминанием о разго-

воре возле вишневого дерева.

— Ты еще помнишь? — удивился он. — Неважно, что я там по-русски сказал. Берем вещички и двигаем.

Мы взвалили на себя винтовки и сумки, прикрыли вход в палатку и зашагали в сторону домов. В темноте, ни с того, ни с сего, на нас наткнулся Тамари.

— Ну! — он нежно обнял нас, перебегая глазами с одного на другого. Мы не знали, принял ли он нас по ошибке за каких-то других ребят, или испугался наших винтовок и наших намерений. — Евреев вы видели?

— Где?

— В Ландсберге. Радость-то какая.

— Видали, почему бы и нет? — ответил Бродский. — И немцев мы тоже видим.

Бродский терпеть не может Тамари, и тот об этом знает, хоть и кладет ему руку на плечо, и улыбается из педагогических соображений:

— Все будет отлично, Бродский, послушай, да еще как!... По радио сообщили, что лейбористы одержали на выборах большую победу. Это для нас просто врата надежды... Есть чему радоваться, братцы...

— Я, Тамари, человек мирный, но когда гои радуются, мне не по себе.

— Это рабочие, дорогой мой. Наши товарищи.

— Мама моя говорила: когда гой грустит — не приближайся к нему, когда он радуется — беги...

— Ну, ладно, — Тамари еще раз обнял нас, глянул нам в глаза и исчез в густой темноте.

— Слыхал? — засмеялся Бродский, шагая к домам, и громко икнул, прогремев как запал. — В Англии рабочие победили!...

Дальше мы шагали молча, охваченные ожиданием, о котором прямо не говорили, но которое должно было неизбежно оправдаться. Я знаю Бродского. Когда

он говорит: "я мирный человек" — это означает, что на него нахлынули кошмары и что скоро он расскажет что-нибудь такое, чего я еще не слышал. Мы уже на краю поля. Между двумя рядами домов тянулась дорога. Уличные фонари роняли слабый свет. Небо затянулось низкими облаками, и непонятно, поздний ли был час. На обочине стоял человек в гражданском, глядя на наш лагерь и опершись на свой велосипед. Когда мы проходили мимо него, он отвесил нам поклон, другой, третий, не то приветствуя нас, не то привлекая к себе внимание. Он был в поношенной немецкой гимнастерке с оторванными погонами и в широких гражданских брюках. Мы бросили на него холодный взгляд, чтобы он понял, что у нас совсем не мирные намерения. Он поспешил за нами вместе со своим велосипедом:

— Простите, пожалуйста, господа. Пожалуйста, на одну минуточку.

Мы остановились. Я был охвачен противоречивым чувством. Его немецкий язык был мне так понятен, так знаком, словно я — там у нас, в поселке. Не только слова, но и сам человек, мужчина лет пятидесяти, могучий, полноватый, тяжелолицый, один из тех немецких евреев, которые вдруг наполнили наш поселок. Не один из них, а именно Холандер, тот, который ввел у нас крупное новшество, открыв кружок плавания в водосборнике одного из садов. Точно он. Ужасное сходство. Этот человек наклонился к нам и зашептал, незаметно показывая пальцем на третий дом по правую сторону дороги:

— Это вот дом эсэсовцев, — мы с Бродским удивленно переглянулись. — Да-да, этот вот, третий дом, там они живут, вдовушки проклятые. Муж-то исчез, как и не бывало. Крупным офицером СС был, свинья такая.

И, кончив говорить, натянул на лоб кожаную кепку, вскочил на велосипед и исчез. Его тяжелые горские сапоги, уверенная посадка на велосипеде с толстыми шинами — все это так знакомо, так удивительно встретить его на фоне вражеского пейзажа. Чего это он стоял здесь, на краю дороги? Как это он посмел открыто говорить о том, о чем мы еще и друг другу сказать не посмели? Может, знал, кто мы такие? Чего он ждет от нас? Тот человек налег на руль и исчез за поворотом, а мы остались без ответа.

3

Мы сошли на тропинку, ведущую к воротам. Бродский шагнул первым, я вслед за ним, скрипя коваными ботинками по щебню. Я ступаю, словно и не я это, не на самом деле, будто я гляжу со стороны на нечто призрачное. Ровно, как в кино, как в книгах, стучат наши башмаки, словно башмаки гестаповцев. Бродский останавливается у входной двери, выкрашенной в темно-зеленый цвет, снимает винтовку, выставляет ее прикладом вперед и бьет по дверным доскам. Гулкие звуки разлетаются во все стороны. Бродский снова и снова стучит прикладом в дверь. Справа от двери — темное окошко. Изнутри никто не отзывается, и то бредовое ощущение, что всего этого, мол, вообще не может быть, что это не Германия, что это не дом эсэсовцев, — становится уже чем-то вполне реальным. Надул нас тот прохожий — нету ни живой души за этой дверью. Я тоже снимаю винтовку и стучу. К чертям, если не открывают — взломаем дверь. Не обратно же идти.

— Подожди-ка, — сказал Бродский. — Кто-то идет.

За дверью послышались шаги. Кто-то спускается по деревянной лестнице. В окошке зажегся электрический

свет. Мои колени затряслись от волнения. Бог знает почему, все то время я не переставал размышлять о Фелиции, о ее обильном теле, которое так вот просто предоставило мне себя, о Пинеке, который содержит этот дом в Лидо, о Пинеке, герое моего детства. Я твердо знаю — когда Зоненшейн рассказал мне об Оберамергау, вся та картина вдруг предстала предо мной во всей ясности — я знаю теперь, что еще сказал Пинек перед тем, как поднял меня с пола и уложил в свою кровать. Все сгорело, — сказал мне Пинек, — весь мир — сплошной черный рынок, а Европа лежит на спине, раздвинув ноги. Так почему бы не я, почему это не иметь мне дом в Лидо, почему женщине не согреть мою кровать, почему бы не быть деньгам у меня в кармане? Не напоминай мне того, что я говорил тебе, Элиша. Я говорил тебе то, что мне другие говорили. Забудь это все, Элиша, забудь...

В замочной скважине повернулся ключ, и дверь приоткрылась. В щелочку просунулась женская голова. При слабом свете уличного фонаря мы разглядели светлые волосы, белый воротничок, темное платье. Бродский ударил в дверь прикладом и открыл ее настежь. Женщина отпрянула, оставшись у входа, вцепившись в батистовый передник, покрывавший ее платье. Она не раскрывала рта, глаза ее застыли от ужаса. Что теперь, подумал я, что же мы теперь будем делать?

Бродский зашел внутрь и огляделся по сторонам. Ухоженный дом — паркетный пол, натертый до блеска, вышитый рисунок на кухонной стене справа, крутая деревянная лесенка, ведущая на чердак, обои с зелеными, розовыми и желтоватыми цветами. Эта светловолосая женщина в выглаженном платье, полнотелая, преданная всем сердцем своему дому, — жена офицера СС, — сказал нам незнакомец. Как же поступим с этой женщиной, с этим домом; зачем мы сюда ворва-

лись? Ох, почему я не остался там, в поле...

— Комнату, мы хотим комнату, — сказал Бродский на идиш, и не пытаясь сделать его похожим на немецкий. Женщина поняла. Она протянула руки внутрь, указывая правой рукой на лестницу, словно говоря — есть вот наверху комната. Но выбирайте сами, как хотите. Никто с вами не спорит, ни в чем вам не отказывает.

— О'кей, — выговорил Бродский, отправляясь вверх по лестнице. Лицо его как-то странно пылало, глаза были направлены в какую-то далекую точку. Его башмаки, да и мои, простучали по лестнице так, словно мы хотели заглушить все другие звуки. Мы — солдаты в чужом доме, а эта женщина стоит внизу, у входа в кухню, и как-то странно молчит. Да не она, пусть она идет ко всем чертям, но кто там с ней разговаривает? Чего это я так топаю коваными башмаками, стучу прикладом и хмурю брови? Что за такое страшное дело я вот-вот собираюсь сделать? Ведь я забираюсь вверх, порхая где-то за пределами самого себя, словно изображаю кого-то другого.

Бродский распахнул дверь чердака, и мы вошли. Комната была трапециевидной формы — продольные стены склонялись внутрь, повторяя наклон крыши. В прямой стене было окно, затянутое цветной занавеской. На двух кроватях — накидки в цветочках. Над ними — фотография горного пейзажа в снегу, вышитая картинка в рамочке с какой-то надписью готическими буквами. Запах белоснежной постели, девичьей комнаты. Я открываю окошко, и в комнату заглядывает темнота, запах только что начавшегося ливня, далекого зеленого леса, промокшего поля. С улицы доносятся крики однополчан. Еще какие-то ребята ищут себе комнаты.

— Надо было принести с собой рюкзаки и повесить

одежки посушиться, — заметил Бродский.

— Пошли. Мы ведь и не жрали.

Но Бродский застыл в нерешительности, и я вместе с ним. Если мы начнем бегать туда-сюда с рюкзаками — за нами увяжутся другие, а ведь тут всего две кровати.

— Может, немножко попозже, — заметил Бродский.

— Угу.

— Та тоже не старая. Не старше сорока.

— Угу.

И мы снова замолчали. Вечер только начинался, спать нам не хотелось, выйти мы не могли, а просто поболтать, словно мы не в этой стране, не в этом доме, — были не в состоянии. Эти женщины внизу конечно же боятся нас — ха! — комната дочек, и та тоже не старая.

— Крук, я рассказывал тебе когда-нибудь, как мы жили в ледяном домике?

Рассказывал. Тогда в Болонье, когда мы дожидались тремпа обратно в лагерь. Тогда и рассказал. Но я ответил:

— Нет. Что это за ледяной домик?

— Это когда я зимой у партизан жил. Почти что ребенком был, а уже два года бегал с места на место. Мы ошивались в лесу. Это не то, что мы сейчас здесь видим — кусочек деревни, кусочек города, кусочек леса. Там лес — это лес. И зима. Все в снегу. А земля — как чугун. Получаем приказ — устроить засаду на немецкую колонну. Целая история; как узнали, что они едут, как лежали в снегу по обеим сторонам дороги и вдруг открыли по ним огонь из всех стволов. Живым никто не вышел. Ни один. Так знаешь, что мы сделали? Мы положили их — один на другого, в несколько этажей... — вдруг он замолчал, глянул на меня и рассмеялся. — Сучок, я ж тебе это уже рассказывал.

— Когда это? — удивился я.

— В Болонье. Когда мы сидели и тремпа дожидая-

лись. Прекрасно ты помнишь. Там еще дети были.

— Вспомнил, — сказал я. — Но я люблю слушать, как ты рассказываешь. Я люблю слушать, как ты говоришь, что ты невоенный человек.

— Это верно. Я человек мирный. Дал бы мне Бог не помнить все, что я помню.

Лесница скрипнула. По ней ступали чьи-то легкие ноги. Слушая заново рассказ о трупях, ставших ледяными стенами, я решил рассказать Бродскому о своем разговоре с Гершлером в тот вечер перед отправкой на фронт. Он не верил, что вернется живым, и просил меня позаботиться о его вещах и отправить их к его родственнице в Бет-Исраэль. Но прежде, чем я успел раскрыть рот, послышался стук легких ног по лестнице. Раздался робкий стук в дверь.

— Да-да! — закричал я.

Дверь не открывалась. Кто там, — повысил я голос. Ничего. Я встал с кровати, подошел к двери и распахнул ее театральным жестом. В дверях стояла девчонка. Она слегка откинулась назад, но все еще стояла очень близко. У нее было такое же лицо, какое нарисовано на коробках "Тофи" — щеки-яблочки, губы сочные, клубничные. Мясистая белая шея. Чуть ниже меня, но крепка. От шеи и ниже — взрослая женщина. Груды заполняют блузу, словно небольшие дыни. Складки сарафана на мясистых бедрах. В ее бледноватых глазах был смертельный страх.

— Чего надо? — сурово спросил я. Она была молочно-белой, девственной, а ее голова вдруг наполнилась запахом Фелиции, кончики моих пальцев почувствовали наготу. Всего три дня. Эта чертова Германия, рвался из меня голос. Нацистка. Дочь эсэсовского офицера. Ты ненавидишь ее. — Чего тебе здесь надо?

— Скажи ей, чтоб и сестру привела, — вставил Бродский.

— Чего тебе надо? — закричал я на нее на иврите, зная, что изображаю из себя кого-то другого.

— Мама спрашивает, не хотите ли вы помыться, или может быть, захотите выпить чего-нибудь горячего...

Она говорила по-немецки, шепотом, со сдавленным горлом. Как-то не увязывается у меня немецкий со всем, что здесь происходит. Я понимаю каждое слово. Я слышу своих знакомых из поселка. Я слышу, как дочка Холандера кричит в вечерней тишине: "Мутти..."

— Нет! — закричал я. — Убирайся отсюда. Быстро. Раз-два.

Испуганная девочка уже отступила на верхнюю площадку лестницы. Не нужно знать иврита, чтобы понять, что я сказал. Она бегом спустилась по лестнице. Внизу, у входа в кухню, стояла мать и вторая девочка, моложе этой. Я вошел в комнату и захлопнул дверь.

— Это была еврейская месть! — заржал Бродский. — Ты ее не изнасилуешь, даже если она будет плакать. И чаю пить не будешь.

— Поцелуй меня в задницу, мирный человек.

— Не любишь ты, когда тебе правду говорят, а, Крук? После всех речей, которые здесь говорили — о мести...

— А ты где, Бродский? Чего ты сидишь здесь на краю кровати и боишься с места двинуться, чтобы комнату не запачкать.

Бродский не ответил. Его узкие глаза вглядывались в законную тьму с невыразимой грустью, и я почувствовал, как выступают у меня бессильные слезы из-за поражения, которое потерпела моя больная душа. Мы ведь не просто так ворвались в этот дом, стуча прикладами, грохоча ботинками, — не с самого ли утра, когда Гилеади рассказал о гибели Гершлера, захлестнуло меня вновь все, что было в тот день на границе, опознавательный смотр, провал Боби с Гершлером, оскорби-

тельное стояние перед теми двумя женщинами, — для того ведь мы с Бродским и пошли теперь, чтобы совершить то дело, которое провалилось у Боби с Гершлем с той минуты, когда они переступили порог. А вот и мы с ним, мирные люди — дерьмо...

— Пошли, принесем рюкзаки, — Бродский встал и направился к двери. Перебитый нос отбрасывал тень на губу, и не было в нем ничего от ловкого скитальца, пленявшего меня. Я посмеялся над ним, и сам того не ведая, вытащил из его сердца предохранитель. — Сказал бы я тебе кое-что, да...

Мы спустились по лестнице. Кухонная дверь была приоткрыта, и уголком глаза я разглядел тяжелый стол и сидящих вокруг него женщин. Они сидели, как каменные, прислушиваясь к звукам наших шагов. Я чуть не сказал им — мы скоро вернемся, как это принято говорить. Мы вышли и закрыли за собой дверь.

В лагере было тихо, и только на транспортной стоянке светили фонари и толпились солдаты. Мы нашли свою палатку, взвалили на себя свои вещички и потихоньку отчалили обратно. Никто нас не заметил, никто не спрашивал, куда мы идем. Когда мы попробовали открыть дверь, оказалось, что она заперта. Мои руки были заняты вещами, а винтовка болталась на плече. Я ударил по двери носком башмака. Мать открыла нам и отступила внутрь с гостеприимной улыбкой. О, зачем же, ведь все так запросто, по-домашнему, до омерзения...

Мы разложили одеяла и влажные одежки на полу, на столе, на обоих стульях, развесили по всем крючкам. Я снова оглядел книги. За ночь они окончательно размякли, переплеты развалились, растеклась краска. Но даже учебники по математике я не смогу здесь оставить, из-за этого квадратного шрифта. Будем крепиться — нашими узорчатыми буквами, нашими осточер-

тевшими значками. Я спать хочу, я хочу, чтобы уже прошли эти три дня, словно я не испытывал на себе эту ночь.

Мы разделись и улеглись в белоснежные постели. Я не знаю, что думал Бродский, но я, если бы мне только самого себя не было стыдно, улегся бы на полу, среди своих промокших одеял. Мы не христиане, к чертям, говорил я себе, не будучи в силах уснуть. Я видел Нехемию в тот последний отпуск, когда я приехал из Египта попрощаться. Мы сидели у него в комнате, я и Нога, и он, как всегда, произносил пламенные речи. Вдруг он обнаружил нагорную проповедь и начал читать из книги, стоя, с пафосом, в октябрьских сумерках. А я, — есть у меня какой-то страх перед евангелием, — как назло кричал ему: оставь меня с царством небесным и с этими двумя щеками. Чего это тебя так вдохновляет нагорная проповедь, словно нашел в ней что-то такое, чем нас еще не укармливали до смерти. Не становись вдруг святошей, Нехемия. Наоборот, пусть нам дадут разок побыть скверными евреями, а мы уж ухватимся за этот разок — душой и телом. Обязаны. Мы не сможем больше слушать только о том, как нас гоняли с одного конца света на другой. Непролазная грязь. Смерть во славу Бога. Три дара. Моя сестра Рухама. Немировский поход... Не хватает мне этой проповеди? С первого класса, с детского сада у меня вызывает отвращение бальзам для падших духом. Побудем и мы немножко — разок — тем, что мы есть, Ветхим Заветом, истинно говорю тебе, Нехемия. Немножечко "око за око", аминь. Немножечко вины отцов, взысканной с сыновей, аминь. Немножко чистой крови под нашими ногтями, чтобы и у нас было один раз о чем сожалеть, чем мучиться...

Так кричал тогда я, театральный солдатик. А теперь, на темном чердаке я лежу молча, прислушиваясь к ис-

пуганному женскому шепоту на кухне, шепоту нацисток — не смотри на эту хозяйственную чистоту, это жена убийцы и его потомство, сволочи, они прекрасно знают, чего заслуживают и чего им следует ждать этой ночью от остановившегося у них солдата, и только об одной тайне они и представления не имеют: до чего же мы герои. Целый день — на складе — мы рисовали себе видение мести: какой энтузиазм выказывали, какие слова; словно та единственная речь, которую я произнес перед Пинеком, словно речь, которую я толкал Ноге и Нехемии, словно то, что выкричал нам Гилеади. Гилеади, да, он больше чем все, — и выглядит несчастнее всех нас. Зачем это он стоял там и препирался с Тамари, когда мог просто встать и сделать?... В том-то и дело, что и он не может, совершенно так же, как и мы здесь, в этот час. Кто мешает нам с Бродским, если не то, что мы сами из себя представляем — импотенты, импотенты...

4

Я бежал сквозь никогда не виденный мною мир, и все было так реально, словно это и была вечная жизнь. Наш барак стоит на краю поселка, непохожий на другие черные избышки с соломенными крышами. Я играю сам с собой на грязной дорожке, среди луж, а внизу, в конце пологого откоса, — что-то вроде пруда или озера, по берегу которого шагает большая компания белых гусей. Дорога выходит из поселка, огибает пруд и переползает через железную дорогу. Я гляжу туда, потому что все приходят оттуда. Медленно вытягивается со станции поезд, и никто его не остановит, — открытые платформы, а на них кони со всадниками, словно на картинке, в синих плащах, в колпаках охран-

ников, с длинными карабинами. Поезд вообще не останавливается, просто когда вагон касается пыльной дороги, кони длинной дугой выскакивают из него и, словно с воздуха, продолжают скакать прямо к нам. Гуси громко ворчат, и их гордая поступь превращается в бегство. Я тоже бегу к нашему барaku, предупредить папу с мамой, — но дверь заперта. Я стучу в дверь изо всех сил, а мне не открывают. Они позабыли, что я на улице, а может, боятся подойти к двери, или они на работе. На длиннющей улице — ни души; плохо дело. Я бегу в обратную сторону, к большой синагоге, но там уже ползут огромные трехколесные жуки. Через дырку в заборе я пролезаю на какой-то двор, но и тут мне не спастись, если только я не спрячусь на верхушке одного из деревьев. На этом вот эвкалипте, — если бы я только мог вскарабкаться по его белому, скользкому стволу — меня уже не поймают. Медлить нельзя. Казаки уже скачут по булыжной мостовой, а из дома женщины зовут на помощь. Я прижимаюсь к деревянным балкам, пытаюсь найти щель между "блоками" фундамента барака. Мне знаком этот голос. Это же кричит дочь Холандера-немчуры...

Если вы никогда не просыпались так, сотрясаясь, как под током, словно по вам прошла прохладная швейная машина, схватывая вас мертвым швом, — вы не поверите, что во сне могут быть такие места, голоса, события, которых вообще не было в вашей жизни. За мной еще гонятся, я еще вонзаю пальцы в дощатую стенку, не в силах шевельнуться, а голоса, доносящиеся из кухни, немки, глухие звуки, хриплый мужской шепот, скрип мебели — уже становятся единственной реальностью. Я лежал на белоснежной девичьей постели, стряхивая с себя кошмар, словно выплывая из большой глубины, но голоса тянули меня вниз, словно подводный груз. Я пробиваю себе тоннель под водой,

но не могу выбраться на воздух и захлебываюсь. Что-то страшное происходит там, внизу.

Я напрягся изо всех сил и сел.

— Бродский! — крикнул я.

— Чего тебе надо?

Я разом пошел ко дну. Бродский не спит, а молча прислушивается к тому, что происходит внизу. Немки борются с мужчинами, ворвавшимися в дом. Приглушенные голоса, удары тяжелых тел о тяжелые тела. Пронзительный крик девчонки.

— Ты слышишь, что там делается?

Я вскочил с кровати и нащупал в темноте брюки, висевшие на стуле. Поспешно оделся.

— Куда ты летишь? — и в темноте его голос отдавал стальным блеском, словно смазанный кинжал. Девичий крик рассыпался плачем.

— Ты псих, Бродский, или что?... Ты не слышишь, что там делается?

Я застегнул брюки и нащупал выключатель. Моя винтовка не заряжена, и я должен найти патроны.

— Спи, Элиша. Это наши ребята.

Свет залил комнату, и я зажмурил глаза. Прикрыл их рукой, оставив узкую щель. Бродский сидел на кровати в подштанниках, прислонясь спиной к стене. Он был целиком поглощен борьбой на кухне. Улыбка затягивала его лицо, словно невидимый намордник сдерживал его чувства. Он причастен к тому, что происходит внизу, и в его стеклянной улыбке отражается мое лицо.

Это наши ребята.

Плач девчонки пополз по лестнице попыткой к спасению, но его заглушили кованые башмаки. Я не могу стоять здесь молча, соучаствуя в том, что делается внизу. Я не хочу думать ни о чем другом, ничто в мире сейчас не существует, кроме этого бессильного плача.

Я достал обойму, взвел затвор, зарядил, завел патрон в ствол и щелкнул предохранителем.

— Ну и рожа! — вскочил Бродский с кровати и бросился ко мне. Мы оба были босы, он в подштанниках, я с ружьем.

— Не подходи ко мне, Бродский! — спиной к двери я дернул ручку, направляя на Бродского приклад, готовый к удару.

— Крук, скотина! Хочешь первую за всю войну пулю всадить в своих товарищей!..

Я не владел собой. Беспомощный плач звал меня вниз. Я сбежал по лестнице. И кухонная дверь, и входная — были распахнуты настежь. Кухня была освещена, и уже из двери мои глаза охватили это зрелище — один солдат зажал в промежутке между буфетом и стеной мать с младшей дочерью, угрожая им штыком, а на полу лежала та девчонка, которая заходила к нам в комнату. На ней восседал солдат, прижимая коленями к полу ее распростертые руки, придавливая ее плечи руками. Платье было разорвано, и тело, книзу от поясицы, заголено. Она плакала, как на последнем дыхании, и ее мясистые ноги болтались в воздухе, словно зарезанная курица, брошенная в пыль. Между ее растянутых ног присел на колени третий солдат, единственный, чье лицо было видно из двери. Он был красен от пота и крови, прилившей к его лицу. Настоящая кровь заливала его щеки, а губы были выпячены, словно от нехватки воздуха. Я узнал всех троих, я прекрасно помню, как они выглядели, как их звали, но все это я пропущу и на сей раз.

— Отпустите женщин и убирайтесь из этого дома. Я считаю до трех. В того, кто не уберется отсюда, стреляю без предупреждения.

Я слышал свой голос, как будто это говорил другой человек. Никогда я не говорил так спокойно и резко.

Эти трое задрожали. Тот, кто зажимал мать с дочерью в угол, повернулся ко мне, направив на меня ружье.

— Крук! — закричал он, не веря своим глазам. — Ты...

— Бросай ружье; если нет — я стреляю в тебя.

— Ты будешь стрелять, санитар вонючий? — он направился ко мне, словно идя в рукопашную. Я спустил предохранитель, направил винтовку в потолок и нажал на курок. В пустоте дома, в ночной тишине выстрел прозвучал, словно разрыв гранаты. Я крепко сжимал ружье. Дым и запах пороха были настоящими. Первый бросил свое ружье со штыком, двое других вскочили на ноги, оставив голую девчонку на полу. Они отступили к стене.

— Крук, ты ненормальный. Чего ты стреляешь посреди ночи?... — заговорил тот, который прижимал коленями к полу руки девчонки. Голос его дрожал.

— Не хватает нам, чтобы военная полиция сюда сейчас приехала, — сказал третий.

— Валите отсюда, сволочи, — дым, скрывавший меня, рассеялся, и положение показалось вдруг совершенно невероятным. — Я вас, как собак, расстреляю. Ну, в-вон.

Трое двинулись вдоль стены к выходу, совсем как в кино, а первый пригнулся на ходу, чтобы поднять свое ружье. Я пригнул ствол в его сторону, и он выпрямился, прижавшись к стене:

— Крук, ты идиот. Это нацистки. Муж этой старой шлюхи — эсэсовец. Нам тут рассказал один немец с улицы. Сам подошел и рассказал нам, Крук. Никакой немец не становился так с ружьем охранять евреек...

— Выходи из этого дома! — какой-то бес в меня вселился. Я кричал неизвестно что, только бы заглушить эти голоса, объединившиеся против меня. — Бери свое ружье и убирайся. Все, все вы. Я считаю: раз, два...

Они схватили свои ружья и исчезли за распахнутой дверью. Я вышел вслед за ними и глядел, как они сбегают к лагерю, опасаясь, что выстрел привлеч чье-нибудь внимание. На улице было очень тихо. Если кто и слышал, что его соседей убивают и насилуют, ночью не станет выходить из дома. Я повернулся и направился вверх по лестнице. Женщина стояла у меня на пути, она вцепилась мне двумя руками в ладонь, пытаясь поцеловать. Меня охватил внезапный гнев, и я с силой оттолкнул ее от себя. Я успел заметить, как благодарность на ее лице сменилась испугом, как она отклонилась назад, теряя равновесие, натываясь на стену и падая на последнюю ступеньку. Я не остановился, а бросился вверх по лестнице, держа в руках винтовку, смягчая босыми ногами тяжесть собственного тела. Бродский снова сидел на кровати, как тогда, когда я зажег свет. Его лицо застеклянело, но уже без той тонкой улыбки, которая была прежде. Я подошел к своей кровати, повернулся к стене и извлек оставшиеся четыре патрона. Достал из поясного патронташа приспособления для чистки и уселся прочистить ствол хорошо промасленной фланелькой. Все мои действия были оттренированы, ритмичны; я старался не отрывать от винтовки глаз. Когда я увидел, что копоты стало меньше, я последний раз промазал ствол, вытер руки одним из одеял, разложенных на полу для просушки, и подошел к выключателю, чтобы погасить свет.

Разом, словно спущенная пружина, соскочил Бродский с кровати и стал напротив меня — низкорослый, с удлинненным сломанным носом, с острыми морщинами, прочерченными в уголках рта. Вот уж задаст он мне сейчас, — подумал я, — а мне-то что делать? Я стоял у выключателя и ждал. Он вдруг сплюнул себе под босые ноги.

— Паршивый жид! — процедил он сквозь сжатые зубы. И снова застыл, словно ожидая моей реакции. Я молчал. Его лицо сморщилось в презрительной мине, он нагнулся, снова плюнул нам под ноги и вернулся в кровать, улегся, повернулся к стене и укрылся с головой.

Я ударил по выключателю, чтобы исчезнуть в темноте прежде, чем вырвутся наружу слезы, накопившиеся во мне. Они хлынули вместе с темнотой. Я бросился к кровати и погрузил голову в подушку. Она была пропитана девичьим запахом, и я приподнялся, проглотил слезы, встал и начал собирать свои пожитки, укладывая их. Деятельность вернула мне твердость. Автоматическими движениями я приводил свои вещи в обычный порядок, ничего не проверяя, — в рюкзак, в большую сумку, в боковую сумку, — для того, чтобы отвлечься от того, что случилось, чтобы стереть из памяти свое поражение. Но от того, что случилось, невозможно отвлечься — это я знал уже тогда. В конце концов, все, что я сделал, я сделал по собственной воле, а сделал-то я — поторопился спасти свою чистоту. За секунду стерлись из памяти все гимны ненависти, и я снова стал сыном своего отца. Копошащимся в чистоте. *Человеком.* Дрянной человечешко. Теперь-то я знаю, что это мы осуждены расхаживать в образе Божьем, как с каиновой печатью. Я не могу, я не в состоянии видеть, как насилуют девочку. Я не в состоянии — одолевает еврейская душонка... Я уже слышу, как растет панцирь на моей спине, наподобие горба, с которым мы теперь будем расхаживать, как рыцари: как же мы победим их, если станем такими, как они?.. Но ведь нужно ползать по грязи, как ползал этот вот, между голыми ногами этой девчонки, мы ведь сойдем с ума, если будем продолжать и сейчас так вот, без татар, без гуннов, без эсэсовцев, если будем продолжать так до конца наших

дней, сгибаясь под тяжестью мести, которой мы не свершили, — а вороны кружатся и кричат: твоею я кровью питаюсь. Отведи от меня, Боже, низкую клевету!

Немые слезы слабенького ребенка хлынули из моих глаз. Потекло из носа. Я наполнил рюкзак, уложил одеяла, завернул портянки и натянул башмаки, надел рубашку, гимнастерку, нагрузил на себя вещи, нацепил винтовку и вышел.

— Элиша! — закричал мне вслед Бродский, но я уже спускался по лестнице. Он кричал мне сверху. — Осел, куда тебя несет среди ночи?...

Я хочу убежать. Если бы я мог, я бы и сейчас продолжал идти, подальше отсюда, обратно, в нормальный мир. Я клянусь: в тот же день, когда мы прибудем на постоянное место, я начну хлопотать о скорейшей демобилизации, сделаю все, чтобы убежать с этого континента, на котором я не могу быть самим собой, не могу оставаться — ни с нашими мертвецами, ни с его обитателями.

Внизу, на кухне, горел свет, там расхаживали женщина с двумя дочерьми. Мои тяжелые шаги и голос Бродского заставили женщину подойти к двери. Снова она говорила мне очень понятные слова, а уголком глаза я видел одну дочь, склонившуюся к другой. Женщина снова протянула руки, но я прошел мимо нее, чтобы она не приставала ко мне со своими проклятыми благодарностями. Я открыл дверь и направился к лагерю, в остаток темной ночи, которую нам предстоит провести в этом месте.

5

Только сегодняшний день, покрытый лесом, словно тьмой, да еще завтра. Это зависит от дороги, по кото-

рой мы поедem, — объясняет нам Зоненшейн. Если будем продолжать прямо на запад, то завтра переправимся через Рейн, а может и через границу.

Дал бы Бог. Может, это только я один разрываюсь от страсти смыться. Со вчерашнего дня я уже хочу не быть здесь. Словно мы ехали по темному и дымному тоннелю — вырваться на свет, подышать воздухом. Может, это только я один, потому что вчерашнее поражение не дает мне покоя. Колонна движется с изматывающей степенностью, словно бесконечный ряд черных коров, еще, и еще, и еще. Сколько же у них земли! Мы медленно едем по трассе, тяжелые грузовики заполняют все пространство. Сегодня мы уложили высохшие одежки, организовались, как положено солдатам, обновили меловые лозунги на брезентовых боках; над моторами выются знамена, на наших лицах застыло выражение жестокости. Маленький Остерайхер без конца вычисляет: даже если от грузовика до грузовика всего сто метров, все равно колонна как бы носом в Тель-Авиве, а хвостом — в Хайфе. И того больше. Мы едем несколькими группами, и между этими группами большие промежутки. Немцы, конечно, с ума сходят. Видели вы их с утра?...

Видели мы их с утра. Мы вышли с поля в предместье и проехали сквозь пригород к трассе. Наша военная полиция, оседлав мотоциклы, задерживала все движение на дорогах. На тротуарах, около разбомбленных домов стояли гражданские и глазели на нас. Что они говорят, когда видят нас, — спросил маленький Остерайхер, — что они говорят?

— А, чтоб все они сгорели, — заметил Покер.

— После ночных выстрелов, — произнес маленький Остерайхер, — после пожара они нас уже не забудут.

После выстрелов, — я опустил глаза. Бродский сидел рядом со мной, он никак не реагировал. Он вел

себя так с самого утра, когда пополз слух о выстрелах. Это Остерайхер сообщил о выстрелах Гилеади, и это он прошептал нам, как великую тайну. Ночью, — рассказывал он, — ворвались наши — эти вечные таинственные "наши" — ворвались в немецкие дома и устроили резню. Выстрелов было — ужас. Я стоял в сторонке, стараясь не встречаться взглядом с Бродским, и слушал. Слух повторялся со всех сторон. Ночью, видно, хорошая была мясорубка. Какой-то немец на велосипеде, рассказывали, вертелся около лагеря и указывал на нацистские дома. Ребята верили, и глаза горели от удовольствия, хотя кто уж лучше меня знает, что был-то всего-навсего один выстрел. То есть и я начал сомневаться в этом, желая позабыть эту историю. Может, и правда были другие выстрелы, не такие, как мой. Все ведь так уверенно об этом рассказывают. Дал бы Бог, — думал я. Мы стояли на краю шоссе, пили горячий чай и видели, как голова колонны начинает продвигаться в глубь города. Чудовища из черного железа ползли одно за другим. На краю поля, вдоль домов, поднимался столб черного дыма, словно это был источник низких облаков, черный в мутном пространстве, расплзающийся зонтиком тонкой марли. Как мягок, как очарователен этим утром островок между домами и лесом.

— Что-то там горит! — закричал вдруг Покер. Он тоже все это время ждал, что случится что-нибудь, и его прорезанные глаза оживлялись от всякого шума.

— Что горит? — встрепнулся Тамари, сидевший на подножке машины и писавший в своей тетрадке.

— Погляди, — ответил Покер.

Теперь все мы ясно видели. Разом вывалился клуб дыма, обратившись пожаром. Большое деревянное строение, амбар или сарай, стоявшее на краю поля, загорелось изнутри. Клубы черного дыма и хлопья искр

поднимались к небу, словно светящиеся стрелки. Низкие небеса покрылись дымовой завесой, двигавшейся в сторону домов. Весь полк выстроился вдоль шоссе около автомашин, сдерживая улыбку, словно это мы, каждый из нас, поджег этот сарай.

— ...ть их мать, здесь-то нас уже не забудут, — заржал маленький Остерайхер, словно свел с кем-то давние счеты.

Забудут, забудут. Колонна тянулась бесконечным строем в непрерывном ритме к месту своего назначения, еще один день, подальше отсюда, за границу. Мы едем, а земля остается неподвижной. Облако пыли от наших шин растворится, словно его и не было; лозунги, знамена, выпученные глаза — вот уже и они растворяются в низком тумане, в дымке, поднимающейся над черным лесом, в вечернем холодке. Двусторонняя бетонная лента, протянутая сквозь тучную зелень, чтобы сдержать ее на одном месте. То здесь, то там отходят шоссе в глубь леса, на затененной опушке стоит боевой самолет, словно только что сел или собирается взлететь. Целый день колонна ползет на запад, и то справа, то слева черные жилы тянутся к деревням и городкам, скачущим вдоль размытого горизонта, а мы по-прежнему в том же округе. Словно меч, разрушающий воду, проходим мы сквозь страну врага — за арьергардным джипом сомкнется вода, покрыв и нас, и память о нас.

Медленно-медленно. Ближе к вечеру мы стали лагерь между шоссе и лесом, Ульм был уже далеко. Бродский не упоминал и даже не намекал на то, что произошло ночью. Рано утром он вернулся в лагерь и принес с собой книги, которые я забыл в том доме. Молча мы сложили палатку, приготовились к поездке и снова были вместе — и в пути и на ночлеге. Теперь мы лежали вдвоем, и хотя не сняли одежды, влажная земля про-

бирала нас до костей. Бродский зажег свечной огарок и установил его на каске между нашими лежанками, вытащил себе сигарету, предложил и мне. Когда я стоял на шоссе, направляясь в Милан, с рюкзаком, полным сигарет, я начал курить сигарету за сигаретой. Бродский курил всегда, но только две—три штуки в день, осторожно разрезанные надвое бритвой. Теперь мы закурили по целой.

Мы не говорили друг с другом. Снаружи толпились солдаты. Я слышал гнусавый голос Лэйзи, и на секунду мне показалось, что я услышу сейчас и Боби. Нет, не он, хотя все остальные действительно те, кто обычно собирается на стоянках, те, что лежали возле костра в ночь после прекращения огня, когда я возвратился из Болоньи вместе с Бродским. И вот мне кажется, что сотни лет пролетели с той ночи, да и не только с тех пор, но и сначала последней недели. Голое тело Феличии терзало кончики моих пальцев, ее запах стоял в моих ноздрах. Я видел девчонку, поваленную на кухонный пол, с задранной одеждой, и двух солдат, склонившихся над ней... Ох, мамочки, как забыть это зрелище, как начать жить заново, будто ничего и не было, словно я не хоронил людей, не сняв с них одежды, словно я не встречал своего родственника, работавшего в крематориях, словно я не видел мертвых немцев около шоссе — дымящихся, черных и обожженных, как балки сгоревшего дома; словно лечь с женщиной это действительно просто-просто-просто... Я хочу к Ноге, — шептал я, как ребенок, жмурящий глаза, чтобы не глядеть в темноту, — я хочу в ту нашу последнюю ночь в Иерусалиме, когда я касался ее тела, нежно, как крыльев бабочки, чтобы все, что здесь происходит сейчас — как бы и не было никогда, а я снова окажусь на другом континенте, без Европы в памяти...

— Так слушайте, мы как-то принесли в класс ко-

робку из-под гуталина с карбидом и водой и спрятали ее в кафедре Чубчика. Он с ума сошел от вони...

— Это еще что. Мы подвели как-то ток к дверной ручке...

— Великое геройство. К вам входил когда-нибудь осел посреди урока?... Настоящий осел...

Так вот. Как и всегда, как и все ночи, они живут своей жизнью, наглые, шумные, грубые, уверенные в себе, не собираются и поразмыслить о том, что происходит сейчас. А может быть, и в самом деле ничего не происходит, и это только я копаюсь в том, что надо принимать без волнений, как пример по математике. Так уж повелось — они сильные, а мы слабые, они здесь, а мы там, и хватит быть размазней, галутной душой, уродом. Может, это не случайно, что я снова нахожу себя за пределами этого кружка, снова вместе с Бродским, полной противоположностью того, чем я хотел быть, не став ни тем, ни другим...

На каске осталось только пятнышко растекшегося жира, фитилек припал к нему и погас. Старший сержант Изаксон рывкнул издалека в сторону болтливой компании, и все разошлись по своим палаткам. Я погасил сигарету о сырую траву рядом с палаткой, намереваясь уснуть. Все происшествия последних дней словно собрались вокруг меня, я гнал их от себя, а они возвращались. Пинек, в котором не осталось и следа от тонкого юноши, приходившего к нам во двор. Гершлер, убитый в Вене. Я, собиравшийся сделать что-нибудь такое, чтобы можно было потом жить спокойно, без зова крови, кипящей на наших глазах. Импотент, шепнул я, и снова увидел Феличию, и снова захотел ее тела. Нет, не это. Было много хорошего, чего я в самом деле хотел, в самом деле было, и наплевать мне, что там сделала Нога. Остался еще я, для самого себя, как в тот день, когда пошел в армию. Я отправился один,

а на призывном пункте встретился с Гершлером, который тоже пришел один. Мы были призваны вместе, и его номер был на единицу меньше моего. Война удалялась от Палестины, и люди занимались заработками, и даже я, без особых усилий, заработал большие деньги. Я вдохновенно работал на войну и зарабатывал приблизительно фунт в день — семь дней в неделю. Впервые в нашем доме было денег сколько угодно, и я был главным кормильцем. Вокруг меня все тонуло во внезапном изобилии, украшаясь золотыми украшениями, толстыми и пустыми изнутри. Меняли мебель, ездили в субботу вечером танцевать на берегу, а мне сшили новый костюм с длинными брюками. Раз в неделю я еще встречался с Шмайкой. Весь класс уже по уши погряз в подготовительных экзаменах, и только мы с Шмайкой делали деньги, собираясь учиться по ночам. Он шлифовал алмазы в Тель-Авиве и зарабатывал больше восьмидесяти фунтов в месяц. Мой отец зарабатывал семь фунтов, а отец Шмайки и того меньше. Раз в неделю мы гуляли за поселком, между рядами акаций, и спорили о жизни, о Боге, о том, что читали в газетах. Когда-нибудь мы проснемся, а войны уже больше не будет, и я вспомню, что зарабатывал фунт в день, работая для фронта, у меня будет новый костюм, и я отправлюсь в субботу вечером танцевать на берег моря. Африканский корпус окончательно изгнан из Африки. Русские прорвали немецкие клещи с севера и продвигаются на запад. Днем и ночью шумят в небесах бомбардировщики, направляясь туда, возвращаясь обратно, и когда радио сообщает о наших самолетах, бомбивших какое-нибудь место в юго-восточной Европе, мы все знаем, что это именно они. В те дни мы слышали о конце Варшавского гетто. Из России начали приходить известия о том, что обнаруживается в освобожденных местностях. А я — мне всего только с натяжкой семнадцать

лет... Так вот, в ту минуту, когда я набрался сил, я оторвался от предназначенной мне судьбы, оказавшись в своем сновидении — "быть одним из всех тех": я видел реки и мечтал об океанах, я искал себе славы... и очутился на базе рекрутов в Црифине. Сейчас?! — все выпучили глаза — псих, ты сейчас идешь в армию? У тебя, дружище, винтики не в порядке...

Теперь, в Шварцвальде, в предпоследний день, я вправе высказать себе всю правду: я убежал из стоячей воды нашего поселка, я отправился спасать свою рыцарскую душу, а завтра я выхожу таким же, каким пришел, размазней, ни на что не способным, возвращаюсь к тому, от чего убежал.

— Крук, ты спишь?

Я помедлил с ответом, потом сказал:

— Тебе чего?

— Нет, ничего.

— Хотел спросить что-нибудь?

— Нет, я думал, у тебя сигарета там...

— Я погасил ее.

— О'кей.

— Спокойной ночи, — сказал я.

Бродский молчал, но я знал, что он не спит. Пока я не уснул, его храпа не было слышно.

6

В последнюю ночь мы уже были за Рейном, в лесу около Кайзерслаутерна.

Я рассказываю все по памяти, разглядывая в ней ожог — отпечаток июля 1945 года, длиною от границы до границы. Я никогда не стирал из памяти эти видения, просто память любит вводить нас в заблуждение, словно притаившаяся спирохета. Человек заразился в

юности микробом сифилиса. После этого его жизнь течет как по маслу — он становится достойным гражданином, занимает ответственные должности в обществе. Ему поручают дела, требующие рассудительности, уравновешенности и душевного спокойствия. И все те годы спирохета ждет своего часа. Человек заболевает и, вроде бы, излечивается, но двое или трое из каждой сотни больных носят спирохеты в себе. И вдруг она появляется снова — спустя два года, десять, двадцать и даже тридцать лет — и полностью парализует человека. В тот момент он может быть судьей в верховном суде, пилотом в Б-52, главой государства, тем, на кого вся страна возлагает надежду — тогда разом он сойдет с ума и будет способен на все.

Память любит вводить нас в заблуждение; а я ехал по этой дороге всего только один раз. Я вернулся туда по памяти, которая вдруг начала терзать меня с новой силой. С правой стороны дороги находился Гейдельберг. Зоненшейн говорил об этом духовном центре Германии, и мне снова показалось, что я виже белую искорку тоски в темноте фургона. Он знает наизусть этот пейзаж, он знает историю этого города на сотни лет вглубь. Черниковский, — улыбаюсь я, делая дурацкий жест в сторону Зоненшейна, — учился в Гейдельберге. Я скажу тебе и больше, отвечает Зоненшейн, на воротах городского замка, который был построен семьсот лет назад, написано: "Это ворота Господа, здесь пройдут праведники". На иврите.

— Какие сволочи, — сказал Покер.

— Они наверняка раздолбили эту надпись, — сказал Гилеади.

— Раздолбили? — удивился Зоненшейн. — Это их надпись.

— Какой пейзаж, какой пейзаж, — шептал Остерайхер слова, которые невозможно уже было слушать.

Светлое солнце освещало башни на краю небосвода далеко от шоссе. Мы ехали дальше и въехали в Мангейм. Это был единственный раз, когда мы видели настоящие развалины. По шоссе движение шло без помех, но по обеим сторонам стояли разрушенные строения, разломленные надвое, вывернутые наизнанку, без окон, без стен, а вокруг — груды обломков. Всех обитателей грузовика словно током дернуло, Покер с Остерайхером начали свистеть, дразнить немногочисленных прохожих. Остерайхер кричал по-немецки, желая, чтобы все узнали, что мы — это мы, евреи. Но было что-то вызывающее сострадание в том, что маленький Остерайхер стоял и кричал на чистейшем немецком. Тамари тоже это заметил, но только когда он раскрыл рот, мы вспомнили о его существовании:

— Чего это ты кричишь по-немецки?

— Не верят ему, что он взорвал весь этот город, — ответил Лэйзи.

Покер и Остерайхер умолкли и вернулись на свои места, и все мы тоже замолчали. Мы проехали сквозь город, переехали через Рейн, проехали Людвигсхафен, расположенный на другом берегу реки. Развалины, развалины, но мы едем словно туристы, боясь высунуться наружу, и наш кулак сжат в конвульсии, как и прежде. Гористый пейзаж, виноградники, нетронутое золото в воздухе, каменные дома, спокойствие сумерек. Разрушенные города пропали в бесконечных просторах, которые распаивались день за днем вдоль полосы узкого шоссе. Мы катимся к границе, а земля остается неподвижной. Скорее уже выехать и не вспоминать больше.

Так мы добрались до Кайзерслаутерна, до леса у подножия скалистого холма. Весь полк расположился в уголке этого леса: растянули брезент палаток, и за полчаса мы были приведены в порядок. Долог день в

этих краях, а небеса сияют в вышине и тогда, когда уже вытянулись вечерние тени. Энтузиасты отправились собирать хворост, все, что можно спалить в костре, принесли котелки с соляжкой, сломанную деревянную бочку, которую нашли около шоссе — и маленькие огоньки затанцевали по всему лагерю. Покер пригласил всю компанию игроков, которые уже давно не садились играть — Бродского, Гилеади, Мушикаповара. Мушик позаботился об обстановке — чай, сахар, треножник с котелком над огнем. Однако, несмотря на все старания Покера, игра проходила не так, как следовало бы. Слишком много народу собралось как раз около этого кружка, они шли сюда, словно чувствуя, что этот кружок отличается от тех, что вокруг остальных костров. Кто-то спросил Гилеади о его походах по концлагерям — до этого вечера не представлялось возможности — и он рассказал о людях, которых встретил, не о сути возложенной на него миссии, а, по его словам, об эпизодах. Встретили мы парня, — рассказывал он, — который пришел к нам после того, как вернулся в свой собственный город и не нашел там ни одного живого человека, это значит, из евреев. Он подошел к родительскому дому и постучал в дверь. Новые жильцы, старые знакомые, с удивлением поглядели на него и сказали: ты еще жив? Он боялся спать в городе, чтобы его там не зарезали; и спал в полях, спрятавшись, пока не перешел границу — словно на войне. Екатерина Великая сказала: рождаются люди, а не земля. Так это у них. Завтра отстроят заново все дома и улицы, сироты восстановят свои семьи и через двадцать лет никто не будет знать, что здесь была война. Но у нас... у нас нет людей. Людей не осталось.

Голос Гилеади несколько заржавел с того дня на складе, перед опознавательным смотром. От стали остались обломки. Он тоже знает, что поражение полное,

что можно только убежать, смыться с этого континента. Гилеади выглядит еще более жалким, чем Тамари, который сидит в стороне, за пределами кружка, и прислушивается к разговору.

Мне не хотелось слушать, и я протолкался наружу. Я шел один, влекомый маленькими огоньками, словно сказочными светлячками, которые соблазняют простаков. Земля была устелена пьянящей гнилью поколений, а воздух был такой надушенный, какой я не вдыхал никогда в жизни. Это рейнский округ. Три великих общины. Неподалеку отсюда жил Барух из Майнца¹. Если когда-нибудь я буду сдавать на аттестат зрелости, меня наверняка спросят о Барухе из Майнца, и экзаменатор попросит меня процитировать, например, что-нибудь из проклятий этого страдальца, а я с юмором висельника, по словам Зоненшейна, расскажу несколько актуальных рассказов. Можно провести даже занятную аналогию — показать разницу между двумя евреями из Майнца — Барухом и Амноном² ... Похули Бога и умри³, признай справедливость суда и умри.

Дальше вдоль дороги располагалась третья рота, а за поворотом, в месте, где гора отходит от шоссе, растянулась четвертая рота. Полковая полиция расставила

¹ Барух из Майнца — герой одноименной поэмы еврейского поэта Ш.Черниховского. Во избежание насильственного крещения лишает жизни жену и детей, а сам, будучи крещен, поджигает монастырь, где находился, в надежде, что пламя охватит весь город.

² Амнон — полулегендарная личность. Отказался выполнить приказ епископа о крещении, в наказание за что ему отрубили руки и ноги. Будучи принесен в синагогу на Рош ха-Шана, он благословил имя Бога и произнес молитву (приписываемую ему) *У-нетанне токеф*.

³ См. Библия (кн. Иова, 2:9).

таблички с указателями вдоль всей дороги, и легко было ориентироваться. Когда я смывался из этого нашего кружка, у меня не было никакой цели. Теперь я знал, что ишу Боби. Это последняя наша возможность, и никак нельзя, чтобы мы вышли завтра отсюда с чистыми руками. Всякие слухи ходят среди нас, дескать убийц отделявают потихонечку, хоть и не публично. Может быть, хоть я и не верю в это. Может быть, но это не то, что могло бы нас навсегда успокоить. В детстве друзья семьи звали меня арабченком за мою темную кожу, и в своем воображении я рисовал себя бедуином, взятым на воспитание этой еврейской семьей, папой и мамой. Может быть, меня будоражит древняя кровь, суровеет и стремится вырваться за пределы еврейской скорлупы, и нету расчетов о том, что предпочтительно, что стоит и что возможно, а есть один закон, и даже если ты остался последним из племени: за кровь можно отомстить только кровью. А после этого — Аллах помилует!...

Я пойду к Боби, отведу его в сторону и поговорю с ним о конкретных делах, и о том, что произошло со мною вчера. Пошли, Боби, вдвоем, — скажу я ему, — к первому же дому, в первую же семью, и без лишнего слова. Наплевать нам на всех остальных, только мы вдвоем будем знать, что мы пролили кровь, по эту сторону границы. Все молчат и все знают: это последняя ночь, и если мы упустим ее, упустим все, навсегда. Пошли, Боби...

Я не нашел его. Все, кого я спрашивал, отвечали, что видели его только что около очереди за едой, около палаток, в батальонном штабе. Никто не знает, где он. Может, пошел побрызгать, кто станет следить за ним?

Только что принятое мною возвышенное решение обернулось комичной ситуацией. Я уже все продумал

до подробностей, только не то, что Боби не сидит и не ждет, пока я приду. Чего это вдруг я? Когда он был еще во втором батальоне, перед тем, как его перевели, нас ничто не связывало. И если уж от Лэйзи он скрыл свои мысли — что бы он сказал мне, если б я пришел к нему?... Как-то смешно я замышляю убийство, в этом уже что-то паническое, и суждено ему закончиться так же, как вчера на кухне. Как хорошо, что я не нашел Боби.

Я возвращался с тем же, с чем пришел, тихо шагая по обочине шоссе. Полумесяц летел сквозь белые облака. Костры гасли, и люди исчезали в своих палатках. Такая ночь всегда наполняет меня вялыми мыслями. Здесь, в этих краях, развертывались события книги, которую с радостью передавали из рук в руки — "Катрин становится солдатом". Я вспомнил двух героев, Катрин и ее товарища, как там его звали, не Люсьен ли? Я вспомнил о Ноге, о себе самом и наполнился грустью, той самой грустью, от которой я вроде бы уже освободился. Невозможно, голову даю на отсечение, не может быть, чтобы Нога искала денег, или славы этого за...нного адвоката, или черт его знает чего. Это местечковая басня, которую принес с собой тот иерусалимский зануда, а я поверил в нее. Да все совсем наоборот: Нога всегда считала меня быстроногим типом, которого крылья выносят на край света, и она не хочет быть жерновом у меня на шее. Она написала мне для того, чтобы я отрицал это, чтобы я снова написал ей, ясно, бурлящими словами — ты, Нога, только ты, и нет никого, кроме тебя. А я ответил ей с раздражением, с обидой. Теперь я напишу ей, только доберемся до места назначения, сяду и напишу, не нанося ответных ударов. Нет, не просто напишу, а немедленно подам заявление о демобилизации по семейным обстоятельствам. Есть у меня врачебное свидетельство. Надо

написать домой, чтобы и они обратились в военную администрацию в Палестине, чтобы нашли какие-нибудь там душераздирающие обстоятельства. Я хочу тебя, Нога, я буду воевать за тебя, пусть тебе это будет ясно. Вещички Гершлера я отправлю к его тете в Бет-Исраэль, но его книги я оставляю у себя. С завтрашнего дня, со дня, когда мы устроимся на каком-либо месте, я начну учиться, так вот. Я хочу забыть все, что случилось со мною за это время, я хочу вернуться к тебе, к чистой любви, к своему миру, на тысячу лет назад...

— Ах ты гад ползучий!

Этот крик обрушился на меня неожиданно, а вместе с ним удар сзади под ухо. Я перегнулся пополам и приподнял руку, и в ту же самую секунду меня ударили чем-то тяжелым по спине. Я потерял равновесие и упал лицом вперед. Носком ботинка, понял я, и голос мне уже был знаком: это был один из тех троих, которых я выгнал, угрожая ружьем:

— Санитар вонючий, немок ты защищаешь, а!

Ботинок снова вонзился в мое тело, только на этот раз я был открыт, и все мускулы мои были напряжены, у меня не было в руках ничего такого, чем бы я мог защищаться, а я все еще не хотел раскрыть лица. Я сделал вид, будто испугался, прикрыл голову руками, следя в то же время за его ногами. Он совершил предполагаемую ошибку и шагнул вокруг меня, примечая наиболее уязвимые органы. В ту секунду, когда я увидел его ботинок, поднимающийся слева от меня, я набросился на него всей тяжестью своего тела. В то время как он еще пытался сохранить равновесие, удерживаемый за одну ногу, я высвободил левую руку резким движением вверх и погрузил кулак в его солнечное сплетение. Он завопил диким воплем и снова потерял контроль над своим телом. Он согнулся пополам, чтобы прикрыть живот, а я остался на ногах и стал

бить его по голове, снизу вверх, прямо в рожу, как учился в детстве от йеменских ребят, живших на окраине нашего поселка. Я был охвачен обидой и убийственным гневом, как в те забытые школьные дни, когда я должен был защищаться от старшеклассников. Все мои движения были решительны и сдержанны, и не было у меня никакого желания, кроме желания погрузать в его тело всю свою боль.

— Кончай, идиот, кончай, я прибью тебя, кончай...

Голос его был плаксивый, но он еще не вызывал во мне милосердия, наоборот, слепая жажда растереть и задавить его росла во мне.

— Санитар вонючий, а... — шептал я, забираясь на него, осыпая его ударами. — Санитар вонючий, а...

— Отпусти, тебе говорят, отпусти... — его голос скрипел, как рассыпающаяся мебель, а я почувствовал, как мое тело опустошается, словно разом износилось. Этот человечик лежал на спине, прикрывая лицо локтями, а я сидел у него на животе, прижимая коленями его грудь. По шоссе проехала открытая военная машина, а на ней — солдаты с девчонками, компания, оставившая после себя след пьяной песни. Все это дело мне надоело, лучше, чтобы не было свидетелей этому позорному побоищу. Почему я не дал ему избить себя за вчерашнее, за все?

Я встал и направился в сторону нашего батальона. Еще лежа на земле, не придя в себя, он кричал мне вслед:

— Ну, подожди, ты еще расквасишься, ты еще пожалеешь...

Я уже раскался. Я не поворачивал головы. На моем теле остались отпечатки сухих ударов, я был пуст изнутри, и вместе с тем была какая-то радостная легкость в усталости, которая охватила меня. На подходе к расположению батальона стояли шоферы и чинили

машину при свете фар другой машины. В сторонке сидел Тамари, выкравший себе пучок света и писавший, как всегда, в своей тетрадке. Что он там пишет, к чертям? Что он понимает?

Когда я попал в луч света, Тамари узнал меня и прежде, чем я успел прыгнуть обратно в темноту, он понял, что со мной что-то случилось.

— Крук, — он уже стоял на ногах и спешил вслед за мной, — что с тобой случилось?

— Что со мной случилось?

— Кто-то избил тебя, Крук?

— Никто меня не бил, — Тамари и черная тетрадка с фанеркой в его руках возмущали меня. Меня возмущала летопись, которую он пишет. Я повернулся к нему спиной и зашагал к лагерю. Он поспешил вслед за мной и вцепился в меня.

— Крук, я требую от тебя рассказать мне правду. Кто напал на тебя? Ты весь дрожишь.

— Я дрожу, потому что сам избил кое-кого, если ты хочешь знать.

Никогда я не разговаривал с Тамари о настоящих вещах. Но теперь вдруг меня прорвало.

— Я не понимаю... — начал он. Я прервал его:

— Если ты не понимаешь, так чего же ты пишешь тут все время... — Тамари отступил от меня и отвел взгляд. — Страшное дело ты с нами сделал, Тамари.

— Страшное дело?... О чем ты говоришь?

— Я говорю об опознавательном смотре. О Боби и о Гершлере. Обо всех нас.

— Крук, ты...

— Я-то в полном порядке. А вот тебя не мучили кошмары после того смотра — а, Тамари?

— Нет. Совершенно определенно, нет. Крук, давай присядем-ка на минуточку...

— Я хочу спать, — я зашагал в сторону палатки, а

Тамари вслед за мной. Он говорил, говорил, а я не хотел слушать. Только теперь тело начало по-настоящему болеть, и колени у меня дрожали.

— Ты не хочешь слушать меня? — спросил Тамари.

— Я уже все слышал. Самого себя. Напиши в этой своей тетрадке, что у слабых нет двух дорог. Напиши, что мы остались евреями. Напиши, что это воспоминание еще вернется к нам, как бумеранг. Все остальное мы знаем.

Я опустился на четвереньки и вполз в палатку. Бродский уже храпел. Я залез прямо в пропотевшей одежде под одеяло и помолился, благодаря Бога за то, что через несколько часов мы будем уже по ту сторону границы. Горе мне с моим слабым характером, который не дает мне проливать невинную кровь и никогда не даст успокоиться этому кипению.

* * *

После обеда мы были уже во Франции. Все выглядело иначе. Промышленный городок карабкался по горе, извилистые улицы, мы. Громкий крик разносился от машины к машине. Мы пели "Хевену шалом алахем". Раздобыли ящик с конфетами и бросали их всем прохожим, свистели, глядя на ножки девочек, озорничали, словно с цепи сорвались. Мне было только девятнадцать лет, и все еще было впереди. На перекрестке стояла девочка и вертела раскрытый зонтик. Выскочил указатель, — столько-то и столько-то до Парижа. Все возвращается в норму, товарищи.

Вроде бы.

Я хочу забыть этот поход, и я помню, как до предела обнажилась моя слабость. Никогда не вернусь туда,

шепчу я, истекая воспоминаниями, но мои мысли обращаются соляными столпами. А я все шепчу об этом, словно о голубой крови: после того, как я не осквернился в Германии, и она прошла мимо меня — я буду тем, чем буду.

עיריית חיפה
מערכת תרבות העממי
מרכז תרבות לספרים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

419

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул. Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ. Мемуары. Пер. с иврита.

Друзья и боевые товарищи Джимми, горячо любившие своего командира, в своих беседах часто вспоминали Джимми-подростка и Джимми-солдата. Из этих непринужденных рассказов-воспоминаний и родилась книга "Друзья рассказывают о Джимми". Это одна из самых популярных израильских книг мемуарного жанра периода Палмаха.

Рейзл (Ружка) Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ. Пер. с иврита.

Документальная повесть об одной из величайших драм в истории еврейского народа. Автор книги — член Боевой Еврейской Организации в Вильнюсе — повествует о Вильнюсском гетто в его борьбе и падении, а также о еврейских партизанах в Рудницкой пуще и Нарочи.

Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК. Роман. Пер. с английского.

Автор книги "Помощник" — Бернард Маламуд (1914) рассказывает в своих произведениях в основном об американских евреях. Здесь он не только великолепный бытописатель, но и психолог, и социолог, и философ, открывающий новые стороны действительности. Литературная известность пришла к нему только в 1957 году, после выхода в свет романа "Помощник", ставшего бестселлером.

Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ. Пер. с иврита.

В основу книги "Битва за Иерусалим" легли интервью и беседы, проведенные автором с участниками боев за город в период Шестидневной войны (1967).